

Этика успеха

Вестник исследователей, консультантов и ЛПР
Выпуск 11

РОССИЙСКАЯ ИДЕЯ УСПЕХА: ЭКСПЕРТИЗА И КОНСУЛЬТАЦИЯ

Соредакторы: В.И.Бакштановский, В. А. Чурилов

Редколлегия: Г. С. Батыгин, Ю. В. Казаков,
И. М. Клямкин, А. Ю. Согомонов,
Ю.В. Согомонов, В.И. Шпильман

Телефоны редакции:

Центр прикладной этики: тел/факс (3452)24 02 26

ФИК “Югра”: тел/факс (095) 206 03 57

© Центр прикладной этики, 1997

**Тюмень-Москва
1997**

Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов и ЛПР. Вып. 11. *Российская идея успеха: экспертиза и консультация.* - Тюмень-Москва: Издание Центра прикладной этики и Финансово-инвестиционной корпорации "Югра", 1997. - 272 с.

Выпуск подготовлен при интеллектуальном и финансовом участии: Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, Гуманитарного и политологического центра "Стратегия", ЗАО "Мосэкспо".

The Ethics of Success: The Herald of Researchers, Consultants & Decision-makers. Vol. 11. *The Russian Idea of Success: Expertise and Consultation.* - Tyumen-Moscow: The Centre for Applied Ethics & Financial Investment Corporation "YUGRA", 1997. - 272 p.

© Центр прикладной этики, 1997.

Редактор выпуска И.А.Иванова
Художники М.М.Гардубей, Н.П.Пискулин

В подготовке выпуска принимали участие:
И.В.Бакштановская, М.В.Богданова, Н.В.Попова, О.Г.Свиридова,
А.П.Тюменцева.

Подписано в печать 13.10.97.
Формат 60x84/16.
Гарнитура Univers Condensed Cyr.
Усл.печ.л. 17.
Печать офсетная.
Бумага писчая № 1.
Тираж 999 экз.
Заказ № .
Цена договорная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ИПП "Тюмень"
625002, Тюмень, ул. Осипенко, 81.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие6

Метафизика успеха

- Г.Г.Дилигенский (ИМЭМО РАН)*
Российские архетипы и “трепетная этика”8
- Г.Э.Бурбулис (Гуманитарный и политологический центр “Стратегия”)* Ценность успеха как достижительная мироустановка: стратегическая координата экспертизы17
- Г.Д.Гачев (Институт славяноведения и балканистики РАН)*Думаю про “этику успеха”33
- Л.А.Аннинский (журнал “Родина”)*
Процедура конструирования идеи как образ жизни48
- А.А.Гусейнов (Институт философии РАН)*
“...Действительно дерзко”60
- Г.С.Батыгин (“Социологический журнал”)*
У предела:Этика ответственности как национальная идея.....69
- Ю.М.Каграманов (литератор)*
“...Христианство фундирует этику успеха как никакая другая религия”78

Этос успеха

- В.А.Малахов (Институт философии НАН Украины)*
Этика успеха и онтология национальной культуры или все у нас получится90
- А.Ю.Согомонов (Институт социологии РАН)*
Яйца или корзина для яиц?
(о модельности жизненного успеха в модернистском проекте)103

<i>М.В.Масарский (Международная ассоциация руководителей предприятий) Общественная себестоимость государственных успехов</i>	<i>121</i>
<i>И.Б.Чубайс (ГИТИС) От Русской идеи - к идее Новой России</i>	<i>137</i>
<i>А.В.Рубцов (Институт философии РАН) Идея для России: определение жанра.....</i>	<i>150</i>
<i>А.С.Ципко (ИМЭПИ РАН) “...Соединить идею индивидуального успеха с идеей национального процветания”.....</i>	<i>158</i>
<i>В.В.Радаев (Институт экономики РАН) Где искать ключи к национальной идее</i>	<i>165</i>
<i>Е.И.Головаха (Институт социологии НАН Украины) От этики успеха к успеху этики в формировании российской национальной идеи?</i>	<i>175</i>

Homo ludens

<i>Ю.А.Богомолов (“Московские новости”) “...Скарлетт О’Хара испытывает все те проблемы, которые испытываем мы при переходе от социалистического общества к рыночному”</i>	<i>185</i>
<i>Д.В.Драгунский (журнал “Итоги”) Личный успех и солидаризм</i>	<i>195</i>

Российская модель успеха в контексте постсоветской реальности

<i>Т.И.Кутковец, И.М.Клямкин (Институт социологического анализа) Русская самобытность сегодня: духовность или душевность? (по материалам народной экспертизы).....</i>	<i>208</i>
--	------------

<i>А.А.Кара-Мурза (Институт философии РАН)</i> “Индивидуальный успех”: шанс или ограничитель российской реформации?	228
<i>Б.Г.Капустин (Международная высшая школа социальных и экономических наук)</i> Российская модернизация: проблема нравственной инфраструктуры	241
<i>Н.Е.Покровский (МГУ)</i> Этика успеха в системе нового российского феодализма	266
<i>А.С.Панарин (Институт философии РАН)</i> Мораль успеха: опыт парадоксальной метафизики	278
<i>В.Г.Федотова (Институт философии РАН)</i> Этика дела или этика успеха?	291
Есть ли в современной России запрос и отклик на идею успеха? (Круглый стол в Гуманитарном и политологическом центре “Стратегия”)	305

ПРЕДИСЛОВИЕ

Весной 1997 года авторы доклада, опубликованного в десятом, специальном, выпуске журнала “Этика успеха”, инициировали экспертизу-консультацию своей *доктрины этики успеха*, заявленной для участия в своеобразном конкурсе современных версий национальной идеи России.

В докладе была выдвинута и обоснована задача культивирования в современном российском сознании духа нравственно достойного успеха, стремления к успеху, достигаемому подлинными свершениями, ответственным поведением, деловой культурой в их непосредственной связи с правилами честной игры, этикой политической, предпринимательской, профессиональной и т.п.

Организуя экспертно-консультативный проект, мы стремились испытать представленную в докладе гипотезу о том, что основной идейно-нравственной проблемой, значимость которой сегодня поднята до самого высокого государственного уровня, становится самоопределение к двум стратегиям: Россия - на общем пути развития современной цивилизации или Россия - на особом пути. При этом ситуация допускает не просто жесткий выбор между этими стратегиями по закону игры с нулевой суммой, но и создание весьма рискованной - методологически, психологически и т.д. - конвергентной и мозаичной конфигурации ценностей, природа которой во многом определится самой процедурой “конструирования”.

Российская идея успеха - безусловно, в ее этическом измерении - и призвана, с нашей точки зрения, послужить катализатором поиска в этом направлении, заявив при том амбицию на собственную роль. Возможно, роль ядра в ценностной мозаике, формирующейся из наиболее диалогичных, толерантных по своему потенциалу версий национальной идеи, которые в перспективе способны превратить “мозаику” в ценностную систему и именно на этой основе содействовать преодолению нравственного раскола России.

Как нам представляется, легко прогнозируемый разносторонний риск самого замысла - “*сконструировать*” национальную идею из элементов, содержащихся в различных ее моделях, версиях, - можно смягчить, если процесс “идеологической инженерии” предварить публичной экспертизой наличных рабочих гипотез. Роль модели, необходимой для такого рода экспертизы,

модели конкретной и контрастной, по сути своей неконфронтационной, и должна выполнить *доктрина этики успеха*.

В своем проекте экспертизы и консультации данной доктрины мы стремились дать сравнительный анализ этики успеха в ее соотношении с “американской мечтой”, “русской идеей”, “евразийским путем”, иными современными отечественными проектами этого типа. В “заказе” экспертам были акцентированы прежде всего такие проблемы и сюжеты, как взаимодействие идеи успеха и народной ментальности; отражение конфликта стратегий “общего” и “особого” пути России в эталонах успеха, культивируемых отечественной пропагандой; перспективы либерально-консервативного патриотизма, социального либерализма и т.п.

Исходя из того, что ситуация конкурса моделей национальной идеи побуждает к выходу за пределы полярных ценностных систем, требует поиска таких элементов этих систем, которые способны к синтезу, мы пригласили экспертов, ориентированных, по нашему мнению, на толерантное отношение и к таким доктринам, которые противоположны их идейным взглядам, заинтересованных в организации публичного диалога моделей национальной идеи.

В процессе таким образом выстроенной апологии и критики доктрины успеха создается, с нашей точки зрения, возможность для прояснения действительности и мнимости противостояния нормативно-ценностных систем “либерализма” и “патриотизма”, с одной стороны, реальной меры поляризации “модернизационного” или “деградационного” диагнозов - с другой, а также подлинной или гипертрофированной альтернативности “общего” и “особенного” путей развития страны.

Эксперты были вольны выбирать те или иные аспекты “заказа” и жанр своего текста. Представляется, что все полученные тексты условно можно типологизировать следующим образом: экспертно-консультативные, экспертно-аналитические, конкурсно-альтернативные, консультационные.

Заголовки статей и выступлений авторов “круглого стола”, заключенные в кавычки, даны редакцией.

Авторы доктрины признательны всем, кто откликнулся на их приглашение принять участие в экспертизе-консультации, и надеются на их сотрудничество в следующих экспертных акциях.

Особая признательность - спонсорам проекта.

В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов, В.А. Чурилов.

Г. Г. Дилигенский

РОССИЙСКИЕ АРХЕТИПЫ И “ТРЕПЕТНАЯ ЭТИКА”

Мне близки мировоззренческие позиции авторов доклада*, их видение проблем современного российского общества. Центральная и тщательно разработанная идея о возможности и необходимости объединения присущей рыночному обществу ценности успеха с этическими нормами и ценностями представляется и верной, и весьма актуальной. Цель настоящих заметок - поделиться некоторыми соображениями о существующих в России социально-психологических и культурных условиях развития новых для нее типов сознания и социального поведения.

Авторы правы, когда они возражают против жесткого противопоставления сущего и должного, но нельзя также признать, что должное, рожденное в головах мыслителей, вполне может остаться благим пожеланием или сбивающей с толку утопией, если оно не основано на беспристрастном анализе сущего. Это требование не учитывается многими российскими авторами, основывающими свои рецепты возрождения России на умозрительных концепциях, соответствующих лишь их, авторов, идейным предпочтениям, но не реальной почве сегодняшней страны. О некоторых особенностях этой реальной почвы и пойдет речь. А говоря конкретнее - о том, что представляет собой и какое влияние может оказать на дальнейшее развитие традиционный слой российской ментальности и культуры - тот слой, который достаточно условно стали с недавних пор называть придуманным К.Юнгом словом “архетипы”.

Подобные вопросы неизбежно встают перед внимательным читателем предложенной на экспертизу доктрины. “Козволюция и конвергенция элементов различных версий национальной идеи возможны на основе синтеза традиционной и модернистской культуры” - так формулируется один из главных ее тезисов (с.39). Та же установка на “синтез” звучит и в заключительном пассаже работы, непосредственно относящемся к перспективе становления новой этики, или “пострациональной морали”. Формы этой морали, - пишут авторы, - “естественный результат развития лучших тенденций, творческих возможностей как традиционной, так и рациональной морали” (с.212).

* Этика успеха. 1997, вып.10.

Итак, традиция, будь то традиция культурная, ментальная или этическая, должна войти в своих “лучших” проявлениях и в “национальную идею”, и в ту систему высших ценностей, которая будет отвечать реалиям модернизирующейся России. Вопросы к этому тезису начинают возникать тогда, когда авторы довольно решительно ставят под сомнение реальность как раз тех российских архетипов, которые более всего вдохновляют наших “почвенников”, сторонников особого пути России, противников якобы неприемлемых для нее “рыночных”, либеральных ценностей. К числу таких архетипов относится прежде всего коллективизм, противопоставляемый “западному” индивидуализму. В докладе - на мой взгляд, совершенно обоснованно - оспаривается представление о “продленном бытии” составляющих российского духовного опыта в советское время. Действительно можно спорить о том, является ли расхожая модель российского традиционного сознания, образуемая духовностью, соборностью и коллективизмом (общинностью), отражением его состояния в дореформенную или даже допетровскую эпоху или она представляет собой достаточно произвольную идеологическую конструкцию более позднего времени. Но в любом случае эта модель никак не может описать ментальность россиян 80-х или 90-х годов XX века; если какие-то ее черты когда-то и существовали в реальности, то они были в корне подорваны “реальным социализмом”.

Авторы доклада прямо указывают на это, говоря о присущих советскому обществу “скрытых формах индивидуализма, упакованных в коллективистские личины” (с.186), и окончательно лишают советский коллективизм всякой моральной привлекательности, называя его “казарменным” (с.194). Логически напрашивается заключение, что нас ожидает синтез лицемерного, замаскированного индивидуализма с откровенным и циничным индивидуализмом “новых русских”.

Если о синтезе коллективистских (общинных, соборных) ценностей с индивидуалистическими мечтать, таким образом, не приходится, остается все же надежда на участие в нем нравственной традиции. Той, которая “дезаурирует... непосредственное стремление к ценностям успеха, достижения” и отказывается от них по “нравственно-трепетным мотивам” (с.212).

Вот об этой “трепетной нравственности”, питающей отторжение этики успеха, хотелось бы поговорить несколько подробнее. Однако прежде чем начинать этот разговор, стоит поделиться некоторыми соображениями методологического порядка. В лю-

бом научном дискурсе одна из центральных методологических проблем - проблема верифицируемости высказываемых заключений или гипотез. Примечательно к нашей теме - она равносильна вопросу: что, какие факты позволяют судить о реальности тех или иных ментальных или нравственных архетипов? Можно ли, например, как это делают иные исследователи, реконструировать российскую ментальность на основании моральных максим великих писателей и мыслителей – правдоискателей или житий русских святых? Слов нет, это важнейшие источники для понимания особенностей национальной культуры, но достаточны ли они для суждения об архетипах, функционировавших в прошлом и, тем более, сохранившим свою силу в настоящем на массовом уровне, во всей толще общества?

На мой взгляд, социальный архетип может считаться таковым только если он представляет собой массовый социально-психологический феномен. А это значит, что важно определить не только уровень его распространенности в тот или иной период, но и его психологическую природу и статус: его истинную роль в жизненной практике социума и личности, системные и причинно-следственные связи с другими чертами их психологии и поведения, с их социально-историческим опытом. А отсюда, в свою очередь, следует, что любые высказывания, выражающиеся ли они в форме выбора ответа из числа предложенных социологической анкетой или в сентенциях “народной мудрости”, - хоть и необходимый, но недостаточно надежный материал для суждения об этих архетипах. Надо еще, по возможности, проверить, являются ли эти высказывания реальным регулятором социального поведения, отношений людей или выполняют какую-то иную функцию.

Читатель может возразить, считая, что я ставлю перед исследованием технически неразрешимую задачу. Проблема верификации в социальных науках полностью не решаема даже применительно к изучению современной действительности, а что уж говорить об исторических сюжетах. И особенно если речь идет о такой “темной”, редко поддающейся однозначному толкованию сфере, как личная и общественная психология. Все это так, но тем не менее я полагаю, что в той или иной степени мы всегда знаем, как жили в прошлом люди в России и как живут теперь, чего они добиваются, как строят свои отношения и т.д., и как бы ни были неполны эти знания, очень важно сопоставлять с ними наши суждения о духовной стороне жизни - ценностях, нравственности и т.п.

А теперь обратимся непосредственно к российским нравственным архетипам. Вряд ли можно сомневаться как в том, что традиционному российскому менталитету - во всяком случае в наиболее массовидных его проявлениях - мало свойственна "достижительная этика" и мотивация личного успеха, так и в том, что эта ситуация в значительной мере сохраняется в наше время. Многие авторы связывают ее с такими особенностями национальной психологии, как приоритет духовных ценностей и мотивов над материальными или (используя терминологию М.Вебера) ценностно-рациональное сознание и поведение. Именно эта причинно-следственная связь российского равнодушия к успеху с нравственной позицией, с особо высокой духовностью и представляется наиболее проблематичной.

Что представляет собой эта духовность? Пожалуй, осторожнее всего было бы определить ее как склонность к ценностной, морально-этической рефлексии, которая действительно является одной из характерных черт русской культуры и национального характера. Ключевые понятия этой рефлексии - совесть, правда; "жить по совести" - осознанный морально-этический императив традиционного русского человека.

Более сложен вопрос, насколько подобные ценностные представления регулируют реальное поведение. По-видимому, сильнее всего они проявляются в условиях патриархальных отношений, особенно в традиционной крестьянской общине. С разложением общины и других патриархальных форм социальных связей морально-ценностная рефлексия приобрела другую функцию: она стала в растущей мере служить психологическим компенсатором несамостоятельной и вынужденной морально неудовлетворительной жизненной практики, превратилась в форму психологического эскапизма. Логика этой эскапистской стратегии примерно такова: "пусть моя жизнь бедна и несправедлива, плоха, зато я знаю, что живу плохо, у меня есть понятие правды и совести, и в конце концов внутренняя жизнь ("душа") важнее внешней". Таким образом достигается своеобразие, мазохистское самоутверждение. В русской религиозной культуре покаяние играет особо важную роль, в отличие от чисто ритуального, достигаемого через таинство, покаяния католического (отпущение грехов священником, индульгенция), оно представляет собой глубокое внутреннее переживание. Разбойник, загубивший десятки людей, а потом покаявшийся и давший деньги на церковь, может служить одним из идеотипов русского менталитета.

История нравов в России вряд ли может подтвердить тезис о некоей особо выдающейся роли, по сравнению с другими странами, моральных ценностей в повседневной социальной и личной жизни. В терминах психоанализа можно сказать, что эта ориентация была сильно развитой на уровне “сверх - я”, т.е. культурных норм, но слабо влияла на “я” - ядро личности. Ситуация расхождения между ценностными и поведенческими компонентами личностных установок порождала особую психическую напряженность, внутренние метания, характерные для русского человека, и делала его “интересным”, “сложным”, “загадочным” как в глазах иностранцев, так и в его собственных (“умом Россию не понять”). Особую интенсивность духовной жизни личности, вероятно, можно рассматривать как один из источников великой русской художественной культуры, но она не была особенно продуктивной для социального действия. Силы и ресурсы личности расходовались на ее внутреннюю активность, что мешало ей развивать активность внешнюю, направленную на практическое совершенствование условий жизни.

Можно полагать, что и эта эскапистская духовность, и русская пассивность (невосприимчивость к целерациональной ориентации, обломовское нежелание “суетиться”) – взаимосвязанные продукты одной и той же социально-исторической и социально-психологической ситуации. Ее основополагающая черта - ощущение бессилия человека в социальном и политическом пространстве, в особенности его бессилия перед лицом власти. Психология социального бессилия лежит в основе российской государственно-патерналистской политической культуры, но этим ее роль не ограничивается.

Комплекс социальной слабости оказывает сильнейшее воздействие на всю структуру личности, особенно на ее мотивационную сферу и на тот ее глубинно-подсознательный компонент, который психологи называют “Я-концепцией”. Веками жизненные возможности простого человека были ограничены сословными барьерами, а для основной массы народа - близкой к рабству крепостной зависимостью. Для массовых социальных групп упорный, добросовестный труд и при царизме, и при социализме был средством выживания, в лучшем случае - условием ограниченного материального достатка, но отнюдь не социального продвижения и обогащения. Отсюда типичный для российской психологии перенос ответственности за личную судьбу на макросоциальные условия и “высшие инстанции”. Еще

в 1993 г. лишь 40% опрошенных фондом “Общественное мнение” согласились с суждением “каждый человек сам, своим трудом должен обеспечить себе достойный уровень жизни”, а 43% сочли, что “обеспечивать гражданам достойный уровень жизни должно государство” (“В поле зрения”. 1993, № 37, август, с.8). “Отказ от успеха” может рассматриваться как проявление известной психологической стратегии типа “зелен виноград”.

В свете сказанного, представляется достаточно надуманным ходячее противопоставление российской “духовности” западному “прагматизму”. Хотя бы потому, что несправедливо отказывать в духовности как американцам с их напряженными религиозными исканиями, так и западноевропейцам с их способностью к философскому обобщению опыта каждого этапа исторического развития и формированию новых мировоззренческих интенций. Другое дело, что духовная и этическая сферы по-разному соотносятся на Западе и в России с жизненной и социальной практикой. Там наработанные общественной мыслью духовно-ценностные ориентиры в той или иной степени и форме становятся ценностями и нормами практической жизни. И хотя процесс этот не прост и не прямолинеен, далеко не свободен от напряжений и конфликтов, духовные ориентиры, уже освоенные, интериоризованные массовым сознанием (такие, например, как “американская мечта”, свобода и права личности, толерантность) воспринимаются как само собой разумеющиеся и не вызывают у рядового человека потребности в особой рефлексии.

Примерно так обстоит дело с “рациональной этикой”, о которой идет речь в докладе. Наверное поэтому западный человек воспринимается “трепетным” российским сознанием как “заземленный”, “прагматичный”. На самом деле этот прагматизм, возможно, отражает устойчивость и надежность усвоенных мировоззренческих истин, что освобождает человека от сомнений и раздумий, позволяет сосредоточиться на “текущих делах”. Сомнения и раздумья являются в западном обществе функцией духовной элиты, а объектом их выступают главным образом несовершенства наличного бытия и те новые проблемы, которые выдвигает общественное и антропологическое развитие. Это “разделение функций” - источник противоречий между нормативно-ценностными ориентациями, существующими в обществе; они дали пищу теориям (К.Маркса, Й.Шумпетера, Д.Белла), видевшим в них фактор распада сложившейся общественной системы. На деле, однако, “авангардная” социальная критика и формулируемые ею ценностные новации стано-

вятся ферментом общественного брожения и, рано или поздно, ориентиром эволюции как общественного сознания, так и личной, общественной и политической практики. Так произошло сначала с гуманистической (в том числе социалистической) критикой капитализма, стимулировавшей радикальное изменение его социально-экономического и политического порядка в XX веке, а затем с новыми “постматериальными”, особенно экологическими, ценностями в 60-х-80-х годах.

В России новые “сверхидеи” сплошь и рядом служат не реальному совершенствованию жизни, а бегству от ее тягот в мир миссионерских или утопических иллюзий. Страну то хотят превратить в “третий Рим” или в “авангард мировой революции”, то заставляют ее выполнять “интернациональный долг” в Афганистане. Не вступая здесь в обсуждение проблемы “национальной идеи”, отмечу лишь, что сам поиск этой идеи в наши дни можно рассматривать как проявление российского архетипа. Оптимальную формулу национальной идеи предложил, на мой взгляд, С.Смирнягин, сказавший во время теледискуссии, что надо бы “починить забор”. Эта метафора означает, что нации и ее руководителям следовало бы сосредоточиться на наведении порядка в собственном доме - т.е. на проблемах разрушающейся экономики, социальной сферы, борьбы с преступностью и т.д. и т.п. Это, собственно, и было бы проявлением на макросоциальном и политическом уровне “этики успеха” или “целерациональной ориентации”. Однако “чинить забор” трудно, хлопотно, неизвестно с чего начать; так не проще ли облегчить себе жизнь с помощью “национальной идеи”? Вряд ли случайно, что “национальная идея” потребовалась именно тогда, когда с полной силой обнаружились трудности и противоречия стратегии реформ. Нельзя ли увидеть в этом проявление “нравственно-трепетных” мотивов отказа от успеха?

Дочитав до этого места, читатель, возможно, решит, что автор однозначно отрицательно оценивает модернизаторские потенции российского менталитета (а то еще, не дай Бог, заподозрит его в русофобии). В действительности я, напротив, полагаю, что Россия, возможно, больше, чем многие страны Запада и Востока, способна к крупномасштабному историческому творчеству и созиданию форм экономической, общественной и духовной жизни, которые могут послужить ответом на вызовы третьего тысячелетия.

Во-первых, потому, что российское сознание, как это уже давно поняла отечественная мысль, антиномично. Правы авторы

доклада, отмечая, что присущим ему наиболее заметным на поверхности тенденциям, как правило, противостоят контртенденции. Эти последние, будучи подавляемы одними историческими условиями, могут резко усиливаться в других - изменившихся - условиях. Это произошло, например, в конце XIX - начале XX века - в период бурного подъема деловой и общественной активности. Впрочем, в народной толще Хори всегда сосуществовали с Калинычами, пресловутые терпение и покорность - с мечтой о воле, влекшей русских людей на новые, свободные от рабства земли - в Сибирь и Среднюю Азию, на Дон и Кубань.

Вполне оправдан для понимания русских архетипов анализ образа Ивана-дурака. К сказанному о нем в докладе можно было бы добавить, что этот образ представляет собой, в сущности, апологию нонконформистской индивидуальности: Иван в конечном счете преуспевает потому, что он действует "не как другие", отвергает коллективные нормы. Коренное изменение общественных условий (если оно действительно будет таковым) в постсоциалистический, переходный период может открыть простор именно подобным "контртенденциям".

Во-вторых - и это, на мой взгляд, главное - в России архетипы вообще не являются решающим фактором будущего развития. Как будто это противоречит общепринятому, выверенному историческим опытом представлению: прошлое довлеет над будущим. Но поскольку общие представления всегда нуждаются в конкретизации, можно утверждать, что сила прошлого, его способность "довлеть" - величины изменчивые. Архетипы характеризуются не только своим конкретным содержанием, но и такими качествами, как уровень устойчивости и ригидности, определенности, законченности. У российских архетипов, в силу исторических причин, этот уровень весьма низкий.

Культурно-исторический процесс проходил в России не эволюционным путем, а рывками, обычно инициируемыми "сверху"; в результате сознание не успевало выработать устойчивые представления, ориентации, эталоны поведения; неизжитые старые "правила жизни" постоянно сталкивались с ее новыми требованиями. Поэтому незавершенной, противоречивой, размытой оставалась психологическая структура общества и личности. "В русском человеке, - писал Н.Бердяев, - так мало подтянутости, организованности души, закала личности" (Судьба России. М., 1990, с.155). Российский менталитет можно определить как тревожный, неуверенный, характеризующийся значитель-

ной неустойчивостью и относительно легкой сменяемостью образующих его компонентов.

Размытость ценностных и мотивационных ориентаций одновременно и слабость, и сила российского менталитета. Слабость - потому что она делает возможным развитие, пре-обладание в российском обществе самых различных, в том числе и противоположных, социально-психологических, идейных, нравственных тенденций. Сила же этого менталитета в его открытости ("нам внятно все", по А.Блоку), подвижности, лабильности, что, возможно, позволит ему относительно быстро выйти из тупиков смутного времени, выработать достойные великого народа и аккумулирующие опыт эпохи ценностные и нравственные устои.

Какое-либо конкретное прогнозирование - и в этом тоже правы авторы доклада - здесь вряд ли возможно. Однако в любом случае формула синтеза "на равных" традиции и нового опыта представляется неадекватной для духовно-психологической эволюции современной России. Прежде всего в силу неопределенности и амбивалентности, слабой укорененности традиционного слоя сознания и преобладания в этом слое инерционных, пассивно-фаталистических, креативно непродуктивных компонентов. Главным фактором этой эволюции, скорее всего, будет освоение нового опыта. Это, разумеется, нельзя понимать как эволюцию с нуля, как отсутствие в прошлой и современной духовной жизни народа, в его исторической памяти предпосылок, основ ее будущего развития. Но эти предпосылки и основы заключены не столько в традиционных стереотипах мотивации и социального поведения (таких, как "отказ от успеха", терпение, надежда на всемогущее начальство, выступающая под псевдонимом "государственности"), сколько в талантливости, сметливости, здравом смысле, громадном интеллектуальном и культурном потенциале народа, кстати, значительно возросшем в XX веке.

Что же касается собственно нравственного сознания, то его утверждение в новых, практически действенных формах вряд ли возможно, если народ не сможет добиться внедрения нравственных начал в складывающиеся ныне в России посттоталитарные политические, социальные и экономические институты. Ныне положение в этой сфере выглядит удручающим, и оно, скорее всего, останется таким, если не произойдет, как это было в свое время в ряде стран, вызревания и мобилизации общественных сил, способных развернуть борьбу за честное государство и честный рынок.

Г. Э. Бурбулис
ЦЕННОСТЬ УСПЕХА
КАК ДОСТИЖИТЕЛЬНАЯ МИРОУСТАНОВКА:
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КООРДИНАТА ЭКСПЕРТИЗЫ

Прежде всего подчеркну, что мне близка гипотеза предложенного на экспертизу проекта, согласно которой национальная идея для нашей страны должна быть мозаичной. Близка в том смысле, что понятие “национальная идея” - это скорее организующий мировоззренческий прием, своеобразный познавательный “сачок”, ибо мы тем самым сообща разыскиваем (вырабатываем) идеалы современного российского общества.

Меня привлекает попытка втянуть в этот проект людей, абсолютно противоположных по основанию, которое они сами избирают для решения этой задачи, - от славянофилов до западников, от державников до модернистов и т.д. Это прагматично. Очевидно, что сегодня за многими российскими политическими актерами стоят их профессиональные идеологи, и важно чтобы эти идеологи между собой договорились о параметрах конкуренции: да, твоя цель - твой актер у власти, но этого можно добиваться агрессивно, воровски, провоцируя потрясения, а можно и в рамках законов и культуры.

Поставив четкую задачу, авторы проекта пытаются реализовать достойную позицию: пусть те, кто вырабатывает идейные программы и нюансирует их социально-психологические, ролевые аспекты, будут “настроены” на диалог между собой. В этой попытке есть некая наивность, потому что программы - предмет купли-продажи. Но если вдруг сообщество “духовных предводителей” сорганизуется на общей платформе, то оно будет иметь внутреннюю самодисциплину и более соответствовать своему предназначению, суть которого в том, чтобы, вырабатывая идейные программы, формируя стратегию развития общества и государства, одухотворять власть и сполна нести ответственность за практический результат. Столь высокое предназначение предполагает осознанную корпоративность в среде профессиональных идеологов.

* * *

Методологически целесообразно включить проект гуманитарной экспертизы доктрины успеха и, шире - процесса формирования национальной идеи - в объемный контекст, выделив некоторые позиции, которые обуславливают "качество" этой работы.

Первая позиция - *интеллектуально-мировоззренческого поиска*, связанного с естественной потребностью субъекта духовного производства решать эту задачу в историко-культурных, теоретико-познавательных и, самое важное, социально-ролевых традициях. Есть опасно-приятная традиция приписывать российско-советской интеллигенции право предлагать обществу или, по крайней мере, вырабатывать для общества базовые ориентиры, ценности, идеалы и тем самым обеспечивать *осознанное целеполагание*. Сегодня вполне наглядно проявилась инерция этой традиции: интеллектуалы - кто с пафосом, кто с критической гримасой - включились в осмысление и сопереживание ответа на вопрос о том, в чем может состоять национальная идея, кому она нужна. Речь идет о специалистах, объединяемых по квазипрофессиональному признаку интеллектуального цеха и различаемых по основаниям и предпосылкам идейного, мировоззренческого, философского и социально-психологического восприятия современной реальной действительности.

Вторая позиция - *политико-должностная*. Сегодня у нас, несмотря на всю размытость и неструктурированность политической реальности, существуют определенные политические предпочтения. А поскольку президент как глава государства и лидер такого современного политического феномена, как "партия власти", провозгласил задачу формирования национальной идеи публично, на нее неизбежна усердная сознательная реакция, которая так или иначе артикулируется, приобретает форму и оседает в партийно-политических программах, доктринах и оценках. Эта позиция носит заведомо конъюнктурно-спекулятивный характер, поскольку связана прежде всего с движущим источником любой политической деятельности - политическим интересом.

Третья позиция, самая, на мой взгляд, плодотворная, связана с формирующейся в недрах общественных настроений, переживаний, чувствований и все более обостряющейся потребностью во внятных жизненных ценностях. Это - *жизненно-*

смысловая позиция, импульсивно выявляющаяся в разных слоях общества чаще всего в форме эмоциональной, является достаточно массовой. Так, например, потребность в национальной идее своеобразно представлена в среде российского учительства, вынужденного определять для себя ориентиры российского общества, а также в среде той специфической части общества, которая по определению задает созидательный горизонт, - среде людей, для которых ценность делового и жизненного успеха осмысленна, притягательна и реальна. И те, и другие тоже работают над национальной идеей, но специфически, решая не строго простроенную задачу по правилам познавательных процедур, а постоянно производя идейно-мировоззренческую составляющую своей профессиональной деятельности.

Возможна и необходима четвертая позиция, способная воспринять как онтологическую реальность три первых. Эта позиция характеризует энергетику российского общества 90-х годов и связана прежде всего с задачей соотносить первые три позиции в некий идейно-духовный вектор общественного развития. Для меня ближе определение четвертой позиции как *стратегической, философско-методологической*. Работающий в этой позиции субъект способен периодически вставать в каждую из трех первых позиций и находить некую синтезирующую составляющую. Он хорошо понимает, что задача “выработки” национальной идеи может оказаться “задачей-фикс”, изначально ложной задачей. Но еще лучше он понимает, что если первые три позиции представлены корректно, то сама эта задача приобретает предметный, бытийный образ и из уничижительно ложной превращается в практическую, прагматическую задачу сознательной выработки базовых ценностей функционирования, существования и развития российского общества с учетом трехмерной мировоззренческой конструкции: прошлое, настоящее и будущее (с учетом того, что познать и понять настоящее невозможно без знания прошлого и предвидения будущего, а само предвидение будущего базируется на качестве понимания настоящего и умении соотносить его с базовыми координаторами в историческом контексте).

Уместно здесь обратить внимание на плодотворность понятийных возможностей, которые в свое время были отработаны в экзистенциальной философии, прежде всего, в концепции предельных оснований. Масштаб, глубина и характер тех модернизационных процессов, которые объективно происходят

сегодня в российском обществе, самым живым образом связаны со своеобразием мировой истории XX века и спецификой России в этой истории как некоего материка в мировом сообществе.

Речь идет о том типе жизненных ситуаций, когда ценности и идеалы, обеспечивающие целостное мировосприятие и воспроизводство общественной жизни в рамках некоторых закономерностей, по каким-то причинам рушатся. Чаще всего это разрушение сопровождается обострением социально-психологической, национально-чувственной активности общества, а на этом фоне сама потребность обрести их заново или воспроизвести в регулятивно-действенных формах заглушается. Очевидно, однако, что когда этот эмоциональный подъем проходит, то задача обретения житнотворных идеалов становится рационально организуемой. Именно здесь я вижу работу духовного стратега, способного сформулировать для общественного сознания некоторые собственные духовные продукты и осуществлять корректную рефлексию над всеми остальными формами такой же работы, понимая, что у каждого субъекта, обозначенного выше при характеристике трех позиций, есть свой инструмент, материал, духовная основа - интеллектуальная и жизненная - и своя предметность.

Здесь я хотел бы поставить акцент на одной закономерности, связанной с функционированием общественных систем в состоянии предельных оснований (предельных ситуаций). Мы недостаточно внимательны к одному универсальному закону, который в агрессивно-догматической форме был интерпретирован ленинскими большевиками через придание образу "партии власти" статуса духовной диктатуры. В этой абсолютизации, в этом насилии над общественным развитием эксплуатировалась получившая извращенную форму универсальная закономерность: в предельных ситуациях все многообразие социума и вся многоликость настроений, мотивационных устремлений, ценностно-поисковых смыслов-жизненных усилий фокусируется в реальной жизнедеятельности некоей группы лиц, которую нестрого можно назвать "духовно активное меньшинство общества, задающее векторы общественного развития".

Для меня очень важно принять в качестве базовой идеи безусловное наличие такого слоя людей, однако я категорически против того, чтобы обозначать его узкоинтеллектуалистски - как некий передовой отряд духовных мыслителей с системным аналитическим аппаратом, способных увидеть настоящее сквозь

весь объем культуры прошлого. Мое представление об этом активном слое значительно более радужное - радужное не только в смысле "оптимистичное", но и в смысле буквальном. Эта радуга - спектр цветов тех жизненных страт, в которых пульсируют поиск идеалов и музыка состоявшихся ценностей, исключая дидактически навязчивое и идеологически репрессивное внушение.

Очевидно, что идеалосозидающую работу по-своему проводят так называемые "народные философы" - "мудрецы от жизни". Их роль в сегодняшней ситуации уникальна. Никто не может строго сказать, где они в большей степени представлены - в какой профессии, в каком возрасте - и в каком пространстве России как страны миров (по Гефтеру) расселены. Важно, что они не являются специализированными профессионалами духовного производства и осуществляют эту деятельность благодаря своим талантам, способностям, по некоему предназначению в недрах своего бытования. В нашей сегодняшней ситуации созидателями в сфере духовного производства являются - в большей степени бессознательно - те, кто закладывает базовые основы стабильности жизни.

Традиционно интеллектуальная среда, которая по своей профессии обязана осуществлять эту работу, производит много помех, "мусора", шума. Этот продукт можно считать своеобразной экологической диверсией в рамках работы общества над своим самоопределением. Но ничего не поделаешь, потому что здесь есть свои издержки - от графоманства до писательства на потребу, сочинительства для того, чтобы "живот накормить" или просто выжить. Надо понимать, что такой поток, загрязняющий духовную работу в обществе, просто неизбежен, а фильтрами являются множество естественно вырабатываемых защитных механизмов.

Анализируя попытки поиска "национальной идеи" в многовековой российской истории, можно отметить, что рационально-интеллектуальное оформление идеалоформирующей потребности в специализированных текстах не оказывало того желанного влияния на существо этой работы, какое оказывало формирование базовых основ жизненной стабильности. Эти основы формируются прежде всего в таких реалиях модернизационного процесса, как становление полноценного собственника, обретение упорядоченной базы экономической и гражданской свободы личности и, что сегодня для меня лично является самым главным, простраивание на сугубо

профессиональных прагматичных основаниях системы управления общественно-государственным устройством, которое приобретет в определенной перспективе форму технологически воспроизводимого и естественно принимаемого правила жизнедеятельности. Речь в последнем случае идет, если упростить проблему до предела, о том желанном состоянии, когда государственно-политическая деятельность станет профессионально осуществляемой работой, а абсолютное большинство людей в обществе не будет воспринимать ее обостренно-пристрастно как затрагивающую их собственные коренные жизненные интересы. Они будут участвовать в этой деятельности лишь процедурно - с той свободой выбора, которая по сути своей не затрагивает глубинных идеалоносных и судьбоносных для личности, гражданина и человека вопросов. Если все это учитывать, на поверку окажется, что сегодня то нечто, что пульсирует в виде вождельного образа "национальной идеи", может быть зафиксировано в удивительно прозаичных и внешне элементарных жизненных ценностях (даже как бы и неловко становится за такое количество наговоренных вокруг этого слов).

Мы должны осознать, что традиции российского общественного сознания таковы, что оно веками функционировало вне рациональных форм жизнеориентирования. И наша сегодняшняя "национальная идея", понимая всю условность этого определения, состоит, на мой взгляд, в сознательно организованном, рационально описанном и процедурно, технологически, инструментально оснащенном накоплении навыков мирочувствования, мироощущения, мировосприятия, мировоззрения, когда представления о стабильном, нравосохраняющем и правообеспечивающем образе жизни станут повседневными и массово воспринимаемыми. Нам сегодня нужно осознать, что единственная возможность достойно (при этом бережно относясь ко всей нашей многотрадальной истории) ответить на вызовы XXI века заключается в освоении неких, по разным причинам Россией проигнорированных, рациональных базовых форм жизнедеятельности, освоение и внедрение которых в будни и праздники и будет означать для нас спасительное единение многоликих устремлений, разорванных историей поколений, того, что связывает прошлое, настоящее и будущее.

Настаивая на этом подходе, я сознаю его колоссальный риск. Если на реформаторской заре риск видели в наивной вестерни-

зации самих преобразовательных задач и методов, то сегодня его усматривают в “стандартизации”, рационализации жизнедеятельности. Она чревата утратой повышенной созидательной чувствительности российского национального самосознания и самочувствования и влечет за собой зомбирование средой, совершенно лишенной той индивидуальности (от святого до юродивого), которая наполняет очарованием все внешние оценки России, но чаще всего выступает испепеляющим испытанием для новых поколений российских граждан.

Моя версия поиска национальной идеи заключается как раз в том, чтобы выявить и стимулировать меньшинство, определяющее сущность смыслообразующих ценностей, таким образом, чтобы оно оказалось ненавязчивым организатором освоения принципиально новых для российской действительности, но элементарных и естественных для современной цивилизации форм жизнедеятельности. И к счастью, как бы мы ни изощрялись, но все они опять же упаковываются в такие конструкты, как достойная, стабильная, предсказуемая жизнь в стране, которая дорожит своими гражданами, создание образа достойного государства и достойного социального объединения. В итоге мы приходим к элементарным моральным заповедям (их универсальное значение очевидно), которые являются естественной защитой от “чудодейственных” идей, смертоносным образом зажигающих на какой-то период определенную часть общественной энергии и через некоторое время опустошительно, разрушительно иссякающих в своих чрезмерных последствиях.

Итак, получается, что сегодня нет ничего полезнее с точки зрения утилитарно-прагматической и, в то же время, нет ничего возвышенной такой идеи, которая связана со становлением достойной жизни каждого россиянина в стране, уважающей все другие общественные устройства настолько, насколько мы хотели бы, чтобы уважали нас. Так мы преодолеваем издержки великодержавной воспаленной российской памяти: имея колоссальные ресурсы, по определению становимся страной, требующей повышенного к себе внимания.

* * *

Предлагаю пять сюжетных тем, важных для понимания позиции *стратегии* в осмыслении сути обсуждаемого коллективной экспертизой исследовательского проекта “Доктрина этики успеха”.

1. Хотелось бы проект, связанный с культивированием достижительных ценностей, делового и жизненного успеха, сориентировать и на исследование этих ценностей как базовых в становлении новой российской государственности. Термин "государственность" здесь нагружается не столько юридически-нормативным, сколько мировоззренческим смыслом. Этот ценностный смысл предполагает разъяснение, в том числе и самим себе, того, что понятие "государственность" вбирает в себя и эту вожденную тайну, объявленную поручением президента. Это поручение включает в себя компенсацию дефицита идеалности государственности в России: корректную реализацию темы патриотизма, сложнейший разворот, связанный с сильной властью, либеральные идеи, порядок и гражданские свободы.

Перед нами стоит задача - строго организованной системой работы добиться осознания того, что сегодня складывается фундаментальный духовный вектор, сохраняющий специфику русского духа и, одновременно, осваивающий те инварианты цивилизации XX века, в том числе рациональные жизненные навыки, которые, по крайней мере, обещают нашей стране предсказуемое нормальное будущее. Мы должны разъяснить - хотя бы самим себе - недопустимость бессознательного смещения духовного самоопределения с политической практикой. Мы должны понять, что поиск так называемой национальной идеи является специализированной задачей в рамках политической практики, а духовное производство и становление самосознания русского общества в новых исторических параметрах связано с иной предметностью.

Сегодня же у нас все в одной куче: не разделены вопросы управления ресурсами (человеческими, духовными, властными) и собственно философская работа по самоосознанию. В силу совершенно естественных причин политико-властные отношения становятся сегодня предметом повышенного интереса. Но этот интерес не сопровождается осознанием того, что речь идет о специфическом виде деятельности. Одно дело, когда гражданин реагирует на властную реальность, не имея обязанности разбираться в том, что делает правительство, президент, но другое дело, когда интеллектуальная среда еще не осознала своей специальной роли в культивировании этого типа профессионализма.

В итоге профессионализм и компетентность дискредитированы, доморощенные властно-политические субъекты

берутся за работу, мировоззренчески целеполагающую, а интеллектуалы беспардонно внедряются в специфическую отрасль жизнедеятельности - политически властные отношения - без осмысления и принятия их уникальной специфики. Игнорируется различие в базовом определении предметов этих сфер деятельности: для политики - это утверждение интересов, а для сферы духовного производства - истина, добро, красота. Нам еще предстоит отстоять идею специализации и разделения труда в поиске духовной координаты в жизни человека, общества, государства. Переход из одного вида производства в другое предполагает глубокую рефлекссию над законами этого перехода и онтологизацию предметности таких разных видов деятельности.

2. Инициаторы экспертизы доктрины этики успеха, как режиссеры, задают некоторые желанные им параметры интеллектуальной мизансцены, а реальность духовного явления существует в своем пространстве. Авторы проекта пытаются локализовать его своими шторами, занавесками, декорациями и решить свою сверхзадачу. Я же вижу поставленные вопросы с другой сценарной и режиссерской подосновой: да, существует неизбывная потребность формулировать и искать национальную идею, но не существует конечного результата в этом процессе. И есть в этом какая-то странная, раньше мне в голову не приходившая самоирония.

Еще в рамках проекта об успешном профессионализме (см.: Апология успеха: профессионализм как идеология российской модернизации. Материалы экспертного опроса. Тюмень-Москва. 1995 г.) была отмечена мерцающая природа феномена успеха. Поэтому мы говорили, что однозначных и объективно рационально контролируемых критериев успешной деятельности в принципе нет, но есть потребность соединить достигательную психологию с какой-то социально оправданной и общественно признанной результативностью.

С этой точки зрения понятно, что способы функционирования феномена успеха и феномена национальной идеи родственны. В каких-то своих глубинных параметрах они являются явлениями одной природы: отражая фундаментальные основы человеческого существования, они имеют неизбывную потребность в своей реализации и всегда находят либо корректных, либо некорректных субъектов для удовлетворения этой потребности. Но как только кому-то приходит в голову эту работу результативно

зафиксировать, он тут же оказывается в ловушке мерцающего результата.

Каковы способы целеполагания и целереализации в рамках функционирования и развития социального целого в условиях такого класса и масштаба проблем или исторических ситуаций, которые мы сегодня переживаем? Мне кажется, что суммируя опыт последних лет, включая десять выпусков “Этики успеха” и сопутствующие им научные публикации, а также общий фон, который создан этими усилиями, можно уже переходить на более предметные задачи, связанные с выяснением таких фундаментальных основ жизнедеятельности, как базовые идеалы и ценности, определяющие в своей совокупности то, что можно назвать “духовный образ времени”. Исследование комплекса ценностных ориентаций, имеющих своих социально акцентированных носителей, окажет влияние на формирование целостного и достаточно устойчивого мировоззрения, отражающего исторический сдвиг в социальных предпочтениях с их достаточно активной общественной поддержкой в персональных притязаниях. Пора, на мой взгляд, стремиться к тому, чтобы разыскивать в российской действительности - пусть на этом этапе и немножко предвзято - доказательства тому, что у нас уже есть некоторые основания для признания ценности делового и жизненного успеха как адекватной мирочувствованиям и устремлениям определенной среды.

Да, наличие таких оснований не стало предметом громких, ярких манифестаций, не выразилось в программах движений, партий, организаций. Вместе с тем на общем фоне идеологической небрежности, идейной всеядности и растрепанности все же можно говорить о том, что для определенной части российского общества, не регламентированной какими-то традиционными формами группового сообщества, эти ценности становятся желанными, предпочтительными, ведущими. При этом нельзя упустить из вида такой признак, пунктиром прорисовывающийся в российском обществе: уже есть немало людей, которые отказываются приобщать себя к разряду ищущих суперпривлекательную и суперзажигательную национальную идею, а ограничиваются, может быть, самым трудным в этой духовной работе. Речь идет об ориентации на *здоровый прагматизм*, в основе которого лежит преодоление облегчающей душу утопичности, бесконечного упования на какие-то вековечные и внешне легко достижимые идеалы без умения и желания ежедневно сосредоточенно создавать нормальную

среду жизнедеятельности, здоровую, без пропусков и без пауз, рациональную форму самоорганизации.

В действительности же это свидетельствует о том, что для части российского общества ценности делового и жизненного успеха становятся базовыми составляющими той самой вожделенной, организующей, мобилизующей и сплывающей национальной идеи. Формирующийся исподволь особый слой российских граждан, незримое общественное движение людей друг к другу независимо от текущих политических предпочтений и идеологических навыков и будет в наибольшей мере консолидировать общество, создавая внятную, понятную для представителей этой среды и легко артикулируемую систему ценностей и предпочтений. Внутри России идет проращивание не партийного, не политического и не узкопрофессионального, а возрожденческого движения, которое по сути своего формирования и функционирования несет с собой фундаментальную новизну трансформации. Суть этой новизны такова, что становятся бесплодными все утомительные и свехувлеченные поиски ответа на вопрос: что же все-таки более близко для российской действительности - здоровый консерватизм, осмысленный либерализм, ровный социал-демократизм или мы обречены на свехагрессивный национал-шовинизм?

Я настаиваю на том, что скорее всего мы имеем дело с той фундаментальной исторической ситуацией, когда Россия будет одной из первых стран, практически отвечающих на вызов уходящего XX века в его итоговой форме *свехидеологического* способа жизнеорганизации. Речь идет о преодолении в качестве значимых и доминирующих тех или иных известных нам из истории типов идеологий. Мы обязаны понимать, что любая из идеологий должна найти на российской почве свою корневую систему и вырасти в плодоносное дерево. Но характер жизнедеятельности, масштаб государственно-политических, экономических и, самое главное, интеллектуально-информационных процессов настойчиво сигнализируют о том, что не конкуренция идеологических и мировоззренческих систем между собой за голоса избирателей и их умонастроения является предметом ближайшей духовной стратегии человечества, а естественный, органичный и плодотворный духовный синтез. Вот о каком сознательном целеполагании нам важнее всего и интереснее всего говорить сегодня.

И можно с благодарностью относиться к той пропедевтической работе, которая проделана представленной на экспертизу

доктриной, поскольку и поиск национальной идеи, и разыскание ясных, четких и привлекательных параметров этики успеха помогают осознать эту привлекательную и желанную новизну.

3. Мне кажется, что в такого рода проектах есть риск чрезмерного интеллектуализма. Да, есть предмет интеллектуального усилия - поразмыслить о национальной идее, о ценности успеха. Но меня особенно интересует, как сопрягаются эти усилия с реальной практикой социального большинства. Самое, может быть, трудное - и самое интересное - заключается в том, чтобы, работая в исследовательской, гносеологической позиции, удерживать в том числе и позицию практикующего субъекта, пытаться соединить план рационально-терминологической реальности жизни с планом экзистенциально-герменевтическим.

Ясно, что это тоже вид интеллектуального игрища. Но если я настаиваю на формировании некоей тенденции в недрах общественного целого и демонстративно и во многом сознательно культивирую вновь формирующийся слой *достижителей*, то и стараюсь его именем работать в интеллектуально-сценическом пространстве.

Все варианты познавательных мизансцен, казалось бы, уместны, но в большинстве своем тупиковые результаты по анализу главного вопроса - что с нами на самом деле происходит, какие жизненные смыслы мы утрачиваем и какие приобретаем, какими духовными усилиями создается или, наоборот, теряется в российской действительности плодотворная программа жизни, ее светонесущий вектор, - обязаны, мне кажется, в том числе и пренебрежению к равноуровневому характеру этой работы. Они обусловлены неразличением принципиальной разницы двух вопросов: (а) в чем состоит национальная идея, ее многоликость, полимерность и полифония? (б) кому нужна работа по поиску национальной идеи, какую жизненную потребность она обслуживает и кто ее адресат?

4. Авторы проекта спрашивают экспертов о том, можно ли рассматривать первый этап российских либеральных реформ как попытку «внедрения» ценности успеха в жизнь страны? Они предлагают оценить справедливость гипотетического суждения о том, что вольно или невольно, осознанно или не оформляя соответствующий дискурс, лидеры реформаторов стремились культивировать в современной России ценность успеха.

На мой взгляд, в этом суждении содержится некоторая натяжка, допускаемая в интересах развития проекта. Можно понять авторов проекта, полагающих, что либеральные реформы и затевать не следует, если не иметь в виду, что реализовать реформаторские начинания должны люди, делающие ставку на свой жизненный и деловой успех.

Однако полноценные либеральные реформы в России еще и не начинались. Особой мировоззренческой стратегии у реформаторов не было. Усилия, которые предпринимались под флагом реформаторства, были связаны прежде всего с решением неотложных задач и проблем в принудительных обстоятельствах. Понятно, что базовый подход был связан с такими ценностями, как экономическая свобода, политический плюрализм, законность, но все остальное было вопросами текущей, неотложной, во многом вынужденной работы. Так именно они и воспринимались.

Что касается собственно ценности успеха, то мы и сегодня еще с трудом ее озвучиваем даже для самих себя. Мы ее еще и не артикулируем, не говоря уже о способности сформировать привлекательность этой ценности в общественных настроениях и индивидуальных мотивациях. Все это еще впереди.

В этой связи предложенное для экспертизы суждение авторов проекта о том, что первый этап реформ возбудил в общественном сознании, с одной стороны, тягу к успеху, а с другой - своеобразное отвращение к этой тяге, закрепляя за стремлением к успеху лишь негативную ценностную нагрузку, и тем самым разделил общество, требует корректировки, поскольку такого рода амбивалентное отношение к успеху не является чем-то новым. Мне кажется, что такая полюсность позиции была характерна и для советской эпохи. Сегодня мы все еще находимся в плену того мировоззрения, играющего роль внутреннего цензора, и потому современное осознание ценности успеха связано в том числе и с преодолением прежних идеологических стереотипов, не говоря уже о том, что оно не может быть педагогическим образом привнесено в общественное сознание.

Дело и жизнь могут быть одухотворены ценностью успеха лишь в том случае, если они базируются на ясной и внятной корневой системе условий существования человека. Вспомним, что протестантская этика, трактуемая М.Вебером как изначальная мотивационная основа здорового конкурентного

мира капитализма, была связана с теми слоями общества, у которых была индивидуальная экономическая собственность. И в этом плане этический и нравственно-психологический заряд базировался на некой социально-экономической онтологии. У нас же в России такой онтологии для большинства людей нет до сих пор.

Культивирование способности вслушиваться в ценность успеха предполагает специфическую линию и стиль поведения именно для тех, кто, владея собственностью и желая ее приумножить, вносит в нее свои знания, умения, усилия и потому дорожит успехом как базовой ценностью для себя и для всех тех, кто так или иначе соучаствует или конкурирует в его жизнедеятельности. А для большинства людей - так было и так есть сегодня - ценность успеха остается сильным негативным раздражителем. И наивно впадать по этому поводу в морализаторский и пропагандистский раж. Предстоит добиться главного: чтобы у этого большинства россиян появились свои корни в движении к идее успеха. Пока это не получается, ибо приватизация и акционирование, являющиеся главным экономическим рычагом, для большинства людей оказываются абсолютно не востребованными, не осмысленными и не организующими их интересы и действия. Поэтому-то полярное отношение к ценности успеха воспроизводит скорее старую ситуацию, чем характеризует новую.

Рассуждая о судьбах столь противоречиво воспринимаемой ценности успеха в современной России, уместно выделить несколько проблем.

Необходимо постоянно чувствовать, что культивирование ценности успеха в нашей стране - это попытка внедрить в российскую культуру ценность, которая прежде существовала в ином виде и в определенном контексте. Например, важно, отставив привлекательность и жизненную полезность культивирования ценности успеха, не довести этот процесс до абсолютизации, игнорирующей те ценностные предпочтения, которые незаменимы для нашей вчерашней и сегодняшней действительности. Нельзя, к примеру, допустить, чтобы культивирование стремления к достижению сопровождалось чрезмерной индивидуализацией субъекта успеха, обостренным эгоизмом, пренебрежением к условиям жизни других людей, чтобы свойственная процессам достижения конкурентность оборачивалась сладострастием победителя по отношению к побежденному, чтобы деловой и жизненный успех приводил к

гордыне перед всеми остальными, обратной стороной чего и оказывается зависть, ненависть и прочее, что как бы опровергает действительный смысл успеха.

Культура достижения предполагает отказ от жесткого регламентирования искомого результата деятельности, предмет достижения не должен быть вызывающе демонстративным. Ценность успеха для меня связана в большей степени не с определенным результатом и четкими критериями его фиксирования, а с самой установкой на достижение. В этом смысле применение термина “состоявшийся” в отношении человека успеха влечет за собой много принудительно фиксированного. Используя этот термин, мы можем пренебречь такими реальностями, как призвание человека, его предназначение, талант и т.п. Но ведь предметом достижения могут быть и самовоспитание, и саморазвитие. Стремление к успеху может воплощаться и во внешне незаметных задачах, решая которые человек совершенствует себя. Это могут быть и серьезные профессиональные цели. И критерий достижения каждый раз должен быть скорее внутренним, его параметры и масштабы находятся все-таки в самом человеке.

Предстоит найти созидательное сочетание экзистенциального плана проблемы успеха и ее публично-социального плана. Когда мы пользуемся понятием “состоявшийся человек”, то акцентируем социально-публичный план. Когда акцентируем понятие “достижение”, то имеем дело с индивидуально-экзистенциальным планом. Важно, чтобы вокруг человека и внутри него состояние целеустремленности и целенаполненности существовало в полной мере, не стоит акцентировать сравнение результатов и создавать иерархичность, опустошающую одних людей и возвеличивающих других.

5. Подчеркивая особенности стратегической координаты в исследовании предложенных на экспертизу проблем и решений, выделю, в продолжение сказанного выше, задачу перевода формулировки проблемы успеха, акцентирующей его внешне результативные формы, в план внутренней мотивации, в экзистенциально-интонационный план. Стратегический подход к теме предложенного на экспертизу проекта предполагает разговор не столько о состоявшейся реальности, сколько о выявлении импульсов к ней. Предстоит разговор о собирании из разных источников и разных форм жизнедеятельности того общего восприятия, настроения, стиля жизни, в которых ценность успеха как достигательная мироустановка может

существенным образом оптимизировать как индивидуальную жизнь, так и общественное целое в их перспективе.

Этот стратегический вектор во многом специфически повторяет универсальную работу над тем, что можно назвать идеалоформированием. Каждый человек в отдельности неповторимо проживает этапы стремления к возвышенному, упоение в трудном пути к нему, непокорность будничному и упрощенному. Но сегодня мы живем в такой реальности, которая нуждается в очень тонком, деликатном культивировании этой индивидуальной работы каждого, ибо уже нет дисциплинирующих форм социальной органики, жесткой идеологической концепции, до винтика соотнесенной с ней воспитательно-образовательной и агитационно-пропагандистской машины. То, к чему мы стремимся, предполагает использование иных инструментов и другую мелодичность: во всяком случае, не барабан, не литавры.

Не трудно заметить, что в моем подходе к проблеме формирования национальной идеи и места в ней ценности успеха содержится, во-первых, внимательное отношение к потребности искать национальную идею и, одновременно, отрицательное отношение к возможности реально сформулировать ее и предложить обществу. Во-вторых, я самым активным образом заинтересован в категорической реабилитации в российской системе ценностей ценности успеха, но одновременно мне важен и интересен не очередной моральный кодекс или таблицы денежных доходов, а план жизненной атмосферы, настроения, мелодии жизни.

Не получается ли в таком случае, что все известные попытки предложить национальную идею, определить в ней место ценности успеха - понятийно, категориально, системно - мною как бы отвергаются? Не хотелось бы, чтобы восприятие моего подхода было именно таковым. Вспомним, что у радуги нет доминирующего цвета, она составлена из семи равнозначных цветов. Так и мое понимание стратегического подхода заключается в том, чтобы поощрять сам поиск национальной идеи - это сильная и жизненно важная потребность самоопределения и самоориентирования, чтобы приветствовать пробу на результативность доктрины успеха, но фиксировать при этом скорее бесконечность пути, на котором любая попытка остановиться может опрокинуть жизненное содержание самой цели такого пути.

Г. Д. Гачев
ДУМАЮ ПРО “ЭТИКУ УСПЕХА”

10.7.97. Прислали мне из Тюмени приглашение - “принять участие в экспертизе-консультации доктрины этики успеха, заявленной для участия в своеобразном конкурсе современных версий национальной идеи России”, и получил я журнал “Этика успеха”, вып.10.

Понятна интенция: чего хотят замыслившие толковище на эту тему, а именно: привить сего дичка нам, во России, - американскую идею-мифологему, организующую там образ жизни и стиль поведения, - УСПЕХ - ко древу натуральных в нашем космосе-истории-традиции - привычек-ценностей-обычаев.

Конечно, актуально это - и на переднем крае задач “текущего момента” истории России. Ибо - никуда не деться, а придется нам решать это уравнение (со многими неизвестными...): дать ответ на вызов Американизма, поскольку в этой форме-ипостаси ныне насаждает на нас Запад - подобно тому, как при Петре Россия столкнулась с вызовом Германства - в том виде приблизился тогда к нам Запад.

Я употребил термины Тойнби: Вызов и Ответ. Таков, ему согласно, механизм встреч цивилизаций в честной (и нечестной) исторической конкуренции-борьбе. Кстати, тут характерная для Английского Логоса оптика и подход предложены нам как всеобщие: принцип БОРЬБЫ - “за существование” (Дарвин), “конкуренция” (Адам Смит), “спорт” - игра по правилам; наконец, драма (“Действо”-вание), театр Шекспира - с противоборством равномогущих персонажей, где никому не подыгрывает судья-автор, но “злодей” (Макбет, Ричард III, Яго...) - столь же богатая личность, как и “герой положительный” (Гамлет, Отелло, Лир...).

Да, на выучку - к мировой цивилизации?.. - нет, к локальной цивилизации Запада (но ее принцип победителен в экономике современного мира, так как именно примат экономики: производства и рентабельности - принял из всех возможных ценностей мир ныне, но не значит, что - навсегда зацарит экономический критерий, ибо уже напирает подход экологический и может загосподствовать в XXI веке, в грядущем тысячелетии) приходится теперь цивилизации России и людям, ее населяющим, идти. Ситуация Истории мировой и нашей - так повелевает. И именно Американизм и его принципы сейчас ведущие, первенствуют. А среди них УСПЕХ - как критерий ценности и

реализации человека за жизнь его. На правах “смысла жизни” (что есть категория, интимная душе русского человека) эта идея.

Вникнем в содержание этой идеи, ее состав и откуда она.

Успех - идея для индивида, а не для социума, целого, страны. Для них - ПОБЕДА (“одна на всех, мы за ценой не постоим!”), ВЕЛИЧИЕ... - аналогичные ценности и критерии.

И тут воля традиции, предыдущей истории - как Рок и Судьба - определяют (не все, но многое...): с чего началась, “есть пошла” страна сия? Американская цивилизация началась через переселение в Новый свет одиночных энергичных индивидов, работяг-умельцев, “робинзонов”, выпестованных Старым светом и Богом христианским. Отсюда “протестантская этика” с “духом капитализма” (Макс Вебер) туда занесена. Но она работала - между собой, в среде белых, а не применялась к индейцам, кто им - нелюди, элементы просто природы, как деревья, что вырубают или сажают не по этике, а по экономике.

Итак, сначала не было Америки как Целого, а было Броуново движение индивидов-работяг, пробивавшихся сквозь природу и там добивавшихся успеха - как своей личной победы. И постепенно из успехов индивидов стали собираться Северо-Американские Соединенные Штаты как страна, целое, социум, некое Единое. Но недаром в их девизе, что на флаге американском, начертано *ex pluribus unum* (“из многих - одно”). Именно таково начало, принцип Американизма: его субстанция, почва, онтология - это МНОГИЕ, Множество монад, а уж Целое выступает - как их сумма, Интеграл этих дифференциалов, их собирательность - как соединение штатов в державу.

Иная совсем традиция-история и ее воля в России и ее человеку, что действует как Судьба, некое предопределение и текущему мигу. И правильно сделали исследователи, задумавшиеся над “этикой успеха”, что связали ее с “Русской идеей”, с ее поисками и формулированием ныне и с новым ее видом-ипостасью возможной.

В России первично Целое: страна, родина, государство - не “общество”, которое, скорее, - собирательность, множество; “государство” же - нечто Единое, организм, недаром тут естественно утвердилось МОНАРХИЯ и ДЕРЖАВА. Также и “родина” = Мать - одна: не может быть в принципе многих. И человек в России чувствует себя *внутри*, в толще, элементом-капилляром-сосудом в утробе сего организма живого. В США же индивид напрямую с открытым космосом общается, выходит один в поле, всевооруженный умениями и техникой, как Робинзон; а как

функция таких самостей и собирается-возникает большая община - общество-социум США, что формируется искусственным путем через разум законов и прав - Конституцией - и далее уже встает над индивидами, умеряя (а не подстегивая, организуя, как государство в России, где оно - хозяин и предприниматель главный) их мощную эгоистическую трудовую активность - ради равновесия Целого.

Так что “инфантилизм” русской души, “патернализм” Государства и “матернализм” Родины-страны-природы тут - не случайное качество, которое можно механически извлечь, как дискету, и вставить самость и самоопорность энергичного трудяги, нацеленного на прибыль и успех.

Тем не менее именно перед такой задачей-проблемой оказался волей исторического развития русский человек ныне. Ибо то Целое (Россия, СССР), в лоне которого он рос-жил-функционировал и чувствовал себя защищенным, а путь жизни осмысленным: ему служить (“Была бы только Родина богата и счастливая!..”), - теперь в позоре, разгроме - и недостойно уважения. *Не то* оно - даже территориально: Россия обкусана, и человек не узнает страны, в которой родился. Так что и страна ему уже как бы и не “мать родная”, а какая-то чужая - мачеха, что ли? Ну а уж государство - совсем стыд и позор: собрание эгоистических умников (что в целом, в сумме образуют дурачье), без государственного ума, драчунов, что прос..ли Державу в амбициозных потасовках. Как уважать таковую Власть, что воссела “во Отца место”? Всех этих самозванных “президентов”, “лидеров” = ЛЖЕ-“отцов отечества”? Государство лишилось своего ума-разума-рассудка, приняв чужие правила игры, что навязал разгромивший нас в холодной войне Американизм, - и теперь воззвало к “совопросникам мира сего”: “Спасайте! Дайте Идею! Придумайте - чем руководствоваться?”.

И вот проблема вырисовывается перед человеком так: СПАСАТЬ СЕБЯ или СПАСАТЬ РОССИЮ? Но какую? - непонятно. “Себя” - это вроде бы понятнее. И возможнее (кажется), уловимее тут, что делать. Рациональнее и все ж по мере, силам ума и здравого смысла одиночного человека. Тогда как про “Россию” - уже должны вступать метафизические и историософские идеи в дело - и там запутаешься в софизмах...

Может быть, возможное будущее величие России - станет возникать на основе успехов ее сограждан в личных трудах?...

Абстрактно говоря, это возможно. Но пока идет интенсивный обрыв пуповины, связующей душу человека, родившегося в Рос-

сии, с нею, - и вон уже эмигрируют за рубеж и работают в США наши ученые, и принцип ubi bene - ibi patria ("где хорошо - там и родина") приживается в душах людей. И почва сему - что "не та" страна родная стала и "все не так, как надо!" в государстве...

И чем же заняться? Возиться с устройством порядка (но какого? Старого? Нового - и тут какого?) в тусовках наверху - или плюнуть и положиться в этом на кривую Истории, что вывезет и "образуется" что-то - со временем и по ее, Истории, темпоритмам - долгим периодам, векам, что несоизмеримы с моим краткосрочным смертным существованием единичным, которое я призван прожить со смыслом и счастливо - в полвека своей зрелости?...

В конце концов, индивид онтологичнее, чем страна. Страны - образуются, распадаются, меняются в ходе истории и тоже смертны (где Эллада? Древний Египет? Вавилон? Майя?..) их комбинации. А "я" уникально, неповторима моя монада - и переносима в капсуле тела и в иные сверхличностные образования: в США, Харбин или государство Израиль...

Но уже эти конкретизации (я ведь не назвал Южную Корею, Китай, Мадагаскар...) подают уточнение к сказанной выше мысли о переселенцах: они везде тянутся друг ко другу и образуют общины - как микроРоссию ныне в Израиле, как русские после гражданской войны образовали в Харбине остров-очаг России и ее культуры - на территории Китая. Так же и в суперцивилизации США иммигранты из разных стран мира обитают своими общинами: поляки, евреи, итальянцы и др. В таких общинах подпитывается Психея, душа людей-эмигрантов, - материнским молоком языка, обычаев, кухни, общения - как необходимой плазмой, без которой человек задыхается и теряет энергетику, нужную даже для успеха в его деле. Ибо иначе - наступает тоска: к чему все, эта мотня? - и отчаяние, и самоубийство...

Так что и Успех зависит от Психеи, от ее устройства подходящего = при-сущего именно тебе. То есть привязан ты исходно к СУТИ некоей - к некоему Целому.

Вглядимся в эту СУТЬ - МОЮ.

Она начинает складываться там, где родился (=пригодился). Для нас это Космо-Психо-Логос России как Севера Евразии, с ее природой, климатом, временами года, жилищем, языком, традицией-обычаями, культурой... Это - моя основа, земля, почва. Но путь человека - это из себя как особи в теле и индивида в социуме - выстроить Личность. Это путь - с Земли на Небо через Жизнь в социуме как некоем "срединном царстве"

меж Духом (“Небо”) и Материей-Природой (“Земля”). Путь человека - меж Судьбой (предопределение его природой, страной и историей) и Свободой. В человеке свобода воли - инструмент творчества Личности из себя в ходе жизнедеятельности и труда (в том числе, и производства изделий).

Так что искомая суть этого человека есть ЭНТЕЛЕХИЯ его (термин Аристотеля) = “целевая причина” его развития от начала до конца, а не есть некая точка-пункт - то ли его Родина (=причина), то ли его Дело и Слава (=итог, “цель”), которые в надгробном слове о нем, уже совершившем путь (=совершенство себя реализовавшем), фиксируют.

Человек за жизнь - слуга многих господ Целых и равномогущих: любовь к Родине, к Науке (той или иной), к себе, к жене... - они могут противоречить друг другу, и ты должен сформироваться и создать конкретное сочетание в иерархии этих сверхличных сил и целых, коим ты причастен. Перед всеми у тебя - ДОЛГ. И это имеется в виду, раз сочетание “этика успеха” нами обсуждается.

И в долгах есть иерархия - высший и низший. И как “несть жиды и еллины во Христе”, так и долг быть-стать Личностью и реализовывать именно свою энтелехию-призвание (=свой путь в целом) - превыше отдельных долгов и любовей - к родине, народу, семье, творчеству, таланту своему, к счастью...

Кстати, СЧАСТЬЕ и УСПЕХ - тоже сюжет.

Например, в традиции французского Психо-Логоса “погоня за счастьем” (принцип, развитый Гельвецием и Стендалем) аналогична обсуждаемому нами американскому принципу успеха, так что в соположении-сравнении их могут открыться новые стороны в понятии успеха. Счастье (=с частью я, мне подходящей, в целом мира) - это МОЕ внутреннее самоощущение в жизни. Критерий его - чувственный, эмоциональный, субъективный. Успех - объективное со-бытие этого человека в мире, и оно измеряемо извне него мерками: слава, репутация, деньги... Но человек, достигший успеха, вполне может чувствовать себя несчастным - и наоборот: человек, живущий в счастье, может не быть человеком успеха и даже быть неудачником. Такого особенно жалеет-любит-привечает русская женщина. И кому любовь дороже денег, успех - это мизер среди существенных ценностей.

...А если любит кто кого,

Зачем ума искать и ездить так далеко?

- упрекает Софья Чацкого в "Горе от ума" - то есть тоже в не-"счастье" некоем - это критерий в России начала XIX века, а не "успех". Тогдашним людям еще СЛАВА аналогична нашему "успеху", ИМЯ, ЧЕСТЬ - у аристократов. И если "успех" - то у женщин; успех же в карьере - ниже в общественном мнении и ценностях:

Тот сватался - успел, а тот - дал промах
- из того же "Горя от ума" реплика уже Чацкого.

Пушкин презрел и свое дело-талант, и свой успех = славу России ради Чести. От успеха его уже тошнило - не проблема это ему:

Ты сам - свой высший суд!..

И вот отповедь именно "успеху" - как тому, что приходит как признание извне: "Услышишь суд глупца..."

Успех - тщеславие. А у художника, личности - гордость. Но гордыня - большой грех в иерархии-то смертных семи грехов...

11.7.97. Ну, впрягу ум - продолжать про этику успеха думать. Читал вчера дальше присланную из Тюмени книгу - и восхитился: сколько умных людей прорезалось в открытую думать в последние годы - и ты лишь один из умников; так что смиришь, понизься в самочувствии!..

По-новому теперь понял некогдашний свой выбор (уж 35 лет назад) - уйти с "ярмарки" публикации (где цензура, редакция и проч. стеснения) - и писать себе "в стол", зато в полной свободе и расчете на Абсолют... Ведь так ты убежал не только из мира лжи и компромиссов в мысли и слове, но и от сравнения с другими, что, естественно, понижает твою степень важности. Конечно, коли остался один и никого подобного на горизонте - о, ты уникал! Единственный и неповторимый! Можешь гордиться и самовосхищаться: какой ты умный и оригинальное дело делаешь!

Так что твоя гордая формула: "я тщеславие преборол гордыней" (т.е. меньший грех большим, на что Юз Алешковский мне: "А, понял: триппер вылечил сифилисом!"), чем величался я в прежние декады перед нормальными литераторами и философами "в законе", - оказывается просто трусость страусиная - выступить в открытое поле состязания с равными и помешаться силами, но запрятаться под крыло (=под юбку жены), в лоно дома-семьи и там обитать как *гений* - "для садовых удобрений", как уточняла милая Вера Ивановна, мать жены, покойная...

Выходит: в таком эскапизме вроде в чистое творчество без помех, в уединении и адресате лишь на Истину - сокрывается и

некий блеф, вздувание своей стоимости, самоподогрев - на дерзание...

Что ж, такое тоже имеет смысл: БЛЕФ приемлем как прием в правилах игры в гонке за успехом. Когда ты выступаешь уверенно (пусть пока и *самоуверенно*) - тем самым излучаешь энергию, волю, силу внушения - и так раздвигаешь поле деятельности от препон-препятствий тебе в недоверии окружающих: они расступаются от маски преуспеяния, тобой надетой, как от лика Медузы Горгоны...

Вспоминаю, когда в Бостоне я был в гостях у Дианы Витковецкой, вдовы художника Юлиана Витковецкого, она поучала меня: "В Америке надо быть более *аррогантным*", т.е. вызывающе уверенным, с апломбом выступать, с победительным видом и выглядеть априорно торжествующим.

В России стиль обратный: уважается СКРОМНОСТЬ в человеке, когда он больше значит и стоит, нежели выглядит и вид имеет, когда он стушевывается, стесняется показывать свой "товар - лицом". Вон как восславлен Толстым капитан Тушин, истинный герой Шенграбенского сражения, потерявшийся на распеканции у Багратиона среди тщеславных блестящих адъютантов. Или как Пастернак:

Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

У нас "мал золотник - да дорог". Одеваться тоже надо приглушеннее. Тут принцип - БЫТЬ, а не КАЗАТЬСЯ. И более - быть, нежели казаться.

Во Франции же, напротив: "казаться" равносильно "быть": мнение других о тебе - доказательство твоего существования. Недаром они однокоренны во французском языке: être - "быть", а раг-аître - "казаться" (а буквально - "при-быть", "возле-быть"). "Выгляжу - следовательно, существую" - так можно бы Декартово cogito ergo sum ("мыслю - следовательно, существую") локализовать тут. И Руссо писал о бытии во мнении других...

В Америке же "казаться" орудифно для "быть": подъехать к нанимателю на работу в автомобиле престижной марки, одолженном у приятеля - это облегчить себе благоприятный прием и место труда. БЛЕФ - это АВАНС себе из Будущего: самоуверенность заранее пролагает тебе пути-рельсы продвижения вперед. Начальный Блеф - инструмент труда, орудие производства Успеха реального - в итоге.

Блеф - явление того же порядка, как и КРЕДИТ и пользование вещами В РАССРОЧКУ: жизнь в настоящем - за счет будущего.

Точнее: будущее притяннуто к сегодня и уже работает в настоящем. Это вообще стиль-принцип американской жизни, поведения и мышления. “Я проектирую историю будущего”, - возглашал Уитмен. И евразийская, старосветская категория ИСТИНЫ (от “есть”=то, что есть в Бытии) там естественнее звучала бы как “БУДЬТИНА” = присутствие будущего в настоящем.

И это тоже фактор достижения Успеха - такая ориентировка в Психо-Логосе: подтягиваться к должному, поставленному собой себе наперед, и развивать так свои силы-энергии-таланты. По М.Лернеру, “американцу гораздо легче установить, *чего он достиг*, чем выявить, кем он является”, - то есть кто он *есть* по Истине-Естине. Так что принцип “*познай* самого себя” (=каков ты есть уже), сократов, старосветский, - в американстве должен быть переиначен на “*сделай* самого себя” и даже не “себя”, а “дело свое”. Во всяком случае принцип Становления как Делания, Творения тут важнее принципа Бытия, что первый в европейской ориентации, в философии, где онто-логия субстанциальнее “прагмо-логии”.

Тут и иной акцент в принципе ЭНТЕЛЕХИИ. Ведь согласно энтелехии (“целевой причине”) каждое явление (вещь, человек, страна, цивилизация) определяется не только по тому, откуда она (причина, ген, семя, в прошлом), но и тем, куда и к чему придет - в полной, развитой форме своего совершенства, в достижении (цель, в будущем); и потому уже в настоящем бытии, в своем “есть здесь и теперь” всякое существование предопределяется не только из прошлого, предками, но и из будущего, потомками: ведь к ним оно ведет - к еще не известным нами, но уже действующим по *целевой* причине = волей имеющего стать Целого.

То же самое относимо и к стране, цивилизации. Сущность той же России - столько же в ее истории, сколько и в том, что с нею еще *будет* - и что, как некий зов, призвание, тяга из будущего, - действует в нынешнем: “Нас еще судьбы неизвестные ждут...” И мне понравилось рассуждение авторов книги про “должное” и “сущее”: “В должном пульсирует интенция на воплощение его в сущее. Оно мобилизует наши предпочтения, решения, свободную волю. В этом смысле и можно говорить о реальности должного”. И далее: “Сама национальная идея не может быть сведена лишь к историческому прошлому страны, народа. С не меньшим основанием национальная идея обращена в будущее, несет в себе авангардный, пассионарный, опережающий смысл. При этом она не просто описывает будущее, но и в определен-

ном смысле проектирует его, “провоцирует”, *ведет* к нему” (“Этика успеха”, вып.10, с.72). Это - по логике энтелихии произведенное умозаключение.

Но в нынешнем состоянии России как раз зова спереди, призвания - сего голоса не слышится, а слышнее ламентация по ушедшему и ностальгия. Будущее будто закрылось тучами и энтузиазма не внушает, пассионарности не подает, в отличие от XIX века, когда Россия была на пути к своему величию и совершению - так что дыхание спереди одушевляло людей: Гоголь, Белинский, Достоевский... Ныне слышнее зов не из потом России, а из сейчас мира - из наличной мировой цивилизации и ее стиля, с ее горизонта, - и тяга туда, растягивание-распотрошение нашего Целого на частицы регионов, вплоть до частиц-атомов-индивидов - человек: тяга стать “современным”, “по мировым стандартам” - чтобы и ты был так образован, и изделия ума и труда твоего принимались бы на мировом форуме-рынке как конкурентноспособные...

Что ж, и эта тяга-воля - не без смысла и для возможного будущего России и ее цивилизации. Ведь история развивается волнами. Сейчас - такт сжатия России, но расширения ее человека. Потом - иное будет, обратная волна пойдет. В перспективе такой - и ориентируй себя, человек! В нынешнем биении волн многих, в плюрализме тенденций и личностей - все имеют свой смысл. Срачивай себя с той, что по душе-сути твоей, и отдавайся ей. И среди них волна-тяга к Успеху - перспективная и одушевляющая - обладает “пассионарностью” как юная - во России. Тяга к самореализации, “достижительности”, к совершению и совершенству - и изделия, и дела, и идеи какой, и замысла, и себя... Привести к законченной форме.

Но этому как раз противится традиция, прежний стиль русского бытия, делания и мышления. Русские - мастера все НАЧИНАТЬ, открывать - но не завершать, не доводить до формы, конца, совершенства. Недаром у нас НАЧАЛЬНИКИ - и НЕЗАВЕРШЕНКА. Рьяно принимаемся за дело, но не хватает пороку довести до конца, “дожать”, - угасаем на полпути, разочаровываемся... То ли воля безмерного пространства обессиливает безнадегой, то ли в холоде Севера Евразии недостает разогрева - и короткое лето страдного труда и исторического рынка сменяется зимой “застоя”... Но это глубоко и в психике русского человека: он все мечтает начать новую жизнь - снова - здорово, сначала, чтоб “обновишася, яко орля, юность моя”! И Толстой выписывает в “Круге чтения” китайскую

мудрость: “Начинай себя сначала, каждый день сначала и снова сначала” (так примерно помню). И в пьесе “На дне” Горького пьяница Актер вдохновляется мечтой, как он завтра начнет новую жизнь: надо только бросить все - и уйти... “Он уйдет!” - мечтательно возглашает...

Такое жизнеотношение освящено и в высшем мире русской мысли, в Русском Логосе. М.М.Бахтин убедительно и вдохновенно писал о незавершенности всякого бытия: ничто, никакое явление и культуры, не сказало еще своего последнего слова - в том числе и ушедшие цивилизации Эллады и Древнего Египта. Во всем - открытость славна... Так что “достижимость” (что предполагается принципом Успеха) - ценность низшая: как уже нечто бездушное, обмертвевшее - по сравнению с “незавершенностью”...

И я, когда искал модель-схему для Русского Космоса, пришел к такому образу: $\rightarrow \infty$ - однонаправленная бесконечность. Аналог этому - и в формуле Русского Логоса, которую я вывел из многих наблюдений:

НЕ ТО, А...(ЧТО?)...

Тут многооточие важно - как символ открытости в неизвестное, незавершенности... (“Нет, я не Байрон, я другой...”, “Не то, что мните вы, природа...” “Нет, не тебя так пылко я люблю...”). Если формула западноевропейской логики: ЭТО ЕСТЬ ТО (“Сократ есть Человек”, “все люди смертны”), то русский ум начинает с отвержения некоего “тезиса-жертвы”, готового клише (с Запада часто пришедшего) - и потом ищется свое - и не находится, но сам поиск - уже ценность и как бы “решение”, “ответ”... У Гегеля отрицание - второе звено, а у нас - первое...*

12.7.97. Дочитал вчера книгу “Этика успеха”. Почти исчерпывающее рассмотрение аспектов проблемы. Что же я могу добавить?..

Природа России, космос Севера Евразии мало уважаются - учитываются в их предопределяющем воспитании обитателя здесь, во уложении его психики. По Пространству - и Время: особы темпоритмы и в истории России, и в образе жизни русского человека, в характере его реактивности. Они то судорожно быстры, авральны, как страда короткого лета тут, то

* См. об этом, о формуле Русского Логоса, подробнее в моей статье “Национальный Космо-Психо-Логос” (“Вопросы философии”, 1994, №12).

замедленны, сонны, инерционны, “застойны”, “тугодумны”, как долгая зима, да еще с прихватом осени и весны, так что получается “десять месяцев - зима, остальное - лето”.

Проблема “этики успеха” имеет априорно в виду - горожанина, кто не имеет прямого зацепления с Природой: землей, климатом, временами года, днем и ночью... - но стиль быта и жизни которого усреднен, без скачков-контрастов и примордиальных страхов обитателя Природы, где напрямую тебе жизнь или смерть; кто воспринимает не суховей, самум и засуху, или ураган и потоп, но - стены, улицы, рынок, площадь, общество себе подобных и коммуникацию-зависимость от них и гонки-скачки-соревнование с ними: вот я выбился в лидеры и имею признание и успех - от них, а с тем и почет-уважение и богатство-престиж.

Городская цивилизация, в общем, однородна на планете Земля во всех ее поясах-природах-климатах: те же авто, авиа, отели, пресса, теле, радио, гамбургеры, компьютеры, конференции умников-совопросников мира сего и треканье по-аглички... А с тем совершается и уподобление и тел (все сухопары-худощавы в идеале), одежд (костюмы-галстуки или, напротив, джинсы-кроссовки), душ улыбочато-белозубых, ну и умов-мыслей “хомо фабера”... И у нас выводится ныне такое племя-порода людей, тонкий слой “элиты”, что “на уровне мировых стандартов” люди, “как все” там, кто “страшно далеки от наРОДа”, как и от приРОДы (с нею лишь в спорте-теннисе сталкиваются), и для кого булки с неба берутся, а мясо-котлеты в “Макдональдсе” выращиваются. И таковые умы навязывают свои понимания, стиль жизни и правила игры - верхушечные - Земле, вторичное - первичному: почве, народу и природе. А они - не родят, не осеменяются от ваучеров. И вот эти бабочки перелетные на самолетах - диктуют, как жить и работать-устраиваться крестьянину, кто “крепок костями” и кряжист. Кому не “успех”, а УСПЕТЬ бы управиться с севом-сенокосом, в страду страсти урожайные перенести.

Тут приходят на ум мысли Толстого в “Анне Карениной” о русском стиле труда. В то время тоже шла реформа, перестройка: “Все переверотилось и только начинает укладываться”. В усилиях обновить хозяйство по последнему слову западной науки, его герой, Левин, наталкивается на вязкое сопротивление мужиков. И заинтересовать их материально пытается: сделать пайщиками, чтоб в охоте за большим заработком интенсивнее работали, и выгодные условия аренды - не реагируют. В итоге он понял, что на их стороне “естественный

порядок вещей”, что “мы давно уже ломим по-своему, по-европейски, не спрашиваясь о свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу не идеальной рабочей *силой* (как учит политическая экономия, рассматривая абстрактный труд и такого же рабочего - Г.Г.), а *русским мужиком* с его инстинктами и будем устраивать сообразно с этим хозяйство” (“Анна Каренина”, 3, XXVIII). То есть космос страны и психологию человека в этой природе учитывать. И понял он, что в работе интерес русского человека - не в количестве сделанного или заработанного (деньги), и даже не в качестве изделия (что “самое лучшее”, нет, русский доволен “подходящим”), но в *приятности самого процесса труда* - как момента во времяпрепровождении жизни. “Работнику же хотелось работать приятнее, с отдыхом”, “весело и беззаботно”, “спокойно и приятно” (там же в разных местах). Не только крестьянин, но аристократ Стива Облонский так работает как столоначальник: “Никто вернее Степана Аркадьевича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для *приятного* занятия делами” (1,V).

Элита из математических мальчиков уповают на технику: трактор, компьютер... Но им нефть и электричество нужны, а они опять - из чрева-лона Матери (и) Природы. Но новым “митрофанушкам” самим знать-уметь не надо: имея “баксы”, любую справку-информашку можно в памяти компьютера получить, как того Митрофана извозчики избавляли от географии.

В этом отношении предшествующее поколение - советских служилых “аппаратчиков” - еще полуприродный тип: выходцы из деревень, природу больше чувствуют и простонародного здравого смысла не лишены. Да и по конструкции-статусу своей кряжисты, стиль “московского служилого человека” (по классификации Георгия Федотова) в них. Однако, зажив горожанами, они вошли во вкус - переустраивать производственные отношения сверху, из ума-теории искусственно новую сеть сконструировать и наложить-опустить - “вНЕДРить” приказом-“булатом”. А сами со “златом” стали жить-дружить, как люмпены бескоренные.

Ныне новую сеть сверху выплетают: порядок “злата”, рынок и деньги вводят как регулятор - и удивляются, что не работают тут. Да ведь только-только Мать-земля России и ее Сын-народ привили себе, обвыклись, освоили = приспособили - возжизнили механическую сеть-структуру советскую, внесли в нее органические коррективы в мирный “застой” - уже не жестокое время.

Вообще два периода надо различать в истории советской (да и любой, хоть Римской, хоть Американской или Французской) цивилизации. Первый - период "бури и натиска", жестоко-кровавый (Ромул убивает Рема, белые вырезают индейцев в Америке, гильотина и Наполеон убивают миллионы французов... У нас - первые тридцать лет из семидесяти). Второй - уже не героический, но обывательский. В первый - власть напирает сверху, во второй - жизнь берет свое, низ расправляет силы, а соки в покое и тиши заструились вверх от земли, да и детки стали рождаться. Недаром тут уже природные названия периодов пошли: "оттепель", "застой" - и в них Жизнь начинает брать свое над схемой того или иного СТРОЯ-структуры, перерождая их по себе. И коррупция механизма и сухого идеализма советской системы - это уже органическое изменение, превРАЩение, оживление ее. Коррупция ведь - гниение, брожение, увлажнение... - все органика, не механика снова "переСТРОЙки"!..

Я тридцать лет уж по полгода живу в деревне (да и сейчас в избе и на поле это пишу) и наблюдаю, как мужички и бабы приспособили совхоз себе во благо: с фермы в свое хозяйство комбикорма приворывают, тракторами огороды за бутылку обрабатывают, а начальство сквозь пальцы на это смотрит. И так уже экономика смешанного типа стала у нас выращиваться: частный интерес и активность развивались, но прислонясь к порядку целого, под его эгидой-охраной, то есть естественным путем, постепенно, как и в давно "рыночных" цивилизациях Европы. И надо было понять этот процесс "коррупции" - как положительный, переходный - и направлять, не ломая еще слабые ростки.. То же самое относится к лжи и криводушию, что сменили романтику честной коммунистической идеологии. В них пролагала себя ЛЖИЗНЬ - как ипостась Жизни под Правдой безумного Рассудка...

Но наши идеалисты - без слуха на Жизнь - снова завопили: Ускорение! Гласность-Правда! Перестройка!.. Это напоминает, как в китайской притче крестьянин вышел на поле и не понравилось ему, что взошедшие ростки медленно растут; он принялся их вытягивать; пришел наутро - а все завяли, полегли. "Помогал росткам расти" - имя этой притче.

Важнейший вопрос о ТЕМПОРИТМАХ в развитии национальных организмов, в истории цивилизации. Ведь понятно, что темп кровообращения и пульс мамонта иной, нежели у собаки, а год вращения Юпитера другой, чем у Венеры. То же самое и в прохождении эпох и периодов странами.

Средней величины страна Европы - что среднее млекопитающее: Волк Германии, Дог Англии, Лиса Франции (я упоминаю интимные им тотемы, не случайные) - и естественно, что темп исторических процессов там другой, нежели у Мамонта, ну - Медведя России, кому еще и полгода спать в берлоге потребно. Да еще и учитывая разреженность населения ("как точки, как значки торчат", по образу Гоголя, на Руси, среди бесконечного простора, "твои города"...) - не то, что, например в Германии, где страна соединена снизу, соседством бурга с дорфом, так что рынок-обмен меж ними уследимый и правозаконный возможен. Россия же соединяется в целое сверху - костяком государства-Державы (что именно "держит" пространства разрозненные и население от расползания), да еще ТЕЛЕ (графом-фоном-видением), да Транссибирской магистралью. Ну и - языком Словом-Логосом... Так что скелет у России - сверху, панцирь, и с Неба - "Покров Бого-Матери" - и, ... И такой, полусинтетический, стиль устройства бытия ей именно естественен. Также и душе русского человека подходящ: не самостоит он, а прислонен, не существительное, а прилагательное - так всю историю было, включая и период СССР.

Теперь вдруг из имени прилагательного нас именем существительным соделать-произвести затеяли - и опять враз, сламывая и хребет стране, и костяк-ориентацию-устойчивость в человеке-особи. Вводя новые правила игры: рынок и успех, частная собственность и индивидуализм-самость вместо общинности; стиль вражды-конкуренции вместо взаимопомощи и в экономике, и в душах.

И чего ради? Какие положительные переживания получит новый человек? Больше Любви, Ума, Здоровья, Культуры - существенных ценностей прибудет в его жизни?

Не больше (ибо мера их, допустим, во всех цивилизациях одинакова), но другие. "Хоть горше, да иньше" - как говорят.

Конечно, изменение и развитие - в силу соседства, обмена и взаимовлияния - это тоже естественный процесс. Но - чтоб было кому-чему воспринимать и сообразуясь с мерой, обычаями и темпоритмами, а не сломав тело-целое в крошку, уповая, что само по хорошим новым законам срастется-образуется.

И что же видим? Сламывается целое страны, обкусывается ее территория и дробится на регионы - чтоб из тела мамонта несколько десятков собак возникло. Тогда, мол, динамичнее станет индивид-обыватель там, завертится сам собою, тисками

нужды подстегнутый, - так предполагается занесенными правилами жизненной и экономической игры "по мировым стандартам".

Допустим, произойдет это - и станем "как все". Но какой ценой? И хорошо ли это: вместо цветника цивилизаций, культур и личностей - занять стандартный американизированный экземпляр рода людского? Вместо разнообразия и качества жизни - зачтить однородное количество? Не помрачение ли это текущего момента Истории, его самоуверенность-надменность и гордыня, - и как раз не плюрализм, хотя под флагом разнообразия личностей и сутей выступают его глашатаи. Но разнообразие переключалось на сторону - изделий, вещей (тампаки, автомобили, холодильники...), а душа-личность все более стандартизуется - в человеке экономическом.

И почему это экономику признали сверхценностью, а производительность труда - первейшим критерием? Ведь сотни еще иных измерений в Бытии и Жизни. И со Временем Истории иные вступают в действие. Вон сейчас уж ЭКОЛОГИЯ, весомость и священность Природы=Матери всем, ее критерии сменять будут в первенстве критерии экономики.

И не станут ли в следующем веке-тысячелетии первые - последними? Первые по динамичности в экономике (американцы, например) - последними, а неторопливый русский увалень-медведь, с задним умом, основательным, - на коне? ("Медведь - на коне"?! Слышу. Что ж: такой "кентавр" - гибрид, слово за слово, отдаваясь воле и красного словца, произвелся... И чем хуже мифологема, чем "ковер-самолет"?)

Ну а главный вопрос: КУЛЬТУРА России (особая, как Китая, Индии, США...) продолжится ли? Или вознесется в Китеж - как культуры Эллады, Рима, Египта Древнего?.. И такое бывает в истории. И на месте Рима - Италия, со сменой и языка-Логоса.

Не ведаем. Пути Истории неисповедимы. Но в живом человеке действуют предпочтения, любовь к чему-то и воля к тому. И раз пошло брожение-действие в России и ее людях разных сил, идей, ориентировок, групп... - естественно предоставить им развивать свои потенции - в том числе и людям, ориентированным на успех, умеряя их односторонность и эгоизм - правилами этики. Так что принцип *мозаики*, что предлагают авторы сей книги, принцип компромисса, терпимости, не форсируя искусственно те или иные тенденции, - это подход разумный. И к нему я присоединяюсь.

Л. А. Аннинский
***ПРОЦЕДУРА КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕИ КАК ОБРАЗ
ЖИЗНИ***

“Что делать?”
(Н.Г.Чернышевский)
“Что делать” (В.И.Ленин)
“Что делать?” (вопрос к
В.В.Розанову)

Вопросы, предложенные экспертам, конечно, интересны, но еще более интересна обрисованная в “предварительных замечаниях” авторов проекта “проблемная ситуация” (цитируемые мною фрагменты этого текста я выделяю курсивом).

С нее я и начну.

Итак, два пути. Или Россия выбирает “общий путь развития современной цивилизации”. Или идет своим “особым путем”.

Что делать?

Хочется, конечно, немедленно вспрыгнуть на “общий путь”. Но прежде понять бы, что это такое.

Если обозначить общий путь привычным термином “западно-европейская демократия”, признав авангардом на этом маршруте Соединенные Штаты, то путь сразу повисает над хлябью Атлантики, опираясь на весьма разнокалиберные опоры. Между Штатами и Европой - коренные, сущностные различия; они плоховато видны из России, но хорошо видны “западным демократиям” изнутри. Не надо забывать, что Двадцатый кровавый век начался не с империалистической и не с русско-японской войны - он начался с войны испано-американской. Огромный континент Латинской Америки в англо-американский “общий путь” не вписывается, он вписывается в “иберо-американский” тандем, а значит, Испания (а за ней и Италия, имеющая сильные связи с Аргентиной) и вся латинская Европа тянут на “особый путь”. Я уж не говорю о том, что Англия и Франция никогда не примирятся с тем, что Европу в Двадцать первом веке по “общему пути” поведет Германия.

Так что перед нами не столько дружно идущее по “общему пути” человечество, сколько сплетенные по всему миру тела драконов, головы которых стиснуты Европой.

Можно, конечно, и из такого зоосада извлечь образ “человечества”, то есть извлечь этот “образ” из вечных грызни и драки, идущих в человечестве, однако грызня будет продолжаться, грозя перейти в драку в любой момент. Хорошо еще, ошейник Европейского Союза не дает размахнуться, а то ведь опыт Евразии после слома Советского Союза показывает, чем грозит освобождение бывших “свободных республик”, включая автономные...

Каждая нация (общность, коалиция) на “общем пути современной цивилизации” норовит шагать по-своему, хотя и шатается от внутренних противоречий, и у каждой из идущих в этом строе - хотя бы в воображении - свой “особый путь”.

Вы скажете: но есть же какие-то единые для всех принципы! Демократические процедуры! Технологические цепочки! Единые хозяйственные системы! Не будет же Дагомея (или Россия) изобретать унитаз, когда таковой великолепно сделают в Америке!

Изобретать унитаз мы, конечно, не будем. Унитазы как сквозной фон современной цивилизации и есть символ того самого “общего пути”, которым идет человечество. Не “на двор”, “до ветру”, а в теплый клозет. Вся материально-устроительная сторона жизни, все, что поддается унификации и универсализации, - все это перенимается и перехватывается немедленно. А еще быстрее - материально-разрушительная сторона, где царит автомат Калашникова, который давно перестал быть продолжением русской души, а сделался символом любой банды или мафии, на “общем пути” промышленяющей. Россия в этой части едва ли не опередила всех. “Дагомея с водородной бомбой”.

Когда мы начинаем выяснять, что такое “общий путь человечества”, то очень быстро получаем некий материально-цивилизационный, унитазно-технологический срез, некую систему сообщающихся сосудов, где всякое достижение мгновенно подхватывается всем человечеством: белым, черным, желтым, христианским, исламским, буддийском, индуистским, конфуцианским, безбожным, богоодержимым - любым. В распоследней африканской деревне уже знают “демократическую процедуру” и выбирают вождя деревни поднятием рук (с копьями в руках). Албанские крутые парни, погромив оружейный склад, идут голосовать и бомбу в избирательный участок кидают (или не кидают) в зависимости от предполагаемого результата при подсчете голосов. Я уже не говорю о приснопамятных драках

в японском парламенте, где отчасти воспроизводятся соответствующие британские процедуры.

“Тигры Азии”, подхватывающие достижения Запада, хорошо демонстрируют, что именно подхватывается. Все, что для “тела”, то есть цивилизация.

Все, что для “души”, то есть культура, ценности, - все это глубоко таинственно.

Если вы из сферы ценностей попытаетесь извлечь “общий путь”, получите пару чудосочно-беспорных заповедей (вроде того, что “главная ценность - человек” и что “права человека” надо соблюдать) и ничего больше, потому что через секунду этот самый “человек” возьмет автомат Калашникова и своим “особым путем” пойдет защищать свои “права” так, что от общих процедур останутся только похоронные.

На сакраментальный вопрос о пути России отвечаю недвусмысленно и определенно: Россия пойдет своим особым путем. Как и все. И как в составе России (надеюсь) своими путями пойдут Север и Поволжье, Урал и Сибирь, Центр и Приморье, Невский край и Донская область.

Разумеется, сами категории “общего” и “особенного” при этом будут так разнообразно разработаны, что утончатся до неощутимости. Пока теоретикам при какой-нибудь новой конфронтации не понадобится извлечь из этих кружев прячущиеся там стальные доктрины.

Но пока что мы идем более или менее вольно. Мы - выбираем. Допустим, мы выбираем “особый путь”. Потом выбираем путь на этот путь. Либо это *“жесткий выбор”* (или Запад, или Восток). Либо, как предлагают авторы предложенной на экспертизу доктрины, - *“создание весьма рискованной - методологически, психологически и т.д. - конвергентной и мозаичной конфигурации ценностей, природа которой во многом определится самой процедурой конструирования”*.

Сначала о первой возможности.

“Жесткий путь” - это когда бьют морды. Если бьют при внешнем столкновении, государство или погибает, или выделяет из своего состава предварительно напряженную стальную конструкцию (партию), отсекая все то, что в нее не влезает. Все для фронта. Все подчинено Ставке. Все приказы кончаются словом “расстрел”. Шаг вправо, шаг влево - считается побегом.

Если же бьют друг друга в гражданской войне, и государство (старое государство) так и эдак погибает, тогда среди претендентов, конкурирующих за право строить новое

государство, побеждают опять-таки самые безжалостные, самые бескомпромиссные и последовательные. Тогда линия фронта рассекает тело и душу народа. Красные - белые. Все, что не влезает, уничтожается. Шаг вправо, шаг влево...

Война, вообще говоря, весьма рискованный (методологически, психологически и т.д.) образ жизни, куда более опасный, чем любая конфигурация мирного процесса. Поэтому надо бы получше вникнуть в то, что происходит между войнами, - вдруг пронесет?

Разумеется, "конвергентная и мозаичная конфигурация" тоже рискованна и опасна. Но она все же лучше, чем война и "жесткий выбор". Во всяком случае, при мирном развитии появляется возможность "искать идею".

Чем Россия и занята.

Как она ищет идею?

"Трансплантирует ли чужую? Возрождает свою? Генерирует новую?"

Отвечаю на этот вопрос авторов доктрины определенно: трансплантирует чужую. Россия только и делает на протяжении тысячелетия, что трансплантирует чужие идеи. Будь то византийская идея богочеловека и "закон благодати" либо идея Третьего Рима (четвертому не быть), либо Третьего Интернационала (Второму с половиной не быть). Все наши идеи - привозные. Включая французский социализм, германскую философию, английскую политэкономия и прочие составные части русского самосознания в Двадцатом веке. Включая нынешние идеи Фридмана, Бруцкуса, Леонтьева и прочих экспертов по первоначальному и дальнейшему накоплению, с помощью которых мы надеемся избавиться от марксизма и его источников. Включая, наконец, и вечный российский образ Империи, при Романовых скроенный по европейским меркам, при поздних Рюриковичах по меркам татаро-монгольским, а до татар брезживший в сознании таких претендентов на межплеменное (точнее, сверхплеменное) государство, как варяги (викинги, всеевропейские разбойники, наемники, рэкетеры, гаранты безопасности и стабильности), византийцы (наследники города городов Рима) и хазары (несколько веков действительно "державшие" на юге будущей России огромное государство, впоследствии распавшееся и полузабытое).

Какая идея могла быть на фоне всех этих трансплантатов "генерирована" в качестве старой или новой - русской?

Чисто номинальная. Что Россия - ЕСТЬ. Что именно она - наследница. Наследница "древнего благочестия" или "всех тех богатств, которые выработало человечество", - неважно. Важно, что ЭТО - МЫ. Россия. Здесь, на стыке Европы и Азии. Здесь, на просторах Евразии.

Но какая же это "идея"? - скажете вы. - Это же типичный прикол, номинация, адрес, который и так ясен.

Правильно. Смешно рассуждать о том, евразийский или не евразийский "адрес" определен России на этом шарике, - достаточно взглянуть на глобус, чтобы убедиться: да евразийский же! Никким образом мы не попадаем ни на Канары, ни в Португалию, ни в Калифорнию. Мы - Евразия по определению.

Значит, мы - место встречи ветров, дующих с Запада и Востока, а не место отстоя, от ветров прикрытое.

Кстати, я в такие отстойные места вообще плохо верю. Ну, можно представить себе такой уголок, куда ничего не долетает, - так эта "обетованная земля" никакой роли в драме истории играть и не будет. Все великие народы составились на полях скрещений: американцы - просто на глазах родились, британцы - в конце прошлого тысячелетия, до них испанцы и т.д. Более того, я думаю, что это нормальный путь человечества - не "особые отряды", вступающие в "мозаичные конфигурации" и из конфигураций выходящие, а именно непрерывные и постоянные "конфигурации" (как ртуть: шарики сливаются и разбегаются), и в этом контексте - "особые отряды", которые фиксируются в критических ситуациях. Каковых, впрочем, в истории не меньше, чем ситуаций "конвергентных".

Так или иначе, Россия от такой "конвергенции" никуда не спрячется, и в корень зрел Достоевский, когда сказал, что наш удел есть всесоединение людей, и недаром в корне у нас - Пушкин, родившийся в точке, где скрестились крови: абиссинская (теперь уточнено: конголезская) и немецкая (теперь уточнено: шведская), а о русской и говорить нечего (если русскую кровь на составляющие разлагать: тобольская, псковская и т.д., то и втянется в родословие вся Евразия).

Ни ликовать, ни отчаиваться по этому поводу необязательно: закон нашей жизни, закон нашего "вмещающего ландшафта", закон существования России, а лучше сказать: закон существования человечества ("общий путь") в случае России действует наглядно, рельефно и... безжалостно.

Сопротивляться ему бессмысленно (то есть укрываться от истории или искать для России “особый путь”, когда он у нас и так под ногами). Смысл - в том, чтобы осознать и использовать выигрышные стороны нашего “серединного” положения. Все, что мы неизбежно “трансплантируем”, - постараться приращивать *органично*. Осваивать сердцем и умом. Делать СВОИМ.

Задача - благостная и благодарная только при теоретическом рассмотрении. Практически же - неимоверно сложная, болезненная и даже коварная.

“Идет конкурс идей. Но не ради ли бескомпромиссной победы одной из них над всеми другими? Или ради их “мирного сосуществования”, предполагающего конкуренцию - взаимодополнение? Но, может, в форме ценностной мозаики?”

Насчет инноваций ничего нельзя предсказать в ситуации непрерывного перебора “чужих” идей и гадания, какие из них способны в перспективе стать “своими”. Все это делается практически и осмысливается задним числом. “Новым” будет признано то, что окажется освоено, а потом обнаружится, что “все это уже было”. Это у нас в крови: непрерывная прерывность российской истории и строительство “новгородов”, впоследствии присоединяемых к старому месту. Это идет с самого начала, с того момента, когда история Руси почла себя начавшейся, то есть с вокняжения варягов среди славян и финнов. Изначально - мы смесь. Изначально - расплыв в два конца: Киев и Ладога, потом Новгород. Изначально цементируется - пестрое, неопределенное, расплывающееся, безначальное, не знающее имени. Цементируется - кровью (Олег убивает Аскольда, и начинается “история”, цепочка казней, убийств, ослеплений, предательств, горьких слез и ненадежных радостей). Потом Русь Киевская “исчезает”. Возникает - Владимирская. Тоже Русь. Не обольщайтесь именем: на Литве собирается еще одна Русь. “Русь” вообще - это дружина, зародыш Державы, и то, что Русь Владимирская - преемница Руси Киевской, - бесспорно лишь в смысле государственной необходимости. А в смысле культуры до сих пор оспаривается нашими украинскими братьями, не без оснований полагающими, что это не они от нас, а мы от них отделились, а они и есть корень.

Наша история - пунктир. То и дело рвется. И сращивается.

Прервали - татары. То есть: очередная, поверх варягов, династия. Прообраз “Союза нерушимого”. Очередная, поверх всего, дань. Прообраз “всесоюзной копилки”. Двести лет - под ханской шапкой. Потом из-под шапки осторожно вылезают уши

Москвы. Меняем шапку. Переназываемся: Московия. На треть уже - татарская (главный историк из Карамурзиных). Опамятались и соображаем, что мы - та же Русь. Русия. Россия.

Следующим рубит канаты с прошлым - Петр. И так же рубят в свой час - большевики. До основания. А затем выясняется, что бешеная большевистская решительность генетически восходит к опричникам Грозного царя, и что под красным знаменем Республики Советов революционеры сохранили, развили, укрепили и протащили сквозь мировую войну все ту же Империю, Российскую Империю, евразийскую державу, которая, как феникс, возродилась из очередного пепла.

Надо ли посыпать этим пеплом головы? Мы не можем стать “Западом” не потому, что западные ценности проваливаются в дикую фактуру нашего народа, а потому, что любой “контингент”, ограниченный или неограниченный, который вводится в наше место (в наш вмещающий ландшафт, в наше пересекаемое вдоль и поперек пространство), начинает жить по законам этого места. То есть: крепчает и крепнет задним умом, вырабатывает безграничное терпение, научается лукавить, темнить и сберегать силы (легендарная русская “лень”), симулируя в зависимости от спроса то демократию, то верноподданность. И в критический момент взрывается такой непредсказуемой казачьей вольницей, что хоть святых выноси.

Святых и выносят - ногами вперед - после каждого такого бунта.

Так что делать? У вас есть другой народ? Нету? Значит, надо исходить из того, какой есть. Можно до бесконечности препираться насчет того, что раньше: яйцо или курица? То есть: варяжские ли конунги так закрепили вольных охотников и хлебопашцев, что вбили в их души комплекс неполноценности на радость всем будущим самодержцам и генсекам? Или это сами вольные охотники-хлебопашцы нашли князей по себе, и те с готовностью влились в нашу непредсказуемость? Но никакие ДРУГИЕ люди на Руси (в России, в СССР) не удерживались. Только вот такие. Воспитывались, перековывались - и оказывались опять такими же. Считать их недомерками Запада (или недотыкомками Востока - возможен и такой отсчет) - значит окончательно смириться с тем, что мы живем на проклятом месте. Надо снять проклятие с этого места. Вот какие мы есть - такова и почва. Ее и пахать.

“Да что за “почва”? - стонут реформаторы. - Плывун! Болото! Хлябь! Все ползет и заваливается! Что тут построишь?”. И всю

историю - мечта, греза, жажда, планы, расчеты: сбегать! Куда видно. За горизонт. На край света. В "Опоньское царство" (между прочим, царство это не на западе, а на востоке, причем на дальнем). Неважно куда. Куда угодно. Куда глаза глядят. К черту на рога. В светлое будущее.

Этот ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ, подмеченный авторами доктрины в десятом выпуске "Этики успеха" и в других разработках Центра прикладной этики, - неотменимая черта нашей ментальности. *"Полярность ценностных систем"* - точное выражение нашей вечной готовности послать все к чертовой матери. (Готовность - еще не действие! Действие реализуется "раз в сто лет", в час русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Но между бунтами - все время примериваемся.)

В таком случае - что это: *"выход за пределы полярных ценностных систем"*, предполагаемый авторами? Это - наша непредсказуемость, возведенная в квадрат. Попытка поднять самих себя за волосы. А вдруг с краев привалимся к спасительному центру? И превратимся, наконец, во что-то средневропейское, исполненное трезвого практицизма и чувства меры?

Хочется спросить: это у кого же из европейцев эдакое чувство меры? Не у немца ли, двумя мировыми войнами полезное на рожон? Так это - пока он, немец, в своем фольксвагене на охраняемой стоянке сидит, у него "чувство меры". А как под звездное небо выберется, такая у немца мистика начинается, что миры рушатся. Французы - трезвые практики? Это теперь, после двух немецких нокаутов, за столетие полученных. А при Бонапарте - кто шел весь мир штыками учить? Или англичанин - трезвый? Это кто ж в трезвом виде мировую империю строит, да еще и на воде? Все лезут "за пределы", как только силы скопят.

Мы сейчас без сил. Выдохлись. И жаждем - "консенсуса". Скопим силы - встанет вопрос: куда их тратить? Тогда такой "конкурс идей" начнется, что стены падут.

А сейчас - стенами разгораживаемся. Кругом стенки. Или стенки аквариума: сидит ихтиолог, пускает мальков и приговаривает: хоть бы они не съели друг друга. *"Не ради бескомпромиссной победы одного над другими... а ради конкуренции-взаимодополнения"*.

Весьма полезно. Для накопления сил. Пока не нарвешься на бунт-взаимопожирание.

А как вести себя, чтобы не нарваться?

Нужны *"правила честной игры"*. Нужно *"толерантное отношение"* к противоположенным доктринам. Нужен *"публичный"*

диалог моделей”, в ходе которого эти модели не только обкатаются сами, но и обкатают души россиян, склонных к вещам совсем не толерантным.

То есть (сейчас последует замечательная формула авторов доктрины) *“конфигурация ценностей определится самой процедурой конструирования”*.

Формула эта замечательна своей скрытой глубиной. Ты думаешь, что обучаешься процедурам, сворачиваешь бюллетень и тихо пускаешь в урну, а на самом деле ты живешь полной нормальной жизнью и, сделав выбор, потом четыре года начальству не хамишь. Спасительный, мудрый самообман. И работает в обе стороны. Ты думаешь, что схватил бога за бороду, а на самом деле учишься элементарностям вроде ежеутреннего бритья. Русские без такого самообмана давно бы уже спятили от хандры. Это же наш пунктик: не под ноги смотреть, а карту звездного неба исправлять. Мы и не живем, мы все время к чему-то готовимся, чего-то ждем, что-то “строим”. Просто жить в построенном мы не надеемся. “Просто жить” - это для нас нонсенс. Мы смотрим на среднего европейца (на немца, “филистера”, обывателя, который, “построив”, просто живет в построенном) и думаем: ему, немцу, должно быть очень скучно и пусто вот так жить - не распинаясь на последних истинах. Мы уверены, что он, немец, обделен духом и жутко хандрит от этой пустоты. А если не хандрит, значит неполноценен. Нельзя же смысл бытия видеть в процедуре бытия!

А ведь, между прочим, сама достохвальная демократия, ради которой мы теперь в очередной раз развалили общее государство, есть не что иное, как разросшаяся до классической полноты и разработанности ПРОЦЕДУРА бытия. Своего смысла она, демократия, не имеет; она лишь позволяет нормально жить и искать смысл, но смысл ищется на других уровнях. Как сказал замечательный русский философ: государство (вождевленное справедливое государство, в данном случае - демократическое, полное голосований и согласований) не обеспечит нам рая, но, может быть, спасет нас от ада (в данном случае - от хаоса и бунта).

Так что, занимаясь “процедурой конструирования” искомой идеи, мы, в сущности, нащупываем (пожалуй, и вслепую) высший смысл существования.

Может, его только “вслепую” и можно нащупать. А иначе все будем карту звездного неба исправлять и к богу приставать с вопросами. А что он ответит? На небе ничего, кроме газовых

туманностей, не нащупаешь. А они только с гигантских расстояний кажутся светилami. Вблизи там - “ничего нет”, кроме “звездного ветра”.

Иными словами (то есть, по Канту, великому немцу): чтобы понять звездное небо над нами, надо понять нравственный закон внутри нас. Надо просто попробовать жить. Не готовиться к какой-то иной, запредельной, будущей жизни, а - жить. Здесь и сейчас. По “процедуре”.

Теперь нащупаем это же - по-русски (то есть по Розанову). Того спросили: “Василий Васильевич, что делать?” Он ответил с гениальной “слепотой”:

Как “что”? Летом собирать ягоды и варить варенье, а зимой пить с этим вареньем чай.

Естественно, что ученики Н.Г.Чернышевского, им в свое время перепаханные и отвечавшие на вопрос “что делать?” в совершенно другом духе (мы не “живем” - мы идем над обрывом, сбившись в кучку и крепко взявшись за руки), путники эти сочли В.В.Розанова грандиозным филистером и постарались поскорее скинуть его с обрыва (с корабля современности). Однако, пришвартовавшись после очередного шторма, пробежав над обрывом опасный участок (о котором тов.Сталин сказал: или мы пробежим, или нас сомнут), - пробежав, проскочив, промучившись, - мы теперь объявляем процедуру: а какой во всем этом смысл? Идея какая?

Да никакой. Спаслись. Теперь надо ягоды собирать и чай пить.

Пусть каждый собирает, как может. И пожелаем каждому успеха!

Помню холод предчувствий 1991 года, когда над развалинами Союза впервые пронесся этот призывный свист. По логике вещей (по Адаму Смиту и Фридману) должна бы просто включиться инициатива: и ягод навалом, и чаем залейся. Это - по логике. По нелогичным же предчувствиям возникало нечто иное. Бедный инициативный “сборщик ягод”, выйдя с полным лукошком из леса, протискивается сквозь строй нищих (ряженных и всамделишных), которые, висая у него на руках, выклянчивают и выгребают кто сколько может. Это, так сказать, снизу и сбоку. А сверху (и с боков тоже) - немедленный круто вооруженный конвой: мы тебе - крышу, а ты нам - полурожая. И это не государственный законный налог, а тоже инициатива самих граждан. Откуда что взялось - такая самоорганизация! Рэкет как автоматическая процедура! Еще ничего не сделано, не собрано,

а уже две армии в готовности: просить и отнимать, и между ними - жалкий, затиснутый герой Достоевского-Розанова, вознамерившийся свой индивидуальный чай пить, когда тут впору миру пропасть.

А мир - он у нас непременно или готовится "пропасть", или уже "пропадает", то есть обступает тебя: спаси!

Вы думаете, что бешеная, непреодолимая зависть и ненависть ко всем, кто на Руси добивается мало-мальского успеха, - плод недовоспитания? И необходимо только до-объяснить людям, что успех - это хорошо, надо только достигать его *"ответственным поведением, деловой культурой в их непосредственной связи с правилами честной игры, с этикой, политической, предпринимательской и т.п."*?

А что, если этот фантастический процент грабителей и просителей - функция самой неопределенности нашего геополитического ландшафта, где по закону тебе ни черта не хватит (то есть достанется та самая нищенская доля или сума), зато по душе ты перехватишь куда больше, чем стоишь (то есть или выклянчишь, или своруешь из "общей кучи", или у кого-нибудь отберешь в общей свалке)?

А что, если благороднейшая доктрина нестяжания, от времен Нила Сорского до нас дошедшая и подведенная в качестве базы под нашу интеллигентность, - не от богатств нашего духа, а от инстинктивного опасения: все равно ограбят?

"Добро на Руси ничего не имети", - заметил по этому поводу Давид Самойлов. Чтобы и отнять было нечего.

Так что, не жить? Безнадега?

Да зачем же так? Жить ежесекундно. Решать ежесекундные проблемы. Вырабатывать процедуры.

А общая идея? Проступит. Или, как всегда, залетит к нам и СТАНЕТ НАШЕЙ. После чего мы с полным правом скажем, что сами ее выработали. Или, по-русски, "выстрадали". Как когда-то марксизм.

Теперь, в контексте сказанного и на фоне обрисованного, отвечаю на пять конкретных вопросов авторов предложенной на экспертизу доктрины.

"Каков спектр позиций, содержащих, в явной или неявной форме, варианты русской идеи успеха?"

Спектр - от дурацкого красного пиджака, который надевает на себя новый русский, уверенный в своем успехе, до выставленного на панель другим новым русским размалеванного

нищего, который этому другому отдает свою выручку и смотрит на его красный наряд, как бык.

“Каковы уроки первой попытки “внедрения” идеи успеха в постсоветской России?”

Всеобщий вопль: лучше зарплата, чем барыш! И - лихорадочный перехват, дележка произведенного. И зависть обделенных, охватывающая даже интеллектуалов, получивших возможность думать, говорить и писать что угодно, но не получивших за это никаких ожидавшихся кусков.

“Как вписать идею успеха в современную российскую ситуацию, которая отторгает эту идею из-за сильных тенденций общинного традиционализма и государственного патернализма?”

Чувствовать реальность. Прижиматься к “народному телу” и медленно, осторожно, ЛЮБЯЩЕ - внедрять понятие честного (частного) успеха в сознание людей, тысячу лет в частный успех не верящих. И не удивляться неудаче.

“Какие вы видите предпосылки и заделы для культивирования идеи успеха в России?”

Предпосылка - наша упрямая вера, что такой успех возможен. Задел - неиссякаемая энергия русских людей и, в частности, сибиряков, не отравленных московским скепсисом.

“Каков образ “состоявшегося” человека в современной России?”

Нет “образа”. Не состоялся еще. Конструируется.
Но процедура конструирования - счастливая пора.

А. А. Гусейнов
“... **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕРЗКО**”

В докладе В.И.Бакштановского, Ю.В.Согомонова, В.А.Чурилова “Российская идея успеха: введение в гуманитарную экспертизу” развивается концепция, именуемая авторами этикой успеха. Словосочетание “этика успеха” сразу вызывает подозрительную настороженность. Обычно этика понимается как бескорыстие, *само-отвержение*, а успех - как умение жить, *само-осуществление*. Принято считать, что добродетель рождается в хлеву и ходит в лохмотьях, что она не от мира сего, а успех владеет всем лучшим и приятным в мире, всесторонне торжествует в нем. Они противостоят друг другу, как бедный рабби и наместник кесаря. И если уж кому-то не повезло родиться в роскоши царского дворца, то, чтобы исправить “несправедливость” судьбы и стать на стезю добродетели, ему надо, как Будде, покинуть дворец, уйти в бездомность. Словом, этика и успех ходят разными путями. При чтении доклада убеждаешься, что для его авторов это противопоставление является вымученным, надуманным. Оно может родиться только в воспаленном сознании, которое не считается с реальностью, возникнуть из любви к логическим парадоксам, но никак не из любви к истине. Оно - позиция слабых, неудачников, аутсайдеров, которые всего лишь делают хорошую мину при плохой игре, и, не умея решительно утвердить себя в жизни, впадают в утешительный самообман, будто они и не хотели этого, так как у них другие, более высокие и чистые цели. Оно - порождение отчаяния, а не ответственного отношения к себе и жизни.

На самом же деле моральное бескорыстие нельзя доводить до абсурда, когда оно отождествляется с бездейтельностью, ибо в таком случае само желание жизни следовало бы считать корыстью. Точно так же в умении жить нельзя видеть сплошной цинизм, самодовольство тупой силы, тонкое коварство. Успех для авторов - это успешная (или, как они предпочитают иногда выражаться, “достижительная”) деятельность, протекающая в профессиональных и других общественно санкционированных формах. Он не только не противостоит этике, но, напротив, связан с ней такой прочной связью, что без нее не может в подлинном смысле состояться.

Из названия второй части доклада мы узнаем, что притязания этики успеха являются дерзкими. Они и в самом деле таковы.

Этика успеха претендует на то, чтобы быть определенной этико-нормативной программой человеческой деятельности. Противостояние морали и реальности - исходный пункт и основной вызов европейской этики. Начиная с Сократа, она задумалась над тем, откуда берутся высшие понятия добродетели, справедливости, мужества, получившие впоследствии название этических (моральных) понятий, что в реальном мире соответствует им? Убедившись, что они не укоренены в материальном мире и в то же время властвуют в сердцах людей, которые почему-то считают их самыми важными, ценными из всех вещей, философы должны были объяснить эту странную раздвоенность человеческого существования, и, самое главное, им предстояло ответить на вопрос, как соединить одно с другим - верх и низ, небо и землю. Где тот мостик, по которому можно переходить от морали к реальности и от реальности к морали?

В ходе ответа на него были сформулированы разные нормативные программы нравственно достойной жизни. Одни считали, что синтез морали и реальности, добродетели и счастья достигается через философско-теоретическую деятельность, другие - через умение правильно наслаждаться, третьи - через самоотверженное служение ближнему, четвертые - через героическое вдохновение, пятые - через воздержание от суждений, шестые - через внутреннюю стойкость, седьмые - через правильно понятый личный интерес, восьмые - через пользу, и.д. Так появились этика созерцательного блаженства, этика удовольствия, этика любви, этика разумного эгоизма, этика героического энтузиазма, этика скептицизма, стоическая этика, утилитаристская этика и т.д. Теперь В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов и В.А.Чурилов предлагают дополнить этот ряд этикой успеха. Действительно дерзко.

Понятие успеха в докладе расшифровывается с необычайной душевной щедростью и эклектической полнотой. Авторы - люди, умудренные научным и жизненным опытом - во всем занимают рассудительно-умеренную позицию, не любят ударяться об острые углы и потому срезают их. Они предвидят все возможные возражения и заранее снимают их, включая содержащиеся в них "рациональные зерна" в собственное понятие успеха. От чего, от чего, но от упреков в односторонности они застраховались на сто процентов. Как они пишут, успех нельзя понимать просто как результат деятельности, он связан также со смыслом, мотивом, целью, средством. Его нельзя зауживать до пользы, выгоды, так как самоотдача также выражается в достижениях. Его неверно

сводить к индивидуализму, так как успех может быть и коллективным; успех, конечно, связан с индивидуальной ответственностью, но индивидуальная ответственность и индивидуализм - разные вещи. Ограниченным является также его понимание как урезанности, приземленности личностных устремлений, успех - не просто вдохновение, а высшее вдохновение, позволяющее говорить о моральной "телеологии успеха". Нельзя также принять мнение, будто успех ограничивает личность внешней стороной, он связан также с внутренним развитием человека, его характера, добродетелей, вполне может рассматриваться как воплощение достоинства. Успех, как его понимают авторы, даже связан с толерантностью по отношению к тем, кто потерпел неудачу, отстал. Словом, доктрина этики успеха до такой степени конкретна, нравственно взвешена, преисполнена здравого смысла, что ее обязан принять всякий, кто считает, что добро лучше зла.

Слово "успех" по звуковому выражению является шумным, а по буквальному смыслу - резким: успех, целенаправленная спешка, когда человеку крайне необходимо что-то сделать к определенному сроку, успеть на похороны, к свадьбе, успеть первым занять очередь, попасть в учреждение до его закрытия, успеть продать те акции, которые падают в цене, и купить те, цена которых возрастает, успеть, чтобы предотвратить беду и т.д. и т.п. Когда он успеваает, для чего ему чаще всего бывает необходимо напрячься, сжаться, иногда вспотеть, иногда умерить пыл и т.д., когда все это ему удастся, он имеет успех. Приобретая под пером авторов доклада терминологический статус, это слово начинает звучать почти ласково, теряет линейную напряженность, становится круглым, мягким, уютным. В нем отзывается все многоголосье этики. Ему, как обнаруживает читатель, созвучен даже пафос стихотворения, Б.Пастернака, которое полностью воспроизводится в тексте доклада, включая и такие строки:

"Цель творчества - самоотдача,

А не шумиха, не успех".

И еще:

"Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать".

Можно сказать: доктрина этики успеха застраховала себя от всех упреков нормативного свойства. Правда, остаются методологические упреки. Например, то, что авторы впадают в натуралистическую ошибку и, желая этику раскрыть через успех,

они пользуются понятием успеха, которое заранее было насыщено этическим содержанием; поэтому-то, собственно, они принимают успех только в таких его проявлениях, которые могут получить моральную санкцию. Но такой упрек со времен Дж.Мура можно сделать всем содержательно-определенным этическим доктринам, исходящим из гедонистического, утилитаристского или любого иного материального принципа нравственности. Правда, и в этом случае авторы защищены - на этот раз жанром произведения. Они назвали свой доклад научно-публицистическим (замечу, что определение “публицистический” применительно к докладу тоже есть своего рода новинка, к которой сразу трудно привыкнуть, если учесть, что доклад обычно понимается как изложение неких результатов, достижений, итогов). Не научно-популярным, а именно научно-публицистическим. Это значит, что они решают научные проблемы в материале общественно-злободневных, публичных дискуссий. Они теоретизируют в терминах жизни: не просто излагают некую научную доктрину в форме, которая была бы понятна публике (тогда бы они писали научно-популярную брошюру), не просто подключаются к спорам публицистов (тогда бы они сами выступили как публицисты), не просто развертывают научную доктрину в соответствии с ее собственным содержанием (тогда бы они предложили монографию), а пытаются со знанием науки и с помощью ее инструментария подойти к решению практических проблем, потребность в решении которых стала публицистически заостренной доминантой общественного сознания.

Замысел авторов, предопределивший жанровую особенность их текста, - поднять жизненно злободневную, публицистически острую проблему до высоты научной солидности. А в публичной жизни, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем по нашему российскому опыту, концы не всегда сходятся с концами. Здесь могут быть предприняты действия, которые ни в коем случае не следовало предпринимать, здесь зачинщик войны может считаться миротворцем, здесь могут быть два первых зама и т.п. К ней нельзя подходить с критериями формальной логики. Было бы также неверно предъявлять их к докладу, поскольку он является научно-публицистическим. Например, одна из четырех частей доклада имеет название: “Ценности этики успеха в контексте XXI века”. Формально-придирчивый взгляд останавливается на слове “контекст”. Контекст возможен там, где есть текст. А XXI век еще не наступил, и его текст пока не написан. На самом же деле, вовлеченные в обострившиеся на исходе сто-

летия футурологические споры, мы понимаем, что исторический век не совпадает с хронологическим, и здесь речь идет о контексте тех текстов XXI века, которые написаны разного рода сценаристами (философами, политологами и др.). Одна из подрубрик в первой части называется: “Культура компромисса вполне адекватна ситуации конфликта версий национальной идеи”. Строго говоря, латинское слово адекватный, означающее равный, совпадающий, употреблено здесь, конечно, не к месту. Однако, я думаю, каждый прочитает это место адекватно мысли авторов и поймет, что речь идет о культуре компромисса как нравственно адекватном средстве, позволяющем выйти из ситуации конфликта.

Мои замечания по докладу (а к ним меня вынуждает как частная в данном случае позиция эксперта, так и более общая в российском этическом сообществе репутация оппонента школы Бакштановского-Согомонова) касаются не его непосредственного содержания, поскольку оно не выходит за пределы благоразумия, а общего смысла доктрины. Говоря точнее, речь идет о следующем. Авторы заявляют свою доктрину на “конкурс” различных моделей, версий российской национальной идеи и не вообще национальной идеи, а ее ценностных оснований. Они придают ей мировоззренческий статус, говорят в этой связи о “метафизике успеха”, “телеологии успеха”, об успехе как “универсальном мотиве самоидентификации” и т.д. При этом исходят из некой для них самоочевидной аксиомы о конкурсе-диалоге идеологических доктрин, формулирующих мировоззренчески-ценностные основания жизни, полагая, что именно такой режим сосуществования мировоззрений определяет общую толерантную атмосферу современных цивилизованных обществ. Такой постановке проблемы, которая развернута в первой части доклада, хотя и не зафиксирована там столь резко, я и хочу возразить.

Для того чтобы выявить соответствующий духу современного общества тип связей между категориями “этика”, “диалог”, “мировоззрение”, на мой взгляд, необходимо четко зафиксировать две разные проблемы:

1) диалог как возможный способ коммуникации на уровне и в пределах мировоззрений;

2) диалог как возможный способ коммуникации в обществе с различными социально значимо представленными мировоззрениями.

По первому пункту следует заметить, что никакого диалога мировоззрений не может быть, если, конечно, понимать диалог

не в каком-то переносном смысле, как некое объективное историческое состояние, а прямо и буквально - как сознательный дискурс (речь в докладе идет именно о таком понимании, поскольку там говорится даже о некоей технологии преодоления идейно-нравственного раскола в обществе через институцию гражданского парламента). Этого не может быть по логическим соображениям, так как мировоззрение - всегда целостный, законченный в себе образ человека и мира. К специфически-отличительным признакам мировоззрения принадлежит то, что оно мыслит себя единственно истинным. Мировоззрение, сохраняя свое качество незаменимого духовного образования, не может допустить (даже гипотетически), что какое-то другое мировоззрение соразмерно ему по критерию истинности и потому достойно того, чтобы быть партнером равноправного диалога. Есть вещи, которые могут существовать только в единственном числе. Например, мать, нация. К ним же относится мировоззрение. У человека не может быть две религии. Если, скажем, он верит в последний суд, то он никогда не поверит в переселение душ. И он в качестве субъекта веры никогда не будет спорить (вести диалог) о том, не является ли другая вера лучше (истинней, предпочтительней), чем его. Ему здесь все абсолютно ясно. Это так же абсурдно, как, скажем, спорить о том, чья мать (именно в качестве матери, а не в каком-либо ином качестве) лучше - моя или господина Н. Или, еще нелепей, кто лучше - русские или "лица кавказской национальности". То, что претендует на абсолютность, равно самому себе и не подлежит сравнению между собой, взвешиванию на весах разума. Это относится если и не целиком к мировоззрению, то, по крайней мере, к его исходно-ценностному ядру. Понимаемое в таком смысле мировоззрение - не для спора, оно - для души.

Исторический опыт встреч мировоззрений по преимуществу был опытом конфронтации, чаще всего беспощадной, кровавой. Точное представление о характере коммуникации на уровне мировоззрений можно получить через взаимоотношения движений, в которых мировоззрения были основным движущим мотивом. Таковы крестовые походы. Таковы религиозные войны в Европе. Не только тогда, когда речь идет о разных религиозных мировоззрениях, но и о разночтениях внутри одного мировоззрения, этот опыт также является конфронтационным (сунниты и шииты в Ираке, протестанты и католики в Северной Ирландии).

Нерелигиозные мировоззрения также занимают по отношению друг к другу диспозицию вражды (коммунизм против либерализма, либерализм против нацизма, большевизм против социал-демократии и т.д.). Авторы доклада при рассмотрении национальной идеи исходят из безусловного отрицания ее этнонациональной версии. Как человек и гражданин я с ними полностью согласен. А как ученый хочу спросить: почему? Ведь этнонациональная версия национальной идеи существует и притом во вполне цивилизованных странах - например, в Германии или Израиле (как раз по логике этой версии российские немцы могут уезжать в Германию, а евреи - в Израиль). Если мы вместе с авторами доклада отвергаем этнонациональную версию российской национальной идеи, в силу которой она становится русской, то мы тем самым представителям этой версии даем право столь же категорично отвести нашу модель той же идеи, будь она либерально-гражданской, интернационально-социалистической, гибридной или какой-либо иной. Такой способ поведения вполне соответствует сути дела и означает только то, что мы ведем себя как идеологи, люди мировоззрения. Если представить разные мировоззрения в качестве движущих мотивов, а индивидов в качестве их персонализации, то отношения между последними будут отношениями отчужденности и вражды.

Колоссальный, поистине всемирно-исторический сдвиг в человеческой культуре, связанный с новоевропейской цивилизацией, состоял как раз в том, что нормы практической коммуникации, прежде всего и главным образом нравственные нормы, были оторваны от их мировоззренческого (в первую очередь религиозного) обоснования. Терпимое отношение различных конфессий друг к другу было обеспечено тем, что они были разведены между собой и уже не встречались как конфессии.

Мировоззренчески мотивированная коммуникация была ограничена кругом лиц, исповедующих соответствующее мировоззрение. Говоря по-другому, мировоззрение стало частным делом (отделение религии от государства). Тем самым была выделена площадка - гражданское общество - как место и способ существования, где последнее слово принадлежит разуму, индивидуально ответственному поведению и коллективно вырабатываемым решениям. Это и есть пространство диалога, плюрализма, "гражданского парламента", если говорить языком доклада. Это - не диалог мировоззрений, а диалог

людей, которые исключили из диалога мировоззрения в их неконвертируемой избирательно-ценностной основе, локализовав их на периферийных участках. В том и состоит их цивилизованность, толерантность, терпимость, что они могут общаться, спорить, мирно и взаимоуважительно сотрудничать, могут даже дружить, несмотря на разделяющие их мировоззренческие позиции и внутренние убеждения.

И этика (мораль), которая вырастает на этой обновленной цивилизованной почве, обогатилась культурой толерантности (компромисса, терпимости), есть другая этика. Она другая как раз в том отношении, что ее нормы имеют иное - не метафизическое обоснование. Современный нравственный опыт есть опыт сотрудничества людей, которые верят в разных богов, ходят в разные церкви, исповедуют разные историософские идеалы, принадлежат к разным этносам, но живут на одних лестничных площадках, летают в одних самолетах, посещают одни бары, работают в одних коллективах. И этот опыт, на мой взгляд, искажается, когда ведется речь о диалоге мировоззрений, идеалов, ценностей.

Рассмотрим такой пример. Христианин и мусульманин в своей вере придерживаются разных догматов: один считает, что Христос - и бог и человек, другой полагает, что человек ни при каких обстоятельствах не может быть богом. Спрашивается: могут ли они договориться по этому вопросу, могут ли вообще спорить, спокойно говорить между собой по его поводу? Никогда! Поэтому у них нет другого способа взаимоуважительного отношения и сотрудничества между собой, кроме как вынести этот вопрос за скобки их общения, полностью изъять его как предмет обсуждения, диалога, аргументированной критики и т.д.

При таком понимании вопроса, кстати заметить, лучше выявляется общезначимость этики успеха. Эта этика может стать одной из нормативных скреп российского общества не потому, что она обретает статус некоего нового мировоззрения, символа веры. А как раз по принципиально иному основанию - по той причине, что она мировоззренчески нейтральна, она образует некий коммуникативный инвариант, свойственный разным мировоззрениям, что она может быть понятна и верующим, и атеистам, и либералам, и социалистам и даже, между прочим, тем этнонационалистам, которые нам с авторами доклада так не нравятся.

В докладе развивается доктрина этики успеха, т.е. определенная моральная доктрина. Мораль, как мы знаем,

конституируется через противопоставление добра и зла. Что же есть добро и зло в рассматриваемой доктрине? Добро - это успех со всеми теми конкретизациями, о которых говорилось ранее. А зло? Вот об этом в докладе нет ничего. Можно было бы подумать, что злом является нечто противоположное успеху. Оказывается, нет. Авторы подчеркивают и настаивают на том, что этика успеха проявляет толерантность по отношению к Альтернативным ориентациям, в том числе и к тем, которые исходят из идеала недеяния, пассивности. Конечно, трудно представить себе сторонника швейцарской этики благоговения перед жизнью, который проявлял бы толерантность к позиции отрицания жизни, или кантианца, который бы полагал, что долг как мотив может обнаружиться через склонности. Этими сравнениями я не хочу подчеркнуть некую ущербность или недодуманность доктрины этики успеха. Я хочу лишь еще раз показать, что, как явствует даже из самого доклада, на самом деле этика успеха не может претендовать на метафизически обоснованную, мировоззренчески аргументированную категоричность.

Во вступлении к докладу авторы, пользуясь почти Спинозовским языком, обращаются к нам со следующими словами: "Не сочувствия, снисхождения и милости мы ожидаем, а понимания того, что в один прием просто невысказано даже понять (кстати, почему "даже"? Что может быть в научном докладе больше, чем "понять"? - А.Г.) весь массив проблем". Отвечаю: в моем лице Вы нашли полное понимание. Более того: я не только понимаю, что Вы не могли в обозначенных рамках сделать все, я еще удивляюсь тому, как все-таки много Вы успели сделать.

Г.С.Батыгин

***У ПРЕДЕЛА: ЭТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ***

Принципиальная проблема, которая обсуждается в десятом выпуске журнала “Этика успеха”, может быть сформулирована сакраментальным вопросом: “Успех или добродетель?”. Обычно эта проблема решается в альтернативном ключе. Пытаясь преодолеть этический ригоризм и трансценденталистское понимание морали, авторы предложенной для экспертизы доктрины развивают мировоззренческую концепцию прикладной этики применительно к выбору культурных и ценностных оснований российского общества. В этом и заключается программа Центра прикладной этики в Тюмени и продолжающегося издания “Этика успеха”, на страницах которого идея прикладной этики в течение нескольких лет обсуждается с различных, в том числе противоположных точек зрения. Десятый выпуск журнала можно считать в определенной мере итоговым, поскольку доктрина российской идеи успеха получила в нем развернутое освещение.

Цель программы выходит за рамки академических исследований и связана с преодолением идейно-нравственного раскола России по оси “западники-патриоты”. Как и в российской публицистике XIX века, когда “русская идея” получила литературное оформление, в центре нынешней полемики находится вопрос о том, пойдет ли Россия по особому пути, или ее судьба связана с интеграцией в западную культуру. Естественным кажется и акцент на нравственных основаниях “русской идеи” - речь идет не столько о том, какой путь полезен сегодня для России, сколько о поиске национальной идентичности, традиционно соотносящейся с “духовностью” русского народа. Острота полемики поддерживается убежденностью в необходимости идеи, объединяющей расколотое российское общество, которое находится сегодня в состоянии морального вакуума. Такой объединяющей идеей, по мнению авторов, является этика успеха.

Теоретические основания доктрины неординарны. В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов и в последние годы В.А.Чурилов разрабатывают посткантианскую этическую концепцию, преодолевающую, казалось бы, извечное противостояние долга и склонности, добра и пользы. Следуя теории

рационального выбора, играющей заметную роль в современной западной общественной науке, авторы разрабатывают идеологию и технологию гуманитарной экспертизы — обоснования решений в политической, предпринимательской, педагогической и других сферах практической деятельности, которые нередко трактуются как не имеющие прямого отношения к моральному выбору. Неординарность предлагаемой концепции заключается как раз в том, что этика становится прикладной.

С некоторой долей условности современные общественно-научные концепции можно разделить на отстраненные от оценочных суждений и активистские, цель которых — пропедевтика определенных ценностей и формирование идеологий. При этом декларированная ценностная нейтральность не должна восприниматься слишком серьезно, поскольку нередко используется в качестве средства продвижения на “рынок идей”. Реже приходится сталкиваться с противоположным — развертыванием ценностно нагруженной доктрины. Вероятно, этот процесс отчасти обусловлен маятниковым эффектом. Деидеологизация социальных доктрин, особенно популярная в период разоблачения советской версии марксизма, сегодня уступает место поиску новых идей и ориентиров, легитимизирующих новый социальный и экономический порядок.

Доктрина этики успеха, разрабатываемая В.И.Бакштановским, Ю.В.Согомоновым и В.А.Чуриловым, представляет собой вполне развернутую идеологию. Разумеется, на этом пути они рискуют, что почти неизбежно для любых доктринеров. Авторы легко преодолевают опасность сведения национальной идеи к ее этнонациональной и “государственной” версиям. Можно сказать, они зарекаются претендовать на “госзаказ” — недвусмысленно отказываются от претензии на государственную идеологию, ограничивая свои задачи выработкой ценностно-нормативной системы, поддерживающей солидарность российского общества. Искренность их намерений несомненна. Следует заметить, что до тех пор, пока сфера влияния Центра прикладной этики (или, как принято сегодня говорить, поле) не выходит за пределы интеллектуального сообщества и важных персон, доктрина этики успеха вполне приемлема в рамках современных дискуссий. Но, рассуждая в терминах “объективной возможности”, можно предположить, что Центр прикладной этики становится федеральным учреждением и получает права государственного комитета. Тогда “кодексы” и “кредо” рискуют превратиться в

нормативные документы, а безупречные нравственные качества их авторов не смогут помешать утверждению этой продукции в качестве настоящей идеологии.

Идея успеха рассматривается авторами в качестве морально-философской доктрины, “практической философии современности”, способной по мере реформирования страны превратиться в идею общенационального, общедемократического масштаба (с.17)*. В ее основе лежит последовательная теоретическая концепция этики, с которой вряд ли согласятся сторонники этического ригоризма. Речь идет об ответственности не только за мотивы и цели действий, но также и за средства, и за результаты, и за последствия поступков. Ссылаясь на М.Вебера, авторы различают две ориентации этического действия: на убеждение и ответственность. Этика убеждения предписывает поступать так, как велит долг, не принимая в расчет возможные последствия поступка: если последствия действия, вытекающего из чистого убеждения, окажутся скверными, то действующий считает ответственным за них не себя, а мир, глупость других людей или волю Бога, который создал их такими (с.121). Этика ответственности признает сферой морали все этапы поступка как ключевого акта морального выбора.

Анализируя проблемную ситуацию, связанную с поиском национальной идеи, авторы рассматривают широкий диапазон мнений, представленных в современной российской публицистике. Этот раздел научно-публицистического доклада, в форме которого представлена доктрина, интересен сам по себе как обобщающая картина полемики вокруг интеллектуального поиска путей развития российского общества. Здесь можно обнаружить и “идеофобии”, обоснованно трактующие стремление изобрести еще одну общенациональную идею как крайне опасную глупость (Д.С.Лихачев), и “идеофилии”, связанные с попытками преодолеть социальные и культурные противоречия в российском обществе и сформулировать новые ценности (Л.А.Аннинский), и объективный анализ “госзаказа” на идеологию (с. 23-32).

Хотя авторы “Национальной идеи успеха”, следуя, вероятно, своей установке на диалогичность гуманитарной экспертизы, акцентируют прежде всего компромисс между различными позициями, принцип толерантности и возможность синтетического обоснования социальных ценностей, точки

* Здесь и далее цит. по: “Этика успеха”, 1997, вып.10.

соприкосновения конкурирующих идеологий относятся скорее к области возможного, чем реального. Опираясь на мнение А.С.Ахиезера о закономерном формировании “гибридных идеалов” в результате культурного и социального раскола, В.И.Бакштановский и соавторы считают “этику успеха” одной из идеологических форм нового синтеза, позволяющей выработать общую платформу для участников публицистических столкновений. В качестве возможного материала для конвергенции позиций они указывают также на предложенную А.С.Панариным евразийскую интерпретацию морали успеха, которая являет собой альтернативу “опыту вестернизаторов”, ослабляющему постиндустриальный потенциал российской культуры. По его мнению, вестернизаторы “неутомимо преследуют все то, что не соответствует односторонне понятым императивам экономического либерализма. Культура, наука, образование — все те сферы, в которых концентрируется главный потенциал нации, поставлены в условия, предопределяющие их неуклонную деградацию” (с.54). Однако евразийская трактовка российской модели успеха обладает, на наш взгляд, отчетливым конфликтным потенциалом, ибо недвусмысленно указывает на врага — “западное эпигонство” — и благодаря этому имеет основания претендовать одновременно на роль доминирующей национальной идеи и моральной доктрины (в той мере, в какой моральная доктрина несет на себе печать морализаторства и поиска врага).

В своем стремлении к “коэволюции” и “конвергенции” различных версий национальной идеи создатели этики успеха не учитывают особенностей создания совокупного идеологического текста. Во-первых, как и любой текст, национальная идея имеет самодостаточный характер, то есть непосредственно не соотносится с различиями, релевантными для массового сознания, не говоря уже об интересах социальных групп. Иными словами, национальная идея возможна лишь постольку, поскольку существует смысловое поле, заданное газетно-журнально-телевизионными дебатами. Российское национальное сообщество в этом отношении представляет собой скорее многомиллионную аудиторию, чем “народ”, обладающий мотивами и целями. Поэтому даже конвергентная национальная идея, на роль которой успешно претендует этика успеха, рискует остаться фактом литературной жизни России, тогда как “силы сокрытые” дают о себе знать как раз тогда, когда публицисты этого не ждут.

Во-вторых, стоит учесть, кем создаются идеи, в том числе национальные. Они создаются публицистами, ремесло которых заключается как раз в том, чтобы артикулировать явный и неявный конфликт. В отличие от Ю.Хабермаса, полагающего, что участники коммуникации ориентированы на консенсус, Н.Луман имеет все основания утверждать, что целью дискурса может быть воспроизводство конфликта, равно как и любые другие цели. Когда обсуждается национальная идея, рассчитывать на консенсус неправомерно, поскольку каждая доктрина нуждается в оппозиции. Иными словами, тезис о революции как опиуме интеллектуалов продолжает сохранять свою силу. Если не принимать в расчет почти стопроцентной грамотности и господства “голубого экрана”, нынешняя ситуация в России в чем-то аналогична ситуации конца прошлого века. Столкновение народнических “платформ”, полемика о “мужике” и “рабочем”, высокие слова о правде-истине и правде-справедливости являли собой коды отрицания социального порядка и “правительства”. Это отрицание, поддерживавшееся преимущественно нравственными аргументами, создавало ту необходимую конвергенцию, на основе которой достигалось взаимопонимание между сторонниками конституционной монархии и анархистами. Попросту говоря, ситуация, когда председатель областного суда участвует в демонстрации ссыльнопоселенцев, является типичным выражением национальной идеи и сегодня, равно как и почти сто лет назад.

В монографии “Советский простой человек”, изданной ведущими специалистами ВЦИОМа в 1995 году и готовящейся к переизданию, ключевым понятием остается “двоемыслие”. Это не просто изначально присущая запуганному “простому советскому человеку” изворотливость и умение думать одновременно по-разному. “Двоемыслие” скорее означает неспособность красивой идеологической схемы описать поведение людей в реальных системах социального действия. В этом отношении советская версия марксизма, в том числе в ее моральной составляющей, была исключительно пригодна на роль национальной идеи многозначностью и эзотеричностью своего лексикона, способностью к адаптации в самых различных направлениях. В российской душе не обнаруживается ничего загадочного по сравнению, например, с англо-саксонской и еврейскими душами. Никто не принимает всерьез утверждения, что пуританин думает только о спасении души, отдавая всего себя работе, а для еврея нет ничего важнее субботы. В равной

степени не стоит принимать всерьез результаты тестирования русских по шкале MMPI, изложенные К.Касьяновой. Трудно проверить, отдает ли русский предпочтение ценностно-рациональным действиям перед действиями целерациональными. Во всяком случае, эпилептоидная акцентуация, присущая, по ее мнению, русскому национальному характеру, проявляется не в склонности к разработке детальных планов и к поэтапному неуклонному их осуществлению, а, скорее, в тоскливо-злобных состояниях, сумеречном состоянии сознания, маниакально-депрессивных психозах. Русский “устраивает” свою социальную систему в соответствии с определенными, известными ему культурными стандартами” (с.61). Если так, то обладание русским национальным характером может стать основой для клинического диагноза. (Впрочем, некоторые считают, что “русский” — это диагноз.) Таковы теоретические модели, используемые для создания национальной модели успеха.

Если уж национальные идеи и существуют, то не в виде хорошо выстроенной и поэтому убедительной идеологической доктрины, а в виде мифа о нации. Здесь возникает вопрос о том, как создается миф. Одна из особенностей мифотворчества заключается в том, чтобы разгадать очертания уже существующего или, по крайней мере, созревающего мифа и сделать его явным. Среди полемических позиций, упоминаемых в книге, есть использованная Н.Е.Покровским метафора океана, с которым имеют дело проектировщики различных этик. “Мы касаемся некоего колосса, массива истории и культуры”, — пишет Н.Е.Покровский (с. 51), и сама постановка такого вопроса наводит на мысль о шпенглеровских прафеноменах, живущих собственной жизнью.

Авторы именуют свои притязания на создание национальной модели успеха дерзкими. Несмотря на уверения в конвергентности и диалогичности доктрины, она резко противопоставляется “люмпенизированному мифу” об успехе как беспроигрышной ставке в жизненной рулетке. Успех противопоставляется здесь удаче, иррациональной надежде на счастливый случай или милость начальства. В центре этой действительно дерзкой доктрины оказывается этическая составляющая успеха как индивидуального достижения при соблюдении “правил игры”. Более того, этика успеха трактуется как символ современной цивилизации. Если в традиционных обществах социальное взаимодействие регулировалось преимущественно предписанными статусами и мораль была отделена от индивидуального

успеха, то “открытое общество” формируется на основе “рациональной морали”, а не на принципах абстрактного долженствования. Этика любви (“возлюби ближнего, как самого себя”) уступает место консеквенциональной этике ответственности (“всякому воздастся по делам его”). Это различие имеет принципиальный характер для понимания мировоззренческой доктрины, развиваемой В.И.Бакштановским, Ю.В. Согомоновым и В.А.Чуриловым. Как известно, консеквенциональная этика включает в сферу моральной ответственности не только мотивы, но прежде всего последствия действия, не позволяя актору считать себя морально безупречным тогда, когда его, казалось бы, добрые поступки приводят к “злым” последствиям. Консеквенциональные этические требования являют собой сверхзадачу — нужно знать последствия своих поступков, то есть обладать “хитростью разума”, недоступной смертному. Этот теоретический постулат лежит в основе концептуального определения успеха, которое включает такие структурные элементы, как смысл, мотив, цель и средство действия. Собственно говоря, принципиальное различие, вводимое авторами, заключается в понимании успеха не как пользы (этики-утилитаристы описывали этот феномен в терминах “удовольствие” и “страдание”), а как экзистенциальной ценности, рядоположенной с фундаментальными ценностями игры, труда, любви, смерти, господства (с. 91).

Здесь возникает довольно трудная проблема интерпретации рационально осознанных целей и средств как экзистенциальных ценностей. Игра, любовь, смерть, труд, господство проблематизируются лишь в специфических смысловых контекстах, ограниченных от решений, принимаемых в жизненном мире. Иными словами, вопрос о том, как добиться успеха у женщин, требует не столько этического, сколько инструментального обоснования. Поэтому, преодолевая принципиальную несовместимость аксиологического и праксеологического измерений успеха, авторы рискуют получить “кашу с гайкой” — обнаружить внутри экзистенциально интерпретированного успеха противостояние морали и пользы. Исключения из этой контрверсы, явленные образами “счастливых неудачников”, подтверждают правило.

Авторы достаточно отчетливо сознают, что этика успеха требует социологического обоснования: во-первых, анализа исторических форм успеха как жизненной ценности, во-вторых, дифференцирования видов деятельности, в которых наблюдается консистентность аксиологического и праксеологического измерений. В центре их внимания оказывается профес-

сиональный успех, в котором цель функционально сопряжена с нормативными средствами ее достижения. В структурно-функционалистской традиции профессия уверенно интерпретировалась как “паттерн” нормативной регуляции поведения, исключая какие-либо отклонения от ожиданий, в том числе тогда, когда возникает необходимость нарушить нормы ради самих норм. В “Этике успеха” последовательно проводится функционалистская идея, что нормально устроенное современное общество немислимо без установки на фундаментальную ценность профессионального успеха: “Профессиональный успех выступает не только универсальным критерием оценки любой личности, но и универсальным социопсихологическим мотивом и первоосновой для полновесной самоидентификации мобильной личности” (с.104). Отсюда следует требование о реабилитации ценности успешного профессионализма. Вероятно, авторы считают ценность успешного профессионализма очевидной. Они убеждены, что профессиональная этика “не просто совпадает с объективной логикой функционирования подсистем и организаций, а обязательно требует такого совпадения на основе определенным образом ориентированного поведения специалистов всех профилей, что и позволяет соединить нравственность с профессионализмом” (с. 144).

Действительно, сегодня найдется немного пишущих людей, которые всерьез воспринимают жесткие аргументы теоретиков “нового класса” от Бакунина и Махайского до Миллса и Горовица. Более респектабельны и популярны среди гуманитариев идеи Хабермаса о господстве “системы” и ее творцов-профессионалов над “жизненным миром”. В любом случае обсуждение этических ценностей профессионализма может стать более осторожным и взвешенным, если учесть тезис о принципиальном аморализме интеллектуального освоения мира и превращении профессионалов в касту, диктующую “профанам” нормы результативной морали, среди которых может найти место и “этика успеха”. Здесь опять может возникнуть “каша с гайкой”.

Различение результата и успеха аналогично различению пользы и счастья: “В качестве успешных (либо неуспешных) оцениваются не только праксеологические аспекты человеческой деятельности, не только эффективные и результативные ее акты, но и, прежде всего, аксиологическая составляющая целей человека успеха” (с. 109). Решение контроверзы выходит за рамки социологической модели - это дело нравственного выбора. Поэтому авторы имеют все основания говорить об этике

успеха как моральной идее и ставить вопрос о том, кому она служит. Ответ на этот вопрос вполне прямолинеен: “Этика успеха революционизирует социальные структуры и отношения, “обслуживая” вовсе не “новых русских”, если под этим выражением понимать лишь известную часть предпринимательского и чиновничьего сословий, а новых в культурологическом смысле, т.е. “молодых русских” (с. 162). Не вполне ясно, кто имеется в виду под “молодыми русскими”, но, вероятно, за этой метафорой стоит “служение делу”, основанное на “честной игре”. Авторы ссылаются на исследования, фиксирующие группы населения с развитой коммуникативной рациональностью в поведении, которым присущи умеренные формы индивидуализма и солидаризма и в то же время нормы и ценности этики успеха.

Возможно, операциональные параметры этики успеха остаются неясными. Но так или иначе в российском обществе происходит мобилизация индивидуалистических ценностей, сопровождающаяся формированием “контрактных” норм и соответствующих санкций. Пока общественное сознание вынуждено существовать в “расколоте” мире. Коллективистско-общинный идеал и связанные с ним патерналистские надежды утратили универсалистские претензии и могут занимать лишь одно из мест в культурном пространстве постсовременности. Этика успеха, конечно же, не обладает очарованием морального ригоризма. Зато она практична и открыта, совместима с другими типами этоса и, по мнению авторов проекта, преодолевает извечное противостояние “древних” и “новых”.

Опубликованная в десятом выпуске “Этики успеха” доктрина представляет интерес прежде всего поставленной авторами сверхзадачей — дать этическое обоснование национальной идеологии. Если доктрина получит признание и распространение, ее судьба может оказаться похожей на судьбу этических, религиозных и социальных доктрин, которые уже завершили свой исторический путь. В данном случае авторам, несомненно, придерживающимся принципов этики ответственности, полезно помнить об объективных последствиях своих намерений, а также о судьбе великих доктринеров, не имевших возможности контролировать своих последователей. Если же доктрина В.И.Бакштановского, Ю.В.Согомонова и В.А.Чурилова не получит признание в качестве российской идеи, она останется примечательным событием в научно-публицистических дискуссиях 1990-х годов, и этот исход представляется наиболее благоприятным.

Ю. М. Каграманов

**“...ХРИСТИАНСТВО ФУНДИРУЕТ ЭТИКУ УСПЕХА
КАК НИКАКАЯ ДРУГАЯ РЕЛИГИЯ”**

1. Вполне согласен с авторами доктрины этики успеха в том, что стране необходима национальная идея. Распространенная ныне “боязнь идеологии” наивна: со времен Просвещения мир, по известному выражению, “поставлен на голову” - поэтому быть идеологичным сегодня так же естественно, как говорить прозой. И никакая нация не может сегодня обойтись без общенациональной идеологии. У англичан или французов, например, *есть* (вопреки чьему-то мнению, приводимому в докладе) своя, английская и французская идея; другое дело, что она теперь в значительной мере поглощена европейской идеей. Еще отчетливее выражена национальная идея у американцев.

Иметь национальную идею - значит иметь представление о должном. Совершенно разделяю убеждение авторов, что не следует воспринимать должное, как что-то фантастическое, заведомо нереальное (с.72)*. Конечно, изменить жизненную практику, добиться от нее определенного повиновения должному чрезвычайно трудно - почти так же трудно, как изменить течение воды в океане (примем эту метафору, приводимую на с.51). Заметим, однако, что подобная задача представлялась еще более трудной, почти неосуществимой в прошлом веке - и тем не менее повернуть течение однажды удалось, притом весьма решительным образом (другой вопрос - что не в ту сторону, в какую следовало бы). А в наше время “океанские” пласты стали иными; так что преувеличивать сложность поставленной задачи тоже не следует.

2. Вместе с тем я вполне разделяю скромность, назовем ее так, авторов, понимающих, что возможности “интеллектуальной инженерии” в плане выработки национальной идеологии далеко не безграничны.

Это действительно длительный процесс, в котором участвует целый ряд факторов. Мне тоже нравится термин “выращивание”, употребляемый применительно к данному предмету. Равно как и мысль о необходимости (или желательности) “зарождения и укрепления “островков” реального процесса выращивания Общественного Договора по поводу национальной идеи” (с.63). Думаю, что художественная мысль в деле выращивания подобных

* Здесь и далее цит. по: “Этика успеха”, 1997, вып.10.

“островков” сыграет не последнюю роль. Хотя и без “интеллектуальной инженерии” тут тоже никак не обойтись.

3. В этой связи сразу скажу о том, что мне представляется основным недостатком доклада: в нем практически не задействован гигантский массив русской философской мысли конца XIX - первой половины XX века (надо ли добавлять - “религиозной”? В своих вершинах русская мысль всегда была религиозной). Нахожу этот вопрос достаточно важным, чтобы на нем стоило задержаться.

В статье “Зачем мы здесь” (1935) Г.П.Федотов писал: “...В первом десятилетии нашего века в России из предпосылок немецкого идеализма и символизма едва начала складываться совершенно оригинальная русская школа философии, теоретической и религиозной одновременно. Едва намечены были вехи нового пути. Революция ничего не отменила в постановке этих проблем. Она просто смахнула их, уведя молодые поколения России в реакционную глушь 60-х годов. Здесь, в изгнании, совершается эта работа, которая призвана утолить духовный голод России. Отсюда идут пути в русское будущее... Когда пройдет революционный и контрреволюционный шок, *вся проблематика русской мысли будет стоять по-прежнему перед новыми поколениями России*” (курсив мой - Ю.К.) [1]. Эту оценку умственного движения, угасшего лишь в 50-60-е годы (с уходом из жизни последних крупных мыслителей эмиграции), я ни в коей мере не могу считать устаревшей.

Авторы доклада совершенно справедливо полагают, что Россия не пойдет по пути “ценностной копиистики”, простого заимствования моделей, принятых в других странах. Но как же в таком случае можно игнорировать философскую традицию, наиболее полно отразившую особенности “русского пути”, традицию, представляющую собой как бы естественное “продолжение” русской культуры, ее “концентрацию” в сфере мысли? Притом, подчеркну это, сознательно и патетически обращенную в будущее.

Замечу также, что философия, о которой идет речь, - *это европейская философия; для Европы*, а не только для России (хотя, естественно, России она предназначена в первую очередь и особенности “русского пути”, как я уже сказал, отражены в ней надлежащим образом). И если в Европе она пока не оценена по достоинству (хотя, похоже, все-таки выше, чем на родине), то в большей мере тому виной русская действительность: слишком резко разошлась она с философией, начиная с 1917 года, из чего

Европа, точнее, прагматичная ее часть, сделала вывод о несостоятельности философии. Исторический опыт, однако, показал, что несостоятельной обернулась именно действительность. И если их пути (философии и действительности) разойдутся во второй раз, то это, опять-таки, будет говорить не о несостоятельности наших недопризнанных учителей, а о нашей собственной несостоятельности - хотя проявится она совсем не так, как в первый раз.

Я, разумеется, далек от мысли, что у русских философов мы найдем готовые ответы на все-все вопросы. Тем более, что мы сейчас говорим об идеологии, а она, в отличие от философии, значительно более подвижна, более сориентирована по ходу истории. И все же идеология зависит от философии; можно даже сказать, что она представляет собою "прикладную" (к политической и общественной жизни) ее часть. А в названной мною философской традиции *есть*, как я считаю, основы для общенациональной идеологии. В самом деле, мы находим здесь все то, что необходимо для строительства идеологии: взгляд (или, во всяком случае, близкие друг другу - в большинстве случаев - взгляды) на русскую и мировую историю, на свободу и демократию, на государство и правосознание, на этические вопросы, на экономику и экономические отношения, на культуру.

Конечно, невнимание авторов доклада к названной философской традиции - не случайное упущение. Надежным "пропуском" в мир С.Булгакова, С.Франка, Г.Федотова и других является вера. Между тем процентов, наверное, 95 наших научных работников отличает отсутствие религиозной веры и тут, как говорится, ничего не поделаешь. Некоторым дополнительным объяснением-оправданием служит и то обстоятельство, что произведения русских религиозных философов относительно недавно введены - или, точнее, вводятся еще - в наш интеллектуальный обиход.

И все же отсутствие веры не является непреодолимым препятствием на пути освоения нашего религиозно-философского наследия. Как не является оно непреодолимым препятствием к объективному признанию роли, какую играет в обществе религия. Быть может, самый яркий тому пример - М.Вебер*.

* Могу привести и более близкий пример. На память мне приходит умнейшая статья о религии неверующего С.Залыгина, опубликованная не помню точно где, - кажется, в "Литературной газете" - в один из "перестроечных" годов.

Русская философия, по моему убеждению, заслуживает стать первым из двух теоретических источников, из которых должна исходить “интеллектуальная инженерия” того типа, о котором речь выше. Второй - современная западная наука. В докладе использован, по сути, только второй источник.

4. Об этике успеха. Мне показалось недостаточно проясненным, где идет речь об этике личного успеха и где - об успехе, если можно так сказать, национальном. От этого зависит и ответ на вопрос, стоит ли сделать этику успеха “системообразующим элементом” национальной идеологии. Если имеется в виду национальный успех, то особого смысла в этом я не нахожу (разве есть национальная идеология, не рассчитанная на исторический успех?). Если же имеется в виду личный успех, то тут будет, мне кажется, некоторый перехлест. Хотя то, что этику личного успеха надо сделать более рельефной, что ее надо всячески развивать, превратив ее в *существенный элемент* национальной идеологии, - у меня лично никаких сомнений не вызывает.

Убежден, что исторический опыт России - если иметь в виду дореволюционный опыт - не так уж сильно противоречит этике личного успеха, как это часто думают. Точнее сказать, он противоречит ей немногим более, чем опыт католических стран; как и православие, католичество долгое время чинило препоны развитию частной инициативы. Это вообще черта традиционных, солидаристских обществ, что справедливо отмечено авторами доклада (с.185). В России был и свой аналог протестантского индивидуализма - старообрядческий предпринимательский индивидуализм (аналогия допустима только в экономическом, но отнюдь не в религиозном плане). Предприниматели-старообрядцы - это, пожалуй, самые надежные “точки опоры” в истории страны, о которых говорится в докладе (с.64). Есть и другие “точки опоры”, не столь почтенные, но более близкие психологически: просвещенные, а иногда и высококультурные предприниматели конца XIX - начала XX века, “европейская косточка”. Да и в целом эпоха развития капитализма после 1861 года была в этом смысле совсем неплохим стартом; хотя документы эпохи на сей счет противоречивы, подозреваю, что уровень добропорядочности в среде преуспевших промышленников и торговцев был гораздо выше, чем это нам под силу вообразить.

Характерные сдвиги происходили в популярной литературе, рассчитанной главным образом на овладевших грамотой

крестьян. Так называемые “рассказы-предостережения” с их моралью “не в свои сани не садись” (не пытайся выделиться из общины, не соблазняйся достатком, не суйся в город, куда тебя не просят, и т.п.) постепенно вытеснялись “историями успеха”, герой которых с одной котомкой за плечами уходит в город, где упорным трудом и смекалкой добивается положения или богатства; притом положение и богатство ценны для него не только сами по себе, но и потому, что приносят признание со стороны бывших односельчан.

Так что в дореволюционном прошлом “точек опоры” очень много. А преодолевать надо советский опыт с его неуклюжими представлениями о равенстве. Сегодня, наверное, уже нет необходимости доказывать, что идея справедливого уравнивания материальных благ есть вульгаризация христианской идеи, годной *только* для монастырской жизни, о чем писал еще в IV веке св. Василий Великий. От советской эпохи остались представления, что частный предприниматель непременно “гребет под себя”; да и сам он чаще всего понимает свою задачу именно таким образом. В “нормальном” психологическом климате распределение ролей совсем иное: инициативное предприятие, создающее новое, перспективное дело, множественные рабочие места, расширяющее рынок и т.д., старается не только для себя, но и для других и потому нуждается в общественной поддержке. Французский экономист Жан Батист Сей, чью книгу (вероятно, “Катехизис политической экономии”) Андрей Штольц подарил Илье Обломову в день его именин, сравнил такого предпринимателя с канатоходцем: бывает, что он смертельно рискует и поэтому нуждается в том, чтобы те, кто внизу, следили за ним с сочувствием, а не с осуждением*.

С другой стороны, перекормленное идеей равенства бывшее советское общество может вообще наплевать на него (и уже

* Кстати говоря, подлинное признание книга Сей получила совсем недавно, лет двадцать-тридцать назад, и не у себя на родине, а в Соединенных Штатах: как теперь считают, впервые в истории Сей указал, что именно предприниматель (а не просто капиталист или, скажем, менеджер) является душой индустриального общества и что им движет не столько стремление к прибыли, сколько жажда успеха: ему надо как-то отличиться, “выйти в люди” или, паче того, прославиться (это - в “копилку” авторов доклада, трактующих успех экзистенциально широко, а не узкоутилитарно). Выходит, что выбор Андрея Штольца был в высшей степени точным.

плюет, в лице наиболее “продвинутых” своих представителей), что тоже совершенно недопустимо.

Необходимо упорядочить представления о равенстве и неравенстве, о личном успехе и неуспехе и т.д. Как не могу я представить русскую идею безрелигиозной, так же мне трудно представить, чтобы подобное упорядочение стало возможным в каких-то иных рамках, нежели в рамках христианства.

5. Самое, пожалуй, существенное, что следует отметить в этом плане, - антиномичная обращенность христианства одновременно к миру сему и к миру иному. Отсюда двойственность взгляда, которая не имеет ничего общего с шизофренической раздвоенностью, но, как раз напротив, воспринимает полноту мира, его объемность (подобно тому, как зрение двумя глазами дает возможность увидеть объемность вещей).

Всякий жизненный успех, с христианской точки зрения, весьма относителен - ибо мир сей поврежден грехопадением и потому обречен смерти. Напротив, неуспех может открыть душу Богу; отсюда, между прочим, такое странное, по современным меркам, явление, как “влюбленность в неудачу” (с.159, 160), представляющая собою, по сути, один из психических остатков христианства. Но это, конечно, не значит, что христианство поощряет неуспех. Тут надо учитывать многоадресность христианства: например, людей иного душевного склада оно зовет покинуть мир сей, как “юдоль скорби”; но таких людей всегда - небольшое меньшинство. Надо учитывать также исторические трансформации христианства и его многоконфессиональность. В средние века созерцательность в нем преобладала над активностью - это относится и к православию, и к католицизму. Хотя в православии всегда был несколько сильнее “мистический запой”, а в католицизме больше было заботы об устройении здешнего бытия. Эта черта католицизма резко акцентирована кальвинизмом, ставшим на путь методической организации всей хозяйственной жизни (ценой почти полного отвержения мистико-поэтической и созерцательной стороны). Тем не менее в любой из своих основных “версий” христианство всегда поощряло успех - когда он направлен к общему благу (хотя осознание того, что личный успех, отрывающий индивида от общины, также может способствовать общему благу, пришло лишь к концу средневековья). Более того, оно придавало и придает крылья

даже чисто житейским устремлениям: я могу испытывать лишь весьма ограниченный энтузиазм, строя себе дом, от которого, как я знаю, рано или поздно камня на камне не останется, и сам я обращусь в прах, и дети мои обратятся в прах и т.д. - если мое религиозное чувство не простирает меня выше, скажем так, крыши дома; и совсем с другим чувством я буду строить его, когда мне ведомо, что меня и моих детей, после того, как мы "исполним все повеленное нам" (Лк 17:10), ждет впереди наш истинный "дом".

Христианство, таким образом, - выше этики успеха, как выше оно этики вообще (выше исполнения нравственных правил - "приглашение на пир", где царит благодать, то есть чувство высшей радости и красоты, дарованное человеку Богом); и в то же время оно фундирует ее (этику успеха, как и этику вообще) так, как этого не может сделать никакая другая религия, никакое другое мировоззрение.

Авторы доклада совершенно справедливо указывают, что роль нравственных "абсолютов" в жизни общества остается неизменной (Бог говорит в нас и тогда, когда мы Его "не признаем"). Но "абсолюты" обращаются в мнимости, когда за ними не стоит Абсолют без кавычек; человек сам по себе не может порождать ничего абсолютного, оно закладывается в него извне.

Авторов доклада напрасно смущает то обстоятельство, что "абсолюты" выглядят неуместными на рыночной площади (с.74). Христиане никогда не стремились к тому, чтобы на рыночной площади восторжествовал закон любви. Максимализм в христианстве всегда уживался с реализмом. Нестареющий Фома Аквинский высказался на сей счет так: существуют две "целевые ступени", мирская и надмирная, и надо постоянно иметь в виду (чувствовать) обе.

То же - в вопросе о равенстве. Все люди равны перед Богом, то есть если смотреть на них "сверху"; но они совсем не равны, если смотреть на них "снизу". Гераклитовское "Один для меня десять тысяч, если он лучший" ничего не потеряло в своей истинности, но лишь отступило в тень перед истиной Христа. Неуклюжесть коммунистической идеи - в смещении двух порядков бытия: высшее мерило (принцип равенства) пытались превратить в некий элементарный, естественный аршин, с которым можно было подходить к явлениям повседневной жизни.

Я сказал, что не представляю себе будущее России нехристианским, имея в виду, что линия развития впереди будет все-таки восходящей. Но она вполне может быть и нисходящей -

в этическом плане, как и в других планах. В этом случае у нас, очевидно, возобладает мораль, которая в докладе деликатно именуется фамилистической (с.204) и которую иначе еще можно назвать мафиозной. Полагаю, что для нашей страны это сегодня единственная реальная альтернатива христианской морали.

6. О терпимости, которой авторы доклада придают больше значения. Христианство, безусловно, нетерпимо в том смысле, что не гнется перед веянием века сего. Истина Откровения, ведущая из прошлого, где основными вехами являются Сотворение мира, грехопадение и Искупление, в будущее, где за гранью Преображения и Страшного суда откроются “новое небо и новая земля”, - эта истина дана на все времена. Никакие отступления от нее недопустимы и, значит, недопустимы компромиссы с иными взглядами на мир.

Вместе с тем христианство терпимо в других смыслах и прежде всего в том смысле, что оно никому себя не навязывает или, точнее, не должно навязывать. Ничего похожего на принудилровку старого образца быть *не должно*. Только свободный выбор угоден Богу, только свободная любовь; в противном случае это будет не христианство, а что-то совсем другое.

7. О рациональной и пострациональной морали. Не будучи специалистом в вопросах этики, я, возможно, что-то здесь недопонял, но мне показалось, что есть некоторое противоречие между суждением авторов доклада о том, что “пострациональность более последовательна в утверждении конвенционального характера ее собственных повелений и оценок” (с.210) и их же оценкой объективной роли “абсолютов” в нравственной сфере (с.75 и в других местах).

Что касается рациональной морали - если разуместь под нею профессиональную мораль, “правила игры”, принятые в тех или иных “отсеках” общества, - то ее всегда недоставало в России, а сейчас недостает более, чем когда-либо. В этом отношении Запад, где рано оформилось корпоративное самосознание и где у каждой профессии есть свое моральное “зерцало”, действительно может служить для нас образцом. Согласен и с тем, что в условиях современной цивилизации приходится владеть “искусством переключения из одного ценностного мира в другой” (с.209) - с оговоркой, что все эти ценностные миры должны сохранять определенные привязки к “абсолютам”.

8. В различных местах доклада проходит американская тема, что естественно: американский пример для нас сейчас очень важен. Это тоже вопрос, на котором стоит задержаться.

Есть очень много общего между Россией и Америкой или, точнее, стало много общего - после 1917 года. В результате революции Россия резко порвала со своим прошлым и на всех парах устремилась в будущее, светлое или не очень, это уж кто как смотрел. Футуризм в широком смысле слова отличал не одних только большевиков; пожалуй, он стал преобладающей чертой эпохи. В конце XVIII века Америку называли “опытным полем” Европы. Теперь “опытным полем”, хоть и на иной лад, становилась Россия. Не помнящие родства “советские люди” строили “новую жизнь”, начав, казалось бы, с чистого листа - почти как американские “пилигримы” за триста лет до того.

В 30-х годах наступила реакция: за трескотнею о “строительстве коммунизма” обозначилась реальная цель - построение новой, модернизированной-архаизированной империи. Разрыв с прошлым был смягчен тем, что “старая” русская культура вновь вошла в силу, хотя и в сильно усеченном виде. Но, с другой стороны, резко ускорилось вываривание крестьянской массы в городском котле, что привело к быстрому изживанию еще сохранившихся традиций и бытовых привычек (в Европе переход крестьянства к городскому образу жизни был гораздо более градуальным; не говорю уже о том, что ни в одной европейской стране не было совершенно погублено дворянское сословие). Россия была пропущена через среднюю школу и в этом, конечно, есть свое благо; но разрыв с живыми традициями породил чрезмерный рационализм (что в определенном аспекте является шагом назад в сравнении с онтологическим мышлением, свойственным прежним аграрным сословиям). Чем более “продвинутым” выглядит сегодня россиянин, тем скорее он “строит жизнь” по книжке или сообразуясь с телевизионным уроком (хотя, конечно, во многих случаях необходимость в книжках или телевизионных уроках объясняется не только слабостью традиций или полным исчезновением их, но и высокой степенью новизны некоторых современных сфер деятельности). В этом отношении у сегодняшней России много общего с Америкой.

Другая черта американцев, близкая современным россиянам, - “материализм”, видимая “посюсторонность”. Еще в 20-х годах (раньше ее просто меньше замечали) Америка отчетливо выделилась на европейском фоне своей витальностью, энергетизмом, культом “здорового тела” и заботой о бытовом обустройстве. Такая Америка даже большевиков не оставила равнодушными; Бухарин, например, прямо говорил: “Нам нужен

марксизм плюс американизм” [2]. Конечно, многое в Америке большевикам не нравилось - прежде всего капитализм и сопутствующее ему “мещанство”. Но явочным порядком “мещанство” успешно пробивало себе дорогу даже в условиях “строящегося социализма”. Один из героев Вс.Иванова, большевик (сам Иванов, по официальной терминологии 20-х годов, - “попутчик”), так представлял себе будущее: “Через пятьдесят лет у каждого автомобиль, моторная лодка и прожектор (?)” [3].

Спустя больше даже чем пятьдесят - семьдесят - лет, мечта эта для большинства россиян так и остается мечтой. Зато теперь ей не чинится препон: “мещанство”, слава Богу, уже не считается предосудительным, а личный успех вроде бы поощряется. Исподволь складывается “русская мечта”, во многом близкая “американской мечте” и прямо равняющаяся на нее, как на мировой эталон, сулящий личный успех и преуспевание.

Как далеко зайдет такого рода уравнивание? Полагаю бесспорным мнение авторов доклада, что путь простой имитации для России заказан. Тем более, что предметом имитации становится внешняя сторона американской жизни, а внутренняя остается малопонятной и даже малоизвестной. Американская душа - шире, чем это сейчас у нас многие думают; ее религиозная основа многосоставна и проявляется по-разному. Деловитость и жизненный практицизм заложены в ней пуританством, по сию пору дающим о себе знать. Но всегда была и остается в ней, например, и пиетическая экзальтированность (пиетизм - одна из версий протестантизма), особенно проявляющаяся во время периодически повторяющихся религиозных “оживлений” (многие черты подобных “оживлений” мы находим и в контркультурническом движении конца 60-х - начала 70-х годов). Что касается этики успеха, то она у американцев всегда была, скажем так, богата красками. Гоббсовская схема “войны всех против всех” - грубое упрощение реальных отношений в капиталистическом обществе вообще, в американском в частности и, может быть, даже в особенности; ибо установка на конкуренцию всегда сочеталась у американцев с установкой на кооперацию, индивидуализм сочетался с коллективизмом. Для них очень характерно (более характерно, чем для европейцев) доверие к другому партнеру и даже просто первому встречному; вероятно, на этом в значительной степени зиждется или, по крайней мере, зиждлось до сих пор преуспевание американского общества как целого.

Об определенной широте американской души говорит и способность пренебречь жизненным успехом, как его понимают окружающие. Яркий тому пример - движение хиппи, на исходе 60-х годов охватившее значительную часть молодежи и наложившее отпечаток на всю последующую культуру. Правда, движение это отразило не только традиционную американскую черту характера (напомню о всегдашней готовности Гекльберри Финна бежать хоть к индейцам, хоть к черту на рога), но и нечто новое: значительную утрату доверия к тому пути, которым до сих пор победно шествовала европейская цивилизация.

Интересно, что по данным социологов нашу молодежь интересуют в американских фильмах различные черты быта и то, как там дерутся или как целуются, а вот "идеализм" американцев воспринимается ею слабо. Лишний раз это говорит о том, что наш *духовный* путь - свой, особенный (в рамках евроамериканской, христианской по своему происхождению цивилизации).

9. Авторы доклада справедливо отмечают, что этика личного успеха не может быть отлучена от метафизики (с.118), что она необходимым образом должна быть связана с "великими целями", которые ставит перед собой общество в целом. Между тем с "великими целями" - в глобальном, а не только российском масштабе - дело обстоит далеко не лучшим образом (и это тоже отмечено в докладе, хотя, как мне кажется, чересчур бегло). Пессимизм лезет во все щели; пожалуй даже, он сейчас преобладает над оптимизмом - впервые за всю историю Нового времени. Оптимизм (традиционное американское, ставшее общезападным, "кип смайлинг") красуется на первом плане, он облит светом и потому больше бросается в глаза; но за ним мрачнеет пессимизм и, по моему впечатлению, он выше ростом.

Данное обстоятельство должно иметь для нас особое значение. На Западе многое движется по накатанной колее, а у нас все складывается заново, все переосмысливается "от яйца". Крайне важно поэтому, какую нам представится мировая перспектива. И тут я не могу не заметить, что христианство, по сути, - единственное "мировоззрение", которому "не страшны" никакие перипетии истории, никакие катастрофы, могущие еще (с высокой степенью вероятности) приключиться с человечеством; настолько "не страшны", что они не могут - не должны, во всяком случае - подорвать активно-жизнеустроительную позицию (это не активизм муравья, автоматически начинающего воссоздавать муравьиную кучу сразу после того, как она разрушена, - это

активизм человека, для которого катастрофы вобраны в Смысл). Только в рамках христианской эсхатологии возможен такой оксюморон, как “деятельный пессимизм” (выражение современного французского историка Пьера Шоню). Ибо христианство *умеривает* пессимизм; как умеривает оно и оптимизм - поскольку есть еще определенные основания для оптимизма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федотов Г.П. Полное собрание статей. В 4 т. Париж.1982. Т.III. Тяжба о России. С.214.
2. Н.Бухарин. Революция и культура. М.,1993. С.57.
3. Вс.Иванов. Собр.соч.Т.1.М.,1973. С.453.

В. А. Малахов
**ЭТИКА УСПЕХА
И ОНТОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ИЛИ ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ**

Этика успеха, судя по всему, представляет собой неизбежный в условиях современной России вариант соотнесения и, по возможности, согласования национально-культурного этоса с общецивилизационными императивами трансформации общества на рыночной основе. Причем эту свою функцию она способна выполнять не только как завершенная доктрина, но, прежде всего, как определенная заявленная в общественном сознании проблемная область, площадка для возможных обсуждений и “взаимоприноравливаний” сталкивающихся в упомянутой конфликтной зоне позиций.

Определенная точка зрения относительно характера, специфических сложностей и перспектив встраивания проблематики этики успеха в российскую нравственно-культурную ситуацию и излагается ниже. Соответственно будут проанализированы: 1) принципиальный статус разработок этики успеха в контексте проблем национально-культурной идентификации; 2) онтологические и аксиологические рамки и перспективы этики успеха как таковой; 3) особенности русской ментальности и культуры, проблематизирующие внедрение на их почве этики успеха в западноевропейском или американском ее варианте; 4) возможности и основания выбора стратегии этики успеха на современной российской почве.

***1. Этика успеха в контексте проблем
национально-культурной идентификации***

Как можно видеть по представленному в 10-ом выпуске “Этики успеха” введению в доктрину, наиболее естественным способом вписывания этики успеха в отечественный культурный контекст зачастую представляется обращение к русской национальной идее. С одной стороны, мотивы этого обращения прозрачны: понятие “идея” вообще, как известно, фиксирует переход теории в практику. Где же, казалось бы, и внедрять этику успеха, если не в национальной идеологии деятельности, деятельного преобразования человеческого бытия? С другой стороны, однако, понятие национальной идеи таит свои непроясненности, свои

подводные камни; учет названного обстоятельства предполагает трезвую оценку подспудного смысла данного понятия.

Не повторяя того, что было уже сказано в процессе анализа дискуссии о национальной идее [1], отмечу, что в принципе, на мой взгляд, нельзя не согласиться со сформулированными авторами представленного на экспертизу доклада запретами на этноцентристское толкование понятия “национальная идея” или приписывание данной идее статуса элемента государственной идеологии [2]. Однако дело не только в этом, а, повторяю, в самой сути того, что мыслится при помощи данного понятия.

Отправляясь от этимологии греческого слова “idea” - “то, что видно”, - можно, во-первых, констатировать, что любые позитивные размышления о национальной идее, как бы ее далее ни толковать *, предполагают уже некоторую исходную точку зрения, с которой - и только с которой - данная идея раскрывается как очевидность. Иначе говоря, национальная идея предполагает национальный дискурс - такой дискурс, которому свойственно толкование нации как самостоятельного субъекта истории, а человеческой личности - как носителя тех или иных национальных свойств. Когда люди начинают интересоваться нас главным образом как русские, татары, евреи и т.п. - только тогда и понятие национальной идеи, помимо всего прочего, предстает перед нами во всей красе своего внутреннего смысла. (При этом надо учитывать и скользящую семантику самого русского понимания нации, которое ведь никогда не может быть сведено к чисто политической плоскости, а предполагает бесконечное перебежание из сферы этнической в сферу государственно-державную и наоборот, - так что в этом отношении аналогия между “русской идеей” и, например, “американской мечтой” не может не хромать.)

Однако предположим, что мы принимаем данные предпосылки бытования и функционирования понятия “национальная идея”. Остается самое существенное: та онтологическая несамодостаточность идеи вообще, идеи как таковой, которая, как не раз и не два демонстрировала история, обуславливает либо мертвящий, лишенный внутреннего развития характер сугубо идеократических вариантов жизнестроения (бессмертным прообразом каковых остается социальная утопия Платона), - либо же исполь-

* Из украинской литературы недавних лет по проблеме национальной идеи хотел бы порекомендовать российскому читателю умную и содержательную книгу О.С.Забужко [3].

зование явных и “видных” идей как банальных средств достижения стоящих за ними невидных и неявных, но зато вполне реальных целей субъективного самоутверждения (такова, например, судьба идеи коммунизма в годы брежневского застоя).

То, что русская мысль в главных своих направлениях неизменно, в общем-то, оказывалась за пределами “чистого” идеализма, склоняясь к тем или иным формам онтологизма, включая и онтологизм религиозно-мистический [4], - не дает, разумеется, гарантий того, что в образе “национальной идеологии” попытки “основать жизнь на идее” (подобно тому, как это делали небезызвестные герои Достоевского) сами собой обречены на провал. Однако на излете революционаристских - экспериментов XX в. доверяться власти отвлеченных идеологов, тем более в области национальной, является предприятием рискованным - сколь бы “мозаично” или “полифонично” мы эти идеологии ни представляли. Замечу попутно, что и в классической своей форме “русская идея” выступала на Руси скорее предметом умствования, нежели непосредственным жизнестроительным принципом. Что касается реальной нравственной жизни людей, то ее подлинной движущей (а не калечащей ее) силой как у нас, так и в других странах выступали скорее факторы не идейно-идеологического, а онтологического - или бытийно-идейного - порядка. В частности, если вспомнить здесь о той же “американской мечте”, вот что писал о ней У.Фолкнер: “Не просто идея, но состояние: живое человеческое состояние, долженствующее возникнуть одновременно с рождением самой Америки, зачинающееся, создающееся и заключающееся в самом воздухе, в самом слове “Америка”, состояние, которое мгновенно, тотчас же, одухотворит всю землю, подобно воздуху или свету” [5], - где бы нам поискать такое состояние для сегодняшней России?

Конечно, попыткам найти выход из кризиса в “обретении” новой (или возрождении старой) идеологии у нас суждена еще долгая жизнь. Как же: старую идеологическую систему, на которой держалось все, уничтожили, а что взамен? Однако изложенное дает, на мой взгляд, основание для вывода, что монтировать притязающую на эффективность этику успеха на каркасе национальной идеи как таковой было бы нерационально. Означает ли это, что вообще отпадает задача вписывания подобной этики в национально-культурный контекст? Нет, не означает.

Как нетрудно заметить, сама необходимость “обретения”, “отыскания”, “возрождения” национальной идеи в наши дни зачастую представляется имеющей по преимуществу функцио-

нальный характер: нужна-де такая идея не столько сама по себе, как некая святыня, а “для того, чтобы” - чтобы сплотить народ вокруг неких позитивных ценностей, помочь людям осознать собственную культурную идентичность и вытекающие из нее задачи и т.д. Тут-то, однако, и оказывается, что подобное сознание ценностно обеспеченной идентичности, средством формирования которого якобы выступает национальная идея, в действительности имеет куда более непосредственные жизненные источники - которые, однако, мы также должны как бы обрести заново, увидеть свежими глазами.

Собственно, все сказанное имеет своей целью выразить единственную простую мысль: основная ценностная причастность каждого из нас к бытию и к общности, к которым мы принадлежим, имеет не идеологический, а онтологически-нравственный характер. Не сознание задач строителя нового общества, не национальный миф - а естественная и неувядающая привязанность к родным ландшафтам, к родному небу над головой, любовь и жалость к людям, окружающим нас. Это совершенно реальное, конкретное, неповторимое в каждой своей точке и в то же время пропитанное духовным смыслом пространство родины прежде всего и определяет подлинную культурную идентичность личности, задает нравственный масштаб всех ее последующих причастностей и ориентаций. В него-то, в это уязвимое и обязывающее пространство нашего непосредственного жизненно-культурного мира, нам прежде всего и приходится вписывать императивы своей достижительской активности, если мы хотим, чтобы последняя приобретала действительно нравственный и в то же время общезначимый (межсубъективный: для всех, ощущающих данное пространство, ландшафты, исторические традиции и т.д. как свое, родное) человеческий смысл.

Разумеется, упомянутая неповторимость жизненно-культурного мира как основы нравственной самоидентификации личности не означает, что реалии этого мира не могут находить выражение в определенных повторяющихся темах, символах, приобретающих самостоятельный ценностный смысл. Подобными символами, знаменующими принципиальные направления национально-культурной идентификации, или, если угодно, ипостасями национальной идеи выступают, например, Русь (“Русская земля” древних летописей, “Святая Русь”), Россия (империя), СССР как мировая коммунистическая держава. Совершенно очевидно, что и общая “формула успеха”, в каждом из этих трех “домов нашего бытия”, будет выглядеть по-разному.

Примерно так: Русь - сочетание, устройство; Россия - одоление, распространение; СССР - созидание, преобразование, земное воплощение Абсолюта. Успех - устройство, успех - одоление, успех - созидание... Какую формулу и какую родину нашего успеха выбрать? Русь? Но откуда, как не из Руси, вышли и Империя Николая Палкина, и Советский Союз?

Впрочем, надолго задерживаться на этом грозящем срывами в банальность развороте нашей темы я не намерен. Заметив в скобках для памяти два слова: Русь, устройство - авось они нам еще пригодятся, - будем двигаться дальше.

2. Онтологические и аксиологические рамки этики успеха

Таким образом, мы худо-бедно разобрались с тем, что в принципиальном философском плане могло бы означать вписывание этики успеха в определенный национально-культурный контекст. Теперь возникает вопрос: а нужно ли ее вообще в него вписывать, нужно ли подгонять ее императивы под какие-либо особые мерки или образцы, этим контекстом навязываемые?

Делать бы этого не пришлось в двух противоположных случаях. Во-первых, если бы этика успеха содержала в себе некоторые нормы и ценности, имеющие абсолютное значение, т.е. исходящие из себя самих и поэтому актуальные в любых контекстах, любых ситуациях человеческого бытия. Действительно, странно было бы подыскивать варианты национально-культурной адаптации для заповедей “не убий” или “не укради” - хотя на уровне практической реализации последних в каждой культуре существуют свои сложности.

Во-вторых, особой проблемы вживления этики успеха в плотную ткань данной национальной культуры не возникало бы и в том случае, если бы она, эта этика, вовсе не имела самостоятельного нравственного содержания, а сводилась к чистой формальной схематике, своего рода “ноу-хау”, извне набрасываемому на любую реальность, - т.е. не была этикой как таковой в строгом смысле слова.

Ни первому, ни второму условию этика успеха, однако, не отвечает.

Что касается абсолютных моральных ценностей, то успех как нравственная категория именно не абсолютен: как бы его ни толковать, сам по себе он неизбежно предполагает наличие некоторого объективируемого замысла, проекта, по отношению к которым о нем только и можно говорить.

Данная не-абсолютность успеха легко переводится в собственно онтологический план. С одной стороны, понятно, что говорить об эффективности, успешности любого действия имеет смысл там, где упомянутый объективируемый замысел или проект последнего налицо, т.е. в сфере субъект-объектной дихотомии с порождаемыми ею предсказуемостью, калькулируемостью результатов и т.п. Однако подлинные творческие достижения, открытия, поступки выходят за рамки упомянутой сферы - а стало быть, и категории успеха в содержательном ее наполнении - поскольку означают прорыв в иную реальность, с иной размерностью и критериями, зачастую не совпадающими с критериями самого субъекта деятельности. В этом смысле прочитывается, на мой взгляд, и стихотворение Б.Пастернака "Быть знаменитым некрасиво...":

Цель творчества - самоотдача,

А не шумиха, не успех...*

Можно, конечно, сказать, что работа Гоголя над поэмой "Мертвые души" была "успешной" - но что бы это значило?

С другой стороны, содержательное толкование категории "успех" предполагает - уже в рамках субъект-объектной дихотомии - и способность действующего лица удерживать в последовательности действий определенную позицию, т.е. субъективность в собственном смысле слова. Чтобы добиваться успеха, не обязательно быть эгоистом, но быть последовательным и настойчивым в осуществлении своих намерений - необходимо. Между тем реальное сострадание, реальный альтруизм зачастую требуют от человека именно отказа от собственных намерений ради интересов ближних. Если продолжить эту мысль - жертва, нравственное самоотречение не столько противоположны жизненной успешности, сколько выявляют границу применимости категории успеха вообще; "успешными" они могут быть названы, пожалуй, лишь в еще более формальном и относительном смысле, чем преодоление себя в творчестве.

Наконец, собственно аксиологический предел этики успеха хорошо очерчивают упоминаемые и авторами доклада сознательное "уклонение от ориентации на успех", "нравственно-трепетные мотивы отказа от успеха" [1, с.155, 212], также представляющие собой не глупость и не ретроградство, а своеобразную ценностную данность человеческого бытия.

* Ср. интерпретацию этого стихотворения в [1, с.90].

Когда-то Марина Цветаева заметила: “Между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь - и дородясь” [6]. Здесь не место для выяснения того, почему именно “пустоте счастья” может быть предпочтена - без оглядок на какие бы то ни было внешние обстоятельства - “полнота страдания” *. Отметим, однако, что подобное предпочтение - не такая уж редкость в истории мировой культуры; отказ от успеха может, стало быть, иметь и чисто аксиологический характер.

Впрочем, возвращаясь к сказанному выше, этика успеха не является ни ценностным абсолютом, ни сугубо формальной методологией, безразличной к культурному содержанию, на почве которого ее пытались бы применить. Многие недоразумения, вообще сопровождающие внедрение идеологии успеха на российской почве, как раз и связаны, на мой взгляд, со стремлением представить эту идеологию в качестве эдакой общезначимой универсалии, едва ли не технического средства, обеспечивающего дальнейшее поступательное развитие общества и цивилизации.

В том-то и дело, что идея успеха, которую ныне пытаются перенять в России, отнюдь не нейтральна в культурном и ценностном отношении. Протестантское ее происхождение достаточно хорошо выявлено, начиная с классических исследований М.Вебера. Разумеется, само по себе это не делает упомянутую концепцию чем-то априори противопоказанным российской действительности. Однако пренебрежительно отмахиваться в ее пропаганде от проблемы культурно-ценностной совместимости несколько не лучше, чем, скажем, пренебрегать иммунологическими показателями, назначая больному сильнодействующий медицинский препарат.

Кстати, именно генезис протестантской трудовой этики прекрасно иллюстрирует онтологическую вторичность самой идеи успеха, ее зависимость от понятия призвания (Beruf), в свою очередь предполагающего некий обращенный к человеку зов, экзистенциальный диалогизм, лежащий в основе человеческого существования. Можно сказать, что все развитие новоевропейско-североамериканского кодекса достижительской активности предстает в этом отношении постепенной редуkcией ветхозаветного типа диалогичности, реализующего понимание

* В свое время автор этих строк пытался осмыслить указанный нравственный феномен в работе [7].

человеческого бытия как целостно-жизненного отвечания человека Богу.

Действительно, по сравнению с напряженным диалогизмом Торы и всей основанной на ней иудейской духовно-религиозной традиции, экзистенциальный смысл протестантской позиции именно как жизненного отвечания Богу - подателю благ бытия - выражен несомненно слабее и со временем все более выветривается **. Речь идет уже не столько о диалогическом отвечании актами жизнедеятельности, реализующими определенное человеческое призвание, сколько о деятельном испытании самого этого призвания - и, далее, о вполне монологическом самоутверждении в последнем. Таким образом постепенно формируется хорошо знакомая нам сегодня “западная” ориентация на деятельное самоосуществление, на “выполнение” себя как своеобразный жизненный императив, актуализирующий одновременно и этику ответственности (которая приобретает все более “посюсторонний”, социальный характер), и доктрину успеха (в которой индивидуальное столь же тесно сплетено с социальным, находя в нем свою не только эмпирическую, но и особого рода метафизическую предпосылку).

Таковы некоторые онтологические и аксиологические очертания этики успеха. Насколько вписываются они в духовно-нравственный ландшафт русской жизни?

3. Этика успеха и российская ментальность: сложности сообразования

В этом разделе я не буду упоминать об “общинном духе”, “патерналистском сознании”, “обломовщине” - не потому, что недооцениваю роль этих милых признаков отечественного жизненного устройства. Попытаюсь просто проследить те особенности русской ментальности и культуры, которые непосредственно соотносятся с упомянутыми выше рамками этики успеха как таковой.

Итак, поскольку в своем содержательном наполнении категория успеха ограничена сферой субъект-объектных взаимоотношений, она не может определять вещей глобальных, судьбоносных, знаменующих прорыв в Непостижимое (если воспользоваться названием известной работы С.Л.Франка). Между тем одна из традиционных особенностей русского

** При всей несомненной ориентации ранних деятелей протестантского движения на ветхозаветную традицию [8].

сознания состоит в том, что оно в значительной мере живет подобными “глобальными”, “запредельными” устремлениями; разряд “срединных ценностей” бытия, как замечал еще Н.А.Бердяев, для него малоинтересен. Поэт на Руси должен быть больше, чем поэт, Правда - больше, чем истина; сама Святая Русь - “категория едва ли не космическая...”[9]. Разумеется, над всем этим вольно (и желательно даже) иронизировать - но факт остается фактом.

Мы уже говорили о сострадательности, жертвенности как о нравственных факторах, ограничивающих применимость категории успеха. И в этом случае, по-видимому, нет еще нужды специально доказывать подверженность россиянина подобного рода побуждениям - также и его способность отказываться ради них (разумеется, не только ради них) от собственных намерений, определений собственной воли. Этика жалости всегда была более понятна и действенна на Руси, нежели этика ответственности или чистого долга; но жалость не соотносима с успехом.

Есть, впрочем, в рассматриваемой особенности русского нравственного характера и нечто такое, что позволяет с известной надеждой говорить о перспективах укоренения в нем ценностей этики успеха. Дело в том, что для подлинно жертвенного, смиренного, сострадательного отношения к жизни сами понятия “жертва”, “самоотречение” и т.п. все еще являются слишком “громкими”; народное сознание их не принимает. В глубине русской жизни и культуры, в русском искусстве мы подчас можем наблюдать то, что можно было бы назвать жертвованием самой жертвенностью - экстатически самодостаточным экзистенциальным характером последней. Как более глубокое и субстанциальное качество русской души предстает ее способность к терпению - и за себя, и за других (вспомним тютчевское: “Край родной долготерпенья...”). Между тем терпение как раз и предполагает постоянное усилие воли, направленное к превозможению тягостей бытия. А это уже обосновывает в какой-то мере и вопрос об успехе: перетерпишь ли? одолеешь ли? Русский человек бывает импульсивен, но чаще он все-таки себе на уме - и это его качество важно иметь в виду с точки зрения интересующей нас темы.

Если говорить о возможности чисто аксиологического предпочтения неуспеха успеху, страдания - счастью, то ведь Марина Цветаева, которую мы цитировали в этой связи, - русский поэт, и творчество ее вызвало глубочайший резонанс в

русской культуре XX в. Сам Пушкин - солнечный гений русской поэзии - писал:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

А ведь, кроме А.С.Пушкина, были и Ф.М.Достоевский, и А.А.Блок; да и можно ли вообще на исходе XX в. сомневаться в присутствии в русской душе некоей эстетики саморазрушения, эстетики гибели, неотделимой от ее основополагающего стремления к Абсолюту?

Наконец, вспомним сюжет о ветхозаветном диалогизме и возникающей под его влиянием протестантской концепции “успешной” деятельности как реализации призвания. В русской духовной жизни, как известно, идея соборности всегда доминировала над образом одинокого стояния человеческой души перед Богом. Но соборность зиждется на индивидуальной самоотдаче, на “вольной жертве” (вот здесь это слово уместно) каждого приобщающегося в наследовании крестной жертве Христа. Если ветхозаветно-протестантская позиция настаивает на понимании человеческой жизни как “выполнении себя” в благородном ответании Богу (причем, в позднейшем протестантизме акцент все более сдвигается в сторону самореализации), то в данном случае указанная концепция предстает на своем противоположном пределе; парадигматически от индивида здесь ожидается не “выполнить себя”, а, напротив, вольно пожертвовать собой, стало быть, и всеми возможностями и задатками собственного деятельного бытия. Итак - не экзистенциальное ответание, а самопожертвование; отсюда - не самореализация, ставящая вопрос об успехе, а терпеливое приноравливание к бытию в надежде на чудо, на авось, на “госпожу Удачу” - ср. [1, с.104-107].

Еще одна оппозиция этого же ряда: Слово как императив выявления, засвидетельствования, признания сокровенных смысловых глубин человеческого существования и - Молчание, “божественная сладость” которого издавна почиталась на Руси [10]. И подобно тому, как этика успеха, этика целенаправленного рационального достижения “напарывается” на “русский авось”, - западная этика ответственности теряет ориентацию в нашей безответности - уникальном нравственном свойстве, плохо выразимом на других европейских языках: не безответственности и не приниженности, а именно безответности, тихой, молчаливой примиренности с невозможностью

адекватного жизненного ответа, адекватной (стало быть, и нацеленной на успех) самореализации.

4. К стратегии этики успеха. Варианты и очевидности

Приведенные соображения имеют не только фрагментарный, но и весьма односторонний характер - в других возможных аспектах рассматриваемой проблемы автор этих строк попросту не силен. Все же и то, о чем было сказано, при всей своей малости позволяет, на мой взгляд, яснее осознать, почему словосочетание "успешный человек" звучит не очень по-русски. Мы еще раз убеждаемся в том, что проблема этики успеха в России - это проблема не только средств, но и целей; с ней сопряжен вопрос не только о том, что нужно делать, дабы внедрить упомянутую этику на российской почве, но прежде всего о том, какова, собственно, та констелляция ценностей, внедрения которой стоило бы нам добиваться. Следует ли нам, отбросив пресловутую российскую специфику, сосредоточить усилия на имплантации западного этоса достижительской активности? Но ведь ее, этой специфики, и без того не существует для нынешних "русских мальчиков", пытающихся ловить золотую рыбку в мутном коммерческом море. Или, напротив, прежде всего мы должны заботиться о своей культурной и нравственной идентичности, потеря которой обрекла бы нас на настоящую и уже безвыходную периферийность и ничтожество?

Во всяком случае, думается, есть основания констатировать некоторые очевидности, которые должны быть учтены при любом разумном выборе в наших условиях.

Во-первых, совершенно очевидно, что западная этика успеха действительно нуждается на нашей почве в определенной ценностной переориентации. Даже если бы мы специально не стремились сохранить "неудобные" в данном отношении особенности отечественного этоса, нельзя не считаться с тем, что они все еще существуют. Навязчивая пропаганда качеств, традиционно оцениваемых как проявление безнравственности и греха, не может не обострять без того тяжелый нравственный кризис - особенно на фоне нынешнего реального феномена "новых русских".

Во-вторых, не менее очевидно и то, что утверждение императивов успеха и индивидуальной предприимчивости само по себе должно быть в наших условиях тем более резким и бескомпромиссным, чтобы совладать с противостоящими ему

силами инерции. Несомненная деградация “высокой” нравственности, по-своему рафинированной, но построенной согласно традиционной шкале этических ценностей, - с этой точки зрения предстает как необходимое условие радикальной социальной и экономической трансформации общества. Остается, впрочем, надежда, что, поскольку новые формы отношений действительно смогут укорениться на нашей почве, - ими рано или поздно будет создан собственный культурный слой, позволяющий возрождаться традиционным ценностям, хотя и в модифицированном виде.

В-третьих, достаточно очевидным следует признать и то, что, хотя компромиссы между указанными векторами-интенциями окказионально и возможны, особых надежд на продуктивность таких компромиссов возлагать не следует. Гораздо плодотворнее было бы дать каждой интенции развернуться в полную силу, - но с обязательным сохранением в рамках целого возможности и доступности и противоположного варианта. Речь здесь должна была бы идти не только о толерантности, которая содержательных проблем не решает, но о том, что я назвал бы правом на несовместимость - на самостоятельное и эффективное осуществление каждой из противостоящих тенденций. Разумеется, для реализации этого права пространство социума и культуры должно быть достаточно многомерным, обеспечивающим защищенность каждой из сторон и вместе с тем ее “открытость”, актуальное присутствие в составе целого.

Определив эти основные очевидности и, таким образом, признав невозможность формулирования какой-то завершительной, синтезирующей ценностной позиции, - скажу несколько слов о возможном характере ценностного дооформления той тенденции в современном состязании - диалоге, которая связана с адаптацией западной этики успеха к традициям отечественной культуры, ее духовно-нравственному ландшафту.

Выше мы отмечали для памяти слова “Русь”, “устроение”. Можно сказать, что восточнославянским культурам, уходящим своими корнями в почву Киевской Руси, в целом на протяжении всей их истории была свойственна более цепкая, чем в западном мире, связь с обоснованным еще Аристотелем пониманием экономики как ойкономии - домостроя, домоуправления*. В соответствии с еще античным воззрением, экономическая активность человека у нас традиционно толкуется скорее не как

* О сущности данного понимания экономики в его противоположении пониманию новоевропейскому см. [11].

предпринимательство, а как хозяйствование, устройство своего обиталища, неотделимое от чувства меры и благообразия, от сознания конкретной целостности, в рамках которой эта деятельность осуществляется, от живого тепла тесной человеческой общности, живущей в этом доме, на этой “украшно украшенной” земле, в этом Божьем Космосе...

Оглядываясь на названную традицию, своеобразным девизом российской этики успеха я, по своему невежеству, выбрал бы слова из известного видеоклипа: “Все у нас получится”. Да, это естественно и просто: и теплое чувство общности, и некая смиренность, и отрадное сознание меры необходимого и вместе с тем - простор для удали, предприимчивости, риска. И терпеливая готовность доводить дело до конца - и тайная надежда на авось... Чем не почва для внедрения императивов успешной деятельности?

Здесь бы кончить. Но обнадеживает в нашей ситуации то, что она открыта ... для действия других сил, под совсем другими девизами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов и ЛПР. Вып. 10, специальный. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Российская идея успеха: введение в гуманитарную экспертизу (научно-публицистический доклад). - Тюмень-Москва, 1997. С.23-32 и др.
2. Там же. С. 31.
3. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. - Київ: Наук. думка, 1992. - 120 с.
4. Франк С.Л. Русское мировоззрение // Франк С.Л. Духовные основы общества. - М.: Республика, 1992. С. 478-479, 490 и др.
5. Фолкнер У. О частной жизни. (Американская мечта: что с ней произошло?) // Писатели США о литературе. (Сборник статей). - М.: Прогресс, 1974. С. 300.
6. Цветаева М.И. Мой Пушкин. 3-е изд., доп. - М.: Сов. писатель, 1981. С. 52.
7. Малахов В.А. “Наука расставанья”. - М.: Знание, 1992. С. 17-27.
8. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. С. 193.
9. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7. С. 216. Ср.: Федотов Г.П. Стихи духовные.

(Русская народная вера по духовным стихам). - М.: Прогресс; Гнозис, 1991. С. 96.

10. Малахов В.А., Чайка Т.А. Слово и безмолвие в древнерусской культуре (к проблеме типологии) // Человек и история в средневековой философской мысли русского, украинского и белорусского народов. - Киев: Наук. думка, 1987. С. 98-109.

11. Козловски П. Этика капитализма. Эволюция и общество: Критика социобиологии. - СПб.: Экономическая школа, 1996. С. 30-32.

А. Ю. Согомонов

ЯЙЦА ИЛИ КОРЗИНА ДЛЯ ЯИЦ?

*(о модельности жизненного успеха
в модернистском проекте)*

“Не клади яйца в одну корзину!” - гласит народная мудрость. Понятно: не спеши с жизненным выбором, не делай окончательного биографически значимого выбора, будь готовым к разным линиям развития твоей личностной траектории, распределяя по разным каналам биографии свои жизненные планы и дары. Помни, что в жизни могут быть крутые повороты, а потому будь готовым к потерям и старайся избежать однозначных биографических решений - чем больше корзин, тем больше шансов на то, что хоть что-нибудь удастся сохранить (не преумножить!).

Рационализация (проектно-жизненное воплощение) этой мудрости зависит от конкретного времени и пространства. Можно служить одновременно *разным* господам, вкладывать деньги в *разные* банки, дружить с *разными* политиками, писать в *разные* газеты и т.д. И подобная жизненная линия, очевидно, куда “мудрее” установки на однозначный выбор профессии, жизненного занятия, партнеров, политической лояльности, культурного стиля и прочих недвусмысленно артикулируемых индексов биографической идентичности.

Однако такая жизненная мудрость воспринимается как само собой разумеющаяся максима лишь в зоне определенного

культурного ареала, того ареала, где люди действительно не “кладут яйца в одну корзину”, т.е. их жизненные практики вполне гармонизируют с обозначенной выше рудиментарной истиной. Совершенно естественно, что правомерность этой истины вряд ли признают те, чьи представления о собственной биографии - фундаментально другие. “Клади яйца в одну корзину, но береги её!” - призывает М.Монтень, рассуждая как бы в диссонанс с кажущейся универсальной праксеологической нормой беречь именно “яйца”, а не “корзину”. Исторически его идеологический призыв был распознан и подхвачен широкими профессиональными слоями раннего Нового времени Западной Европы. Протосовременный человек западного проекта модернизации формировал для себя такую жизненную среду, в которой ему было удобно принимать однозначные биографические решения в выборе профессии, занятия, партнеров, клиентов, правил игры, политической лояльности, бытового стиля жизни и т.д. Достижение жизненных даров и благ в этом культурном ареале обретает смысл только через биографическую приверженность человека к определенным - недвусмысленно артикулированным - жизненным практикам.

Беречь яйца или беречь корзину для яиц - в этом, пожалуй, смысл метафоры для различения двух цивилизационных макромоделей жизненного успеха современного человека. Первая модель допускает для субъекта биографического проектирования возможность *отказа от абсолютного выбора* жизненной стратегии (и всей жизненной философии). Цели (“яйца”) биографического проекта универсальны и четко прочерчены (счастье - богатство - престиж - т.п.). В способах их реализации нет категорической законченности, ясности, определенности, предсказуемости, императивной решимости. Для перестраховки - раскладывай “яйца” в разные “корзины”! Вторая модель, выстроенная в логике принципиально той же жизненно-биографической телеологии, принуждает субъекта биографического проектирования к *абсолютному и единожды совершенному* на всю жизнь *выбору* способа реализации аутентичной жизненной траектории (жизненной стратегии), и потому сохранность *всех “яиц”* становится зависимой от судьбы самой “корзины”, то есть от последовательности и принципиальности в следовании свершенному когда-то (чаще всего, на заре взрослости) жизненно-профессиональному выбору. Береги корзину, вместителище твоих жизненных даров, как высшее благо! - таково её кредо. Первая модель допускает

ценностный плюрализм внутри тебя и праксеологическую трансидентичность во внешнее социальное пространство, вторая - категорически отвергает.

Дилемма *беречь “корзину”* или *беречь “яйца”* метафорически отражает фундаментальную амбивалентность биографической идентичности современного человека. В одном культурном ареале модернизации жизненный успех личности стратегически подчинен тому, чтобы беречь “яйца”, в другом - беречь “корзину” для “яиц”. С Нового времени и вот уже более четырех столетий люди, устремленные к одним и тем же жизненным дарам, но находящиеся по разные стороны воображаемой цивилизационно-разделительной полосы, следуют либо тому, либо другому принципу биографического проектирования. Эти принципы настолько контрастно - в символическом и виртуальном смыслах - представляют наиболее фундаментальные структуры и практики повседневной жизни современного человека, что вполне можно говорить о двух базовых для культурного проекта модернизации *моделях* жизненных философий человека. В одной модели человек, делая свой биографический выбор раз и навсегда в пользу собирания “яиц” в одной корзине, чрезвычайно бережно относится к этой *емкости* хранения жизненных благ и даров. В другой, раскладывая “яйца” (порой весьма демонстративно) по разным корзинам, он, в сущности, не заботится (а подчас и не может этого сделать, ибо забота о множестве “корзин” естественным образом выходит за пределы обычных возможностей человека) об их сохранности, поскольку по логике вещей что-нибудь должно сохраниться само по себе. При этом неважно, чем два этих человека заняты в общественной системе разделения труда, что они представляют собой этнически, этически и психологически. Главное то, что культурно-биографически это - два радикально непохожих друг на друга типа успешной биографии современной личности. Разумеется, культурно и цивилизационно они близнецы-братья, но праксеологически рационализируют в своих социальных траекториях жизненные выборы, репрезентирующие разные принципы биографического проектирования.

Прежде чем операционализировать эти модели (принципы) биографического проектирования, рассмотрим, в какой связи находятся понятие жизненного успеха и концепция биографического проекта.

Жизненный успех не просто воспринимается людьми, но и является по своей сути рационализацией жизненной удачи. При

том, что исторически меняются субъективные смыслы *удачи*, этот феномен буквально во всех культурах фигурирует в качестве автономного актора на сцене социокультурных разыгрываний. Удача распознается, обнаруживается, ловится, желается и т.п., но в любом случае она выводится культурой за скобки чистой человеческой воли и энергии (хотя и находится в тесном с ними социоактивистском взаимоотношении). Во всех традиционных культурах удача персонифицирована, ей приписаны магические свойства влияния на жизненную траекторию человека, ей поклоняются, с ней договариваются, ее пытаются благорасположить и/или предвосхитить. Ее рационализация предполагает адекватный социокультурным условиям выбор достижительской идеологии (стратегии жизненно-биографического проекта) и адекватную нормативным правилам игры установку на ее практическую реализацию.

Жизненный успех является базовой категорией *достижительской культуры*. Являясь относительно автономной культурной системой, она - во взаимодействии с интегральной социальной структурой общества - консультирует субъекта действия относительно альтернативных последствий личностного активизма. Если согласиться с Г.Зиммелем в том, что одной из важнейших культурных потребностей человека является его желание быть *распознанным* (и вспомнить при этом о феноменологическом тезисе А.Шюца об *активизме* как базовом состоянии человека в его жизненном мире), несложно понять, сколь фундаментальное значение для человека может иметь выбор (через сравнение ли, подражание ли, иные способы рефлексии - не суть важно) стратегии жизни, стратегии распознавания своей биографии в социальном окружении и, прежде всего, - распознавания идентично-биографического "Я" через свое *практическое действие*.

Речь при этом идет не о противопоставленности героев и обычных людей, героическом и обыденном, не о харизматическом и внеповседневном (в трактовке М.Вебера) в их контрасте с рутинным, не о практически-бытийном *versus* фантазийному (в шюцевской трактовке конечных сфер реальности), не о приключенческом *versus* обыденному (по Зиммелю), равно как и не о героическом в его противопоставленности ресентиментальному (по Ницше). Речь также идет не об экстраординарности и ординарности в их чисто культурном измерении (сверхнормативные поступки и рутинное социальное поведение) и, конечно же, не о нарочито акцентированной (эпа-

тажной) гиперсоциальности в ее противопоставленности привычно-нерефлексируемой обычности (социальной нормальности).

Речь идет об особой достижительской дилемме: *выделенности-в-привычном versus не-выделенности-в-привычном.*

Успех - и культурная *цель*, и культурная *оценка*. Успех - и способ идентификации выделившейся в своем окружении личности, и критерий ее самооценки. Успех - и содержание, и форма этосно предопределенной стратегии самопрезентации личности в адекватной ей социокультурной среде. Успех - и позитивная, и негативная характеристика свершенного культурного действия. Успех - и культурно плюралистичен, и унитарен в своей intersубъективности. Успех - и ценность, и установка, и мотив, и норма социального действия. Но все это - особого свойства составляющие мира Успеха-и-Неудач. А главное заключается в том, что успех есть *специфический способ рефлексии культурно-актуальных смыслов жизненного активизма*. И именно благодаря этой своей многозначительности, успех становится категорией "культурной".

В этом смысле, далеко не всякое социальное действие может быть оценено как уже успешное или ориентированное на достижение успеха. Даже более того, основная масса повседневных социальных действий, которые мы выполняем ежеминутно, принципиально не оценивается в категориях "культурного" успеха. То ли из опасения девальвации понятия, то ли из опасения утратить *differentia specifica* - язык повседневной коммуникации весьма избирателен в отношении ситуаций, когда понятие "успех" приходится к месту, а когда - "режет слух". В результате весьма ограниченный набор социальных действий оказывается *валентным* многозначительности "культурного" успеха. И этот набор собственно и очерчивает пространство достижительской культуры.

Достижительское социальное действие проектируется, реализуется и оценивается в четкой привязанности к тому, что здесь-и-теперь в локальной исторической культуре трактуется как радикальная культурная цель в построении жизненных стратегий. Если же в силу определенных исторических обстоятельств в обществе нет артикулированно-радикальной культурной цели, то субъект действия в качестве таковой цели выбирает - из опыта "предшественников" или "консоциатов" - ту достижительскую модель, которая в большей степени гармонизи-

рует с его биографической ситуацией. Таков - *предмет* его достижительского выбора.

Достижительский успех не существует сам по себе, вне его внешнего и внутреннего оценивания - экспертизы социальной среды. Успех оценивается по специфической шкале, и далеко не всегда (каждый раз - по-разному) субъект действия хочет того, чтобы его достижительский проект, а равно и его достижительское "Я", становились объектами социального оценивания (при том, что чаще всего сам он готов оценивать других с большей охотой!). И проектируя жизненную стратегию, он отдает предпочтение таким достижительским тактикам, при которых его достижительская выделенность в социальном окружении либо минимизируется, либо аннигилируется. Или, напротив, в основании своей стратегии он помещает принцип последовательной достижительской выделенности, причем сама выделенность в данном случае становится высшим смыслом его биографического проекта. Иными словами, достижительская выделенность или не-выделенность становятся *объектом* его достижительского выбора.

Итермедиативное - промежуточное между Высокой Культурой и Практической Повседневностью - качество достижительской культуры во многом объясняет тот уникальный набор социокультурных явлений, который образует ее специфический ареал, разнопорядковость и амбивалентность ее базовых категорий и, прежде всего, - полисемантизм и двусмысленность понятия "жизненный успех".

Достижительские принципы *выделенность и/или не-выделенность* осуществляются в пространстве *привычного*, в котором социальные действия не расцениваются как экстраординарные, из ряда вон выходящие. Достижительский успех, с одной стороны, своими социальными корнями уходит в повседневность, проектируется в повседневности и как биографический проект реализуется в практической повседневности. Достижительский субъект не совершает ничего сверхособенного, "его *пример* - другим наука". В этом смысле социальная онтология успеха - *эмпирическое-в-привычном*. С другой стороны, достижительский успех оценивается (рефлексируется) самим субъектом действия и/или его социальным окружением в категориях "высокой" культуры, так сказать, "высоким" стилем. Субъект в этом случае уже не такой, как все, и "его *пример* - другим наука". В этом смысле культурная онтология успеха - *символическое-в-привычном*.

Успешная личность, таким образом, выделена эмпирически-в-привычном (ее достижения могут быть социально повторены, измерены и классифицированы) и символически-в-привычном (благодаря своим достижениям, субъект действия закрепляет и утверждает свой социальный статус и престиж). Иными словами: успешная личность - *непривычна-в-привычном*. Отсюда можно заключить, что успех, при всей своей фундаментальной обыденности, одновременно выносит личность как бы в сферу *надповседневности*.

Абстрактные Успех-и-Неудача, свободные от значений, которые им навязываются миром (мирами) “чистых” идей, с одной стороны, и социальными нормами и ценностями конкретных социальных структур, с другой, - для субъектов проектирования жизненных биографий имеют смысл лишь как стигматизированные консультанты. Семантическое же наполнение Успеха-и-Неудач происходит лишь в историческом контексте локальной достижительской культуры, что видно на следующей схеме.

Мир “чистых” идей (“картины мира”)	Достижительская культура (культура “жизненного успеха”)	Повседневная культура (“жизненный мир”)
Вера в удачу	Успех как рационализация веры в удачу	Жизненно-биографический проект
Исторический контекст локальной достижительской культуры		

Как видно из схемы, исследователь, по сути, имеет дело с типологически разными достижительскими мирами, с разными *мирами Успеха-и-Неудачи*. Достижительский опыт каждого из типов (достижительский этос) формируется в пространстве между тем, что М.Вебер называл “картинами мира” (или - в русле другой традиции - “идеологиями”), и тем, что обозначено А.Шюцем как “жизненный мир” практического действия.

“Картины мира”, по Веберу, имеют свою внутреннюю логику, которая, собственно, и делает социокультурные вектор и смыслы любого социального действия исторически необходимыми, а посему - поддающимися культур-социологическому анализу. “Картинам мира” принадлежит приоритет легитимного господства над непосредственными мотивами и стимулами человеческого поведения. Конечно же, Вебер в своем анализе “картин мира” основной акцент делал на религиозных идеях и, более того,

нередко само понятие “картины мира” наполнял исключительно религиозно-идейным содержанием. Это давало Веберу возможность говорить о том, что “картины мира”, создаваемые логикой саморазвития религиозных идей, утверждали в сознании людей координаты, определяющие основные направления их жизнедеятельности, образуя значение *цели всех целей*. А ею, согласно Веберу, может быть лишь *нравственно-религиозная идея* - идея спасения, воздаяния за невзгоды, беды, страдания, испытываемые человеком на протяжении его жизни - подробнее см. [1].

На уровне “картин мира” как бы прекращается свобода воли человека и он вынужден поступать по необходимости, в социально-логической вынужденности, культурно-автоматически, социо-установочно. В идентичной логике “картин мира” действия индивида, продиктованные логикой “цели всех целей”, синхронизируются с его мыслями (рефлексия) и тогда, в слиянии образа действий и образа мышления, формируется образ жизни, институционализирующий “картины мира” в социальные структуры, где, собственно, и складывается в конечном итоге особый социальный слой носителей “картины мира”, интеллектуалов, акцентирующих и артикулирующих системы идей и формально, и содержательно (носители идеи локально-исторической концепции “жизненного успеха”).

Наряду с этим, достижение фундаментально предопределено повседневным активизмом или, как писал А.Шюц, использовавший философский образ А.Бергсона, “attention a la vie, вниманием к жизни как базовым регулятивным принципом нашего сознания жизни” [2, с.212]. *Наше сознание жизни* демонстрирует, по Бергсону, бесконечное множество различных планов, ранжируемых в шкале от планов конкретных действий до мечтательных грез. По Шюцу, “оно акцентирует релевантную нам сферу нашего мира; артикулирует продолжительность течения нашей мысли; предопределяет место и функцию нашей памяти; заставляет нас - в языке - либо жить внутри нашего теперешнего опыта, обращенного к объектам мира, либо рефлексивно обращаться к прошлым опытам, вопрошая об их смыслах” [2, с.212-213].

Достижение (а не выживание!) в повседневном опыте человека, собственно, и является базовым “наполнителем” напряженного отношения к жизни. И поэтому успех, как уже отмечалось выше, повседневно выражен и лингвистически, и феноменологически.

А.Шюц, анализируя структуру проектируемого повседневного действия, писал об ожиданиях в их временных параметрах. Проектируя некоторое действие, субъект “репетирует” (термин Дж.Дьюи) его в своем воображении, то есть предвосхищает последствия некоторой совокупности действий. В воображении действие всегда выглядит как нечто такое, “что должно будет свершиться”, то есть лингвистически мыслится в модальности будущего совершенного времени (*modo futuri exacti*). Но эти ожидания “пусты”, ибо они могут быть или заполнены, или не заполнены неким действием. Модальность прошлого или настоящего совершенного времени всегда оперирует “заполненными” ожиданиями. Что проектировалось, то и свершилось или же - нет. Субъект может долго помнить о своих “пустых” ожиданиях времени воображения действия, помнить о переживаниях процесса свершения, но ретроспективно он всегда воспринимает их как “прошлые ожидания”, которые были реализованы или же - нет. “Только свершенный акт, таким образом... может <пониматься> как *успех или неудача*” (курсив мой - А.С.) [2, с.215]. Шюц, как кажется, вполне правомерно полагал, что в этой логике можно рассматривать структуры любых социальных действий и, добавив от себя, разумеется, достижительские проекты-и-действия.

Течение времени (“внутреннее время” субъекта действия) спонтанных социальных действий повседневной жизни людей предполагает достижительский критерий. Актуальное здесь-и-сейчас субъекта действия предполагает именно инструментально-достижительскую оценку эффективности реализации невыполненных ожиданий, то есть критерий практического воплощения проектируемого действия в жизнь. Эта оценка эффективности, собственно, и делает историю - “моей историей”, жизненный мир - “моим миром”. Или, как сформулировал бы этот тезис сам Шюц, актуальное достижение актуального актера имеет свою “историю”, предполагающую “отложение” в ней всего предшествующего субъективного опыта актера, опыта его предшественников и консоциатов.

Биографическое проектирование предполагает возможность толкования жизненных благ и успехов в том числе и с точки зрения их символической родственности. Все жизненные дары фундаментально схожи и образуют пространство жанрово-символических “яиц”, к коим народная мудрость рекомендует взвешенно-стратегическое отношение, то есть - *биографическую*

заботу! Заботиться положено о статусе, имени, престиже, богатстве (или, по крайней мере, достатке), карьерной мобильности (в самом широком понимании ее) и, в конечном итоге, о доброй памяти. Но все это свершается с помощью весьма несхожих праксеологических “правил” и биографических практик.

Жизненные дары - благословенны. Твой биографический проект есть реализация твоего призвания. А служение призванию, собственно, и означает реализацию принципа “беречь корзину для яиц”. Открытие идеи *биографического призвания* - во многом вслед за М.Вебером (и Э.Трёльчем) - культурсоциологически связывается с христианской реформацией Мартина Лютера и, в особенности, Жана Кальвина.

Протестантская этика (с кальвинским типом адаптации идеи капитализма в религиозной этике) воспринимает жизненный труд как знак уверения в выборе, как служение призванию, как систематическую реализацию человеческой энергии, необходимых сами по себе и одобренных Богом, в рамках чего жизненные блага и дары (в первую очередь, хозяйственные прибыли) расцениваются как знак Божественного одобрения твоего биографического проекта. Не случайно идея Призвания, со свойственным ей запретом на праздность и акцентом на использовании любого шанса для получения прибыли, в западном мире охватывает все коммерческие профессии и процесс “делания денег” вообще. Она выступает необходимым фундаментом для людей специализированного труда и призывает их трудиться во имя самого Труда, создавая современную (вестернизированную) версию жизненного успеха. В самом широком смысле достижение современным субъектом жизненного успеха “во призвании” становится своего рода прообразом жизненной стратегии биографического проекта недвусмысленного выбора, то есть жизненной философией “заботы о корзине”.

Этот принцип биографического проектирования лег в основу специфического, исторически влиятельного капиталистического этоса (образа жизни) - ареала культуры *жизненного успеха как воплощенного в практике божественного призвания*. Данный этос включает в себя на правах господствующих ценности труда и призвания, объективирует труд и его результаты, возвышает труд аскетической этикой призвания, производит вторжение в сферу необходимого самого по себе Дела средствами прескриптивной религиозной концепции.

Если оставить в стороне длительный спор о христианских составляющих современной цивилизации, то трудно не признать, что именно усилиями раннепротестантских теологов весь западно-христианский мир постепенно инкорпорируется в ареал культуры жизненного успеха “во призвании”. В нем “корзина для яиц” воспринимается как божественное предначертание. Труд “во имя корзины” есть аскеза, жизненные дары и блага (“яйца”) есть не более, чем знак Божьей благодати. В известном смысле Божья благодать есть неотъемлемая часть жизни того, кто живет призванием. И именно в этой культурной логике могут быть проинтерпретированы слова Б.Франклина, сказанные им в “Автобиографии” о своем биографическом проекте.

Заметим, что, оказавшись в ареале культуры жизненного успеха “во призвании”, католицизм в не меньшей степени стал ценить *жизненный мир* призвания как среду существования человека, предопределенную его естественными правами. Впрочем, как считал Трёлльч, вся католическая система плохо стыкуется с “высокой” трансцендентальной этикой, по своим внутренним запросам не связанной напрямую с проблемами активной повседневной жизни, но именно своею созерцательностью достигающей искомым высот благодати и сверхъестественности. Лишь аскетический протестантизм рассматривает *призвание как испытание*, а ревностное служение своему профессиональному долгу (то есть недвусмысленному профессиональному выбору) - как знак и символ искомого состояния *прощения*. Соответственно, протестантизм объединяет все разновидности биографического труда (“во призвании”) во взаимосвязанную систему предельной *концентрации человеческих возможностей на целях призвания*, ниспосланного индивиду через его Провидение (операционализация Э.Трёлльча; подробнее см. [3]).

Иными словами, в доктрине жизненного успеха “во призвании” в рассматриваемом культурном ареале происходит вполне определенное отделение “яиц” (объектов труда) от эмоционально-биографического переживания, подчинение биографического проекта (повседневного труда) целям, расположенным в потустороннем мире, а посему владеющими личностью вплоть до ее смерти. Жизненный выбор в подобном биографическом проекте носит недвусмысленный и профессионально выраженный характер. Этот выбор довлеет над биографическими стратегиями людей на протяжении всей их жизни: биографическая забота о “корзине для яиц” - цель всех

целей любого биографического проекта. Отсюда следует, что биографическая трансидентичность в этом культурном ареале - явление аномальное и практически мало возможное.

Данная культурная система постепенно преобразуется в *этос* среднего класса западной цивилизации, поскольку содержит в себе набор необходимых прокапиталистических жизненно-биографических установок, в том числе на систематическое разделение труда, трудовую специализацию; социальное переживание хозяйственных выгод и абстрактного должностования трудиться; культивирование чувства обязательности в отношении собственности как чего-то великого, что должно приобретать и накапливать ради нее самой. И М.Вебер, и Э.Трёлч писали о протосовременном человеке как о владельце богатств и собственности, как о “Божественном Управляющем”, который лишь распоряжается доверенными ему Божественными Дарами (“яйцами”), но непрестанно *биографически заботится* о своей “корзине” - формальной, безусловной и абсолютной честности (символически распознанной и эмпирически замеряемой) своей профессиональной репутации. Его жизненный успех - в радикальном понимании феномена - и есть его жизненное призвание, последовательно истолкованное как непрестанное стремление к качественному состоянию *непривычной* личностной репутации в *привычном* социопрофессиональном *milieu*.

На другом полюсе модернизационного процесса протосовременный человек оказывался, с одной стороны, лишенным столь широких возможностей биографического выбора (прежде всего, благодаря непомерным размерам государственного вмешательства в жизнь общества) и, с другой, - подверженным скорее влиянию *проэтатистских* ценностей и традиций биографического проектирования, нежели доктрины “божественного призвания”. В том ареале, где не артикулирована базовая для биографического проекта современного человека идея призвания, биографическая забота личности перемещается больше на “яйца”, чем на “корзину для яиц”, и способствует тем самым формированию ареала культуры *биографического служения*. В нем лишь рудиментарно присутствует идея профессионального выбора автономной личности, не говоря уж об императивности биографических выборов и решений, жизненный же успех личности растворен скорее в совокупности даров и благ (объектах труда или служения), чем в профессиональном долге. *Забота о “яйцах”* становится в этом культурном ареале господствующим принципом биографи-

ческого проектирования. В истории культуры известно достаточное количество примеров построения биографических проектов в достижительской логике служения, чтобы говорить о целом классе достижительских идей, который может быть условно объединен в рамках доктрины “патримониального” (как частный вариант карьерного) жизненного успеха.

Доктрина (а равно и этос) карьерно-жизненного успеха предполагает государственную организацию, в которой относительно жестко прописаны *служебная* иерархия, *служебная* дисциплина, *служебные* компетенции, *служебные* обязанности, иерархия *служебного* вознаграждения и т.п. Индивид выбирает биографический проект карьерного успеха как бы по контракту, то есть в результате действительно свободного выбора, и превращает *карьерную службу в свою профессию*. Но главное заключается в том, что бюрократическая служба конституирует *тип карьеры*, в которой “продвижение по службе осуществляется с достижениями или стажем, а также вне зависимости от мнения начальства” [1, с.127]. Примечательно, что Вебер считал возможным распространять этот тип карьеры и на другие (принципиально негосударственные) организации, внутренне выстраиваемые в достижительской логике карьерного успеха. Как бы мимоходом брошенное замечание Вебера о достаточном широком хождении в современных легальных системах типа карьерного успеха кардинально изменяет наше восприятие этой модели жизненного успеха.

Принципиальную разницу между “профессиональным призванием” и описанным Вебером типом служебной карьеры в формально-рациональных бюрократических организациях обнаружить сложно. Рационально-бюрократический этос, как и культура “профессионального призвания”, строится на знании, квалификации, компетентности. Специальные знания бюрократа порождают сложный комплекс служебных знаний, а последние обуславливают в известном смысле могущество рациональной бюрократии. Бюрократ формалистически обезличен и неизменно склонен к материально-утилитаристской заостренности своей профессиональной компетенции. В этом смысле аутентично-альтернативный достижительский мир карьерного успеха формируется лишь при *патримониальном политическом режиме* (если вновь воспользоваться веберовской терминологией), где доктрина карьерного успеха прочерчена наиболее последовательно. Одних формально-рациональных признаков бюрократической компетенции для подлинного карьерного

успеха здесь уже недостаточно, служение должно сочетаться с личной лояльностью, причем настолько, что никогда не должно быть ясно, что первичнее для достижения жизненно-карьерного успеха - компетентная служба или проявление лояльности. Достижительский субъект патримониального успеха наиболее полно реализует идею биографического прорыва в надповседневную сферу, где его достижительское его буквально сливается с тем, что мы чаще описываем как высший государственный интерес, национальные приоритеты, словом, - *Интерес Общего*.

Понятие *патримониальности* используется Вебером для обозначения типа господства, с его точки зрения, исторически расположившегося между чисто традиционным и легальным господством, то есть, если рассуждать предельно схематически, между традиционной и современной формами политической культуры. Патримониальный тип господства, по Веберу, уже отвергает принцип "священности" традиции, но еще не признает принципа правовой легитимации властных отношений. Патримониальность наделяется Вебером следующими типическими чертами [1, гл. III.3, IX, X]: (1) центрально-ключевое положение принцепса и результирующая из него особая властная аура, непререкаемость авторитета правителя; (2) практика назначения на чиновничьи посты милостью правителя; (3) апроприация чиновником своей должности и, по сути, превращение ее в собственность носителя бюрократического "чина"; (4) присвоение материальных выгод (ресурсов), которые контролируются благодаря обладанию чину; (5) амбивалентность служебных полномочий, обязанностей, критериев компетенции, стандартов продвижения по службе и т.п.; (6) высокий солидаристический потенциал корпоративного сознания и коллективных действий патримониального чиновничества; (7) преобладание согласительных практик во взаимодействии самого аппарата и в отношениях с властной пирамидой, в том числе и с правителем; и т.д. Вебер обнаруживает классические патримониальные управленческие культуры в некоторых древневосточных обществах, позднеримской и византийской империях, китайской цивилизации, абсолютистских режимах Западной Европы начала Нового времени и, конечно же, в истории Российской империи. Патримониальность в известном смысле способствовала возникновению уникального достижительского этоса, который, как нам кажется, корректнее всего было бы именовать этосом "патримониальной титулярности".

Этос “патримониальной титулярности” предполагает особую структурность политического и культурного обустройства общества. В нем рекрутируемые чиновники скорее воспринимаются как слуги господина (поскольку являются его назначенцами), нежели *civil servants* формальной бюрократии. Политический господин раздает управленческие поручения, которые со временем начинают рассматриваться как долгосрочные. Деловые компетенции также определяются по свободному усмотрению господина. За эти компетенции как за шансы получения адекватных - приобретаемых компетенциями - вознаграждений (дары, блага, льготы - “яйца”) идет серьезная конкуренция. Порученцы в идеале становятся придворными чиновниками. И даже тогда, когда складываются вполне специализированные и внешне формально рациональные политические институты, все равно господин всегда может кардинально вмешаться в содержание этих компетенций, причем вмешательство, даже если оно волюнтаристично и противоречит здоровой логике политического управления, будет рассматриваться как вполне легитимное. В то же время чиновник - назначенец патримониальной организации, по существу, апроприирует свою должность, а также все связанные с ней материальные и людские ресурсы (так возникают патримониальные “субправители” разных уровней). И тогда правители на каждом уровне патримониальной организации начинают рассматривать свои управленческие домены как свое личное дело, а свою политическую власть - как механизм обогащения и объект накопления собственности.

Достижительский субъект в этосе “патримониальной титулярности” наделен системой “носитель титула”. Его *достижительская идентичность* всецело зависит от объективированных системой социокультурных характеристик титула. Титулатура создавала имидж жестко иерархизированного (кастового) достижительского мира, но в нем перед достижительским субъектом всегда была приоткрыта перспектива смены своей властно-социальной идентичности (со сменой патримониального титула), причем социальное происхождение (биографическая ситуация) в детерминировании биографического проектирования титульно-мобильной личности, как правило, особой роли не играло. Жизненно-карьерный успех в этосе “патримониальной титулярности” симулировал идею вторичности богатства по сравнению с биографическим проектом служебного продвижения (титульной мобильностью).

Разумеется, возможности для обогащения (биографическая забота о “яйцах”) расширялись в прямой зависимости от титульной мобильности субъекта.

Накопление богатств и собственности с каждым шагом вперед по “титульной” лестнице в этом этосе уступало в своей значимости достижительскому “духу”. Все мироздание “патримониальной титулярности” покоилось на *отождествлении личности самой себя с интересами патримониального целого* (чаще всего - государства). Достижительский “дух” носителя титула требовал от личности самоотверженной биографической самоотдачи на ниве служения, препятствуя полному отождествлению достижительского “Я” с управленческими или политическими успехами государства (успехи в свою очередь делегировались - приписывались - правителю, верховному или ранговому). Лояльность ценилась как высшая добродетель, а стандарты компетентности и эффективности конструировались с точки зрения демонстративной и “искренней” лояльности достижительского субъекта к высшему “начальству”. Поэтому титульное продвижение расценивалось скорее в категориях удачливости (биографической заданности “извне”) личности и, чаще всего, порождало не столько массовую - социальную - сколько внутрикорпоративную зависть.

Из приведенного синопсиса модели жизненного успеха, репрезентированной в этосе “патримониальной титулярности”, не сложно обнаружить, что вся эта модель исторически сформулирована в виде символической и эмпирической альтернативности этосу “профессионального призвания”. В некотором смысле в этой альтернативности просматривается дилеммность популярных образов биографической идентичности современного человека - *быть и/или добиваться*. В одной модели достижительская идентичность растворяется в “государственном интересе” и формулируется в виде ответа на вопрос “кто я есть (в иерархии титулов)?”; в то время как во второй - достижительская идентичность нарочито индивидуалистична и выступает в качестве ответа на вопрос “чего я достиг собственными усилиями в этом обществе?”.

Биографический проект достижительского субъекта этоса “патримониальной титулярности” фактически сводился к двум проявлениям надповседневного опыта жизненно-биографического успеха: (а) к опыту восприятия *успехов целого* как глубоко личностного успеха и (б) к опыту восприятия

собственных *титულярных скачков* в качестве многократно переживаемых фактов достижительской мобильности.

Биографическое призвание и *биографическое служение*, таким образом, выступают в культуре протосовременного человека двумя способами формирования модернистских смыслов жизненного успеха и достижительской идентичности, господствовавших в разных культурно-географических ареалах цивилизационного процесса.

В культурном проекте “большевистской” модернизации была предпринята попытка синкретизации служения (лояльности) и профессионального призвания, и это частично обеспечивало функционирование советской системы как типа современного общества, основанного на фундаментальном, общедоступном и всеобщем принципе социальной мобильности личности. Посредством этой синкретизации разномодельных оснований биографического проектирования личности советское общество смогло преодолеть в себе наследие “чистой” (русско-имперской) патримониальности, стать массовым, индустриальным и, что, пожалуй, самое главное, - современным обществом с реальным и символическим статусом образования (знания). Эта синкретизация, однако, способствовала формированию чрезвычайно идентичной модели достижительского жизненного пути “советского человека”, инвариантно понятого и риторически описанного в системе моностилистической культуры как *путь аппаратной - предпочтительно околоставной - карьеры*.

Несмотря на принципиальную разницу в расстановке акцентов биографической “заботы”, - забота о корзине *versus* заботе о яйцах - культурная логика биографического проектирования протосовременным человеком (человеком де-традиционализированного этоса), а именно - пафос достижительской *не-выделенности* делает обе модели родственными. В противовес сословным биографическим проектам (к примеру, героико-аристократическому или рыцарскому), протосовременная личность через биографическое призвание или служение имплицитно подчинена универсальным целям трансцендентального свойства. В обоих этосах амбиции достижительской выделенности погашаются *насилием совести*. И в том, и другом этосе достижительский субъект обнаруживает себя в ситуации раздвоенного идентификационного сознания - процесс отождествления достижительского *его* со своими достижениями не просто осложнен, но и, в определенном смысле, культурно табуирован. Служение Делу (при принципи-

альной несхожести в интерпретациях самого понятия “дела”) делает носителей обеих моделей жизненного успеха относительно бескорыстными в отношении собственных вознаграждений, социально альтруистическими и потому “сдержанными” в отношении биографических достижений других. (В одной “картине мира” доктрина религиозного спасения предопределяет посястороннее достижительское поведение и мирской аскетизм, в другой - вера в светлое будущее мобилизует достижительских субъектов на альтруистическое достижение “здесь-и-теперь” и схожий мирской аскетизм.)

Исследовательское искушение обнаружить ряд внешних и внутренних черт, свидетельствующих о том, что обе модели фундаментально родственны, уводит нас от необходимости дихотомизации достижительской культуры двух цивилизационных путей в Современность. Казалось бы, какая разница между *заботой о яйцах* и *заботой о корзине для яиц*? Главное то, что обе модели цивилизационно подготавливают почву для генезиса универсального понимания индивидуального достижения модернистского типа, то есть универсального понимания ценностей и норм биографического проектирования и жизненного успеха.

Эта фундаментальная амбивалентность доктрины жизненного успеха в модернистском проекте является ключевой характеристикой всей современной цивилизации, обеспечивающей личности и обществу необходимое условие для социокультурной динамики и метафорически предостерегающей личность от главной опасности на пути реализации любого биографического проекта - “головокружения от успехов”.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Weber M.* Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie. 5. Auflage. T-bingen: J.C.B.Mohr, 1972.
2. *Schutz A.* Collected Papers. Vol. I: The Problem of Social Reality. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962.
3. *Troeltsch E.* The Social Teaching of the Christian Churches. Chicago: Chicago University Press, 1931.

М. В. Масарский
**ОБЩЕСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСПЕХОВ**

Уходящий век оставляет немало исторических парадоксов. Некоторые из них кажутся специфически российскими.

Военно-политические верхи, подобно слепому Самсону, вырывают центральную опору тысячелетнего государственного здания. И - погибают под его обломками.

Мафиозно организованная партия политических маргиналов и экономических аутсайдеров играючи берет власть, "валяющуюся в грязи".

Крестьянство, владевшее 80% пашни и 94% скота, ради приобретения дополнительных 20 десятин земли на каждого, уничтожает едва сложившуюся рыночную инфраструктуру сельского хозяйства. И - своими руками надевает на себя колхозное ярмо.

Тоталитарное государство систематически и целенаправленно подрывает производительные силы страны.

Обессиленная войной и обнищавшая социализмом страна берет на дорогостоящее содержание десятки прожорливых и коррумпированных "прогрессивных" режимов чуть ли не во всех частях света.

Российские территориальные приобретения последних трехсот лет теряются за четыре месяца. И, тем не менее, для массового имперского сознания продолжает оставаться неочевидным несоответствие геополитических притязаний России и ее экономических возможностей. По уровню промышленного производства она на пятом месте в мире (после Китая). По объему производства товаров и услуг - на десятом (после Индии и Бразилии). По среднестатистическому потреблению электро-энергии - важнейшему показателю социально-экономического развития - в конце первой сотни стран (после Танзании и Иордании).

Всеобщее отчуждение от публичной власти уживается с массовой верой в справедливое государство. В государственном патернализме нуждается каждый в отдельности. "Эдипов комплекс" испытывают все вместе.

Демократия способствует десакрализации власти. Государство не исполняет свои священные обязанности.

Общество традиционно демонстрирует гражданскую незрелость. Государство - не полную готовность к правовым

самоограничениям. Граждане кланяются, не уважая. Чиновники толкаются, не извиняясь.

Эти противоречия формировались и накапливались столетиями. За несколько лет демократических реформ они не могли разрешиться. По корням и плоды.

“Земля” и дружина

Российское государство не выросло из общества и не навязано ему извне. Пришлая варяжско-русская дружина монополизировала политические функции, поверхностно соприкасаясь с местными родоплеменными объединениями. Государство росло рядом с обществом, откусывая от него по кусочку.

Княжески и антиземски ориентированная летописная версия добровольного “призвания варягов” демифологизирована объективными исследованиями. Не порядок принесли скандинавские военные бродяги, а новые принципы организации публичной власти, не связанной общественными обязательствами. Распыленная сила родоплеменного авторитета склонилась перед авторитетом концентрированной силы.

Новгородско-Киевская Русь сформировалась как военно-торговое предприятие. Государственная деятельность его сводилась к фискально-конфискационной, то есть к сбору дани со славянских племен. Бродячая хищная дружина среди “одомашненного” оседлого населения - легендированный, но в основе достоверный образ “Руси изначальной”.

“Пойду, похожу еще”, - сказал дружинникам Игорь Рюрикович. Древляне выразили свое отношение к налоговому беспределу: “Повадится волк в стадо ходить - все стадо перережет”. Общественная самоидентификация недоимщиков обозначилась скотоводческим термином.

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

(А.С.Пушкин)

С.М.Соловьев и В.О.Ключевский называли этот исторический архетип взаимоотношений дружины с “землей” гоньбой государства за разбегающимся населением.

Функции политического администрирования, суда, обороны внешних рубежей, обеспечения внутренней безопасности населения подчинялись главной государственной задаче – пополне-

нию дружинного “общака” и выгодной торговле “конфискатом”. В связи с этим, хозяйственная эксплуатация “земли” могла быть только экстенсивной, а государственная организация - рудиментарной. Наемные военные сторожа завладели тем, что они охраняли, в потребительских целях. “Земля” (местные сообщества) не была ни партнером государства, ни объектом его попечения. Данники еще не подданные. Дружина “примучивала” местное население, ничего не давая взамен. “Землю” использовали не в социальном, а в природном качестве. Как даровой источник мехов, меда, рабов для заморской торговли.

Характерно, что в международно-правовые отношения с военным противником и торговым партнером - Византией - варяжские конунги вступали не от имени покоренных ими “словен”, а от своего собственного. Юридическим лицом и политической реальностью была дружина, а не страна. “Русы” не отождествлялись с данниками и не связывали себя с долгосрочными интересами чужой “земли”.

“Ходящий яко барс” киевский князь Святослав Игоревич легко оставил русскую “столицу” ради болгарского Переславля: “Здесь центр моей земли”. Киевляне остались беззащитными перед свирепыми печенегами.

Подлинной столицей была походная ставка кочующего князя и общий стол, вокруг которого ритуально собирались старшие воины - бояре. В те времена престол - всего лишь передняя, обособленная часть дружинного “круглого стола”. Улавливается этимологическое родство со словом “председатель, президент” (сидящий впереди).

Государство не отделялось от личности государя - собственника движимого и недвижимого имущества. ТОО “Русь” - военно-торговое “товарищество с ограниченной ответственностью” - прежде всего обеспечивало безопасность укрепленных товарных складов собранной дани, “товарищей”. Города-крепости представляли собой не столько административные узлы сети, накинутой на “землю”, сколько инфраструктуру торгового пути “из Варяг в Греки”.

Геополитическая обстановка повлияла на генезис русского семейно-дружинного государства. Оно появилось на берегах славянских судоходных рек в начале IX века. После того, как в VIII веке мусульманские завоевания закрыли для европейской торговли Средиземноморье. Резкое ослабление Новгородско-Киевской Руси в начале XIII века совпало со снижением коммерческой привлекательности пути “из Варяг в Греки”: для

Европы открылся средиземноморский торговый путь после четвертого крестового похода 1204г. Сломался экономический стержень государственной организации, построенной на принципах Ост-Индской компании.

Варяжско-русская дружина ослабилась лишь к концу XI - началу XII века. Первое летописное свидетельство тому относится к 1116 году. Скандинавские имена здесь появляются в своей славянской форме: Хельги превращаются в Олега, Хельга - в Ольгу, Ингвар - в Игоря, Валдемар - во Владимира. Финское "Руотси" (Швеция), означавшее устойчивую группу скандинавских воинов, трансформировалось в этноним "Русь". Однако славянское общество осталось отчужденным от русского государства. Не совпадали их системообразующие цели.

Русская власть в IX - X веках не была стеснена ни писаным законом, ни древним обычаем, ни оперативным народным волеизъявлением. Общее собрание взрослых мужчин оставалось принадлежностью внегородских славянских сообществ. Городское вече заговорило земским голосом в XI веке. Старшая дружина оставила торговую площадь. Княжески-боярским государственным средоточием остался кремль.

Разными историческими путями пошли наследники Киевской Руси. Земско-родовое начало воплотилось в Новгородской республике. Государственно-территориальное - в Московском княжестве.

Кризис военно-торговой государственности усилил земские тенденции. Экономически активная, предприимчивая часть новгородского населения взяла на себя княжеские функции по удержанию старых и "примыслу" новых земель. Роль боевого авангарда земской территориальной экспансии XI - XII веков выполнили "ушкуйники" - славянский коррелят дорюриковских варяжских дружин. Присоединение и первичное хозяйственное освоение обширных "пяти" - их заслуга.

Федерация пяти земско-родовых общин обрела республиканскую форму Господина Великого Новгорода к XII веку. В отличие от Киевской Руси, Новгородское государство сформировалось на местной почве. Оно эволюционно вобрало в себя наиболее структурированную часть общества - боярско-купеческую господу. Однако институты публичной власти остались в служебном, подчиненном положении относительно земско-родовых общин. Политическим выражением государственного суверенитета и земского экономического доминирования стало городское вече. Конфискация княжеского землевладения в

пределах республики еще более ограничила властные притязания наемного князя и его дружины. С чужеземной и, вследствие этого, отчужденной от общества частью госаппарата заключался “ряд”, определявший взаимные обязательства сторон. Уникальная в древней российской истории ситуация: государство вступило в договорные отношения с нанявшим его обществом. Конституционный опыт западноевропейских городов адаптировался к российским условиям. Законы Ганзейского союза - “магдебургское право” - укрепились только в Новгороде и Пскове.

Выборная, земская часть исполнительной власти (архиепископ, посадник, тысяцкий, степенная старшина) задолго до Ш.Монтестье исполняла роль конституционного противовеса власти нанятой, договорной. Земское ополчение дополняло наемную профессиональную рать. Внутренний правопорядок обеспечивался органами местного самоуправления. Постоянных государственных повинностей вольные мужи новгородские не несли. Граждански самодостаточное общество обходилось услугами государства.

Республика не проявляла общеземских амбиций, к политическому объединению осколков Киевской Руси не стремилась. Балтийская морская торговля с ганзейскими купцами не требовала такого объединения. Военные экспедиции за челядью (рабами) потеряли свой экономический смысл. В Западной Европе давно не было рабства. Зато существовал устойчивый спрос на сырье и ремесленные изделия.

Новгородские торгово-ремесленные круги в союзе с боярством составили мощный социальный фундамент аристократической республики. В XI - XIV веках вече, в качестве верховного органа непосредственной демократии, ни судом, ни администрированием не занималось. Оно законодательствовало и избирало высших должностных лиц. Как только вече вмешалось в компетенцию исполнительной власти и принялось народоправствовать в сфере, которая противопоказана демократическим процедурам, Республика погибла. Это произошло задолго до несчастного сражения на реке Шелони в 1471 году. Там новгородские ополченцы, с трудом удерживающиеся в седлах, привычными для них “вечевыми криками” заставили командование “удариться на москвичей”. Исход известен: унитарное вотчинное государство одолело удельно-земское. Дружина подмяла “землю”.

Асимметричная родоплеменная федерация через пять столетий возьмет исторический реванш. Ее бессмертный дух витает над Федеративным договором, в 1993 году инкорпорированным в Конституцию РФ.

Удельные свободы и вотчинное рабство

Макс Вебер описал пять системообразующих признаков западноевропейского города: крепость с гарнизоном, рыночная площадь, корпорация с юридическим статусом, независимый суд и органы самоуправления. Великорусские города ограничились двумя первыми системными параметрами. Города-крепости строились как форпосты государственной колонизации финно-угорских лесов.

К середине XII века прагматичная часть ославяненной русской дружины потеряла интерес к заморской торговле. Кочевники перекрыли днепровский караванный путь. Через два столетия порожистую часть Днепра оседлают южнорусские казаки. Они унаследуют древнюю хищническую традицию варяжских дружин, печенегов и половцев.

Под натиском Степи Русь отступила в лесные дебри междуречья Оки и Волги и увела за собой беззащитное перед половцами население. Началась новая эра неравноправных, но уже двусторонних отношений государственного города с неограниченной "землей". В XII веке наивысшей плотностью городов выделилось Ростово-Суздальское княжество Юрия Долгорукого. Новопостроенные им города-крепости (в том числе Москва) представляли собой княжеский домен, в котором не допускалось городского народного собрания и прочих органов земского самоуправления.

Под военным прикрытием переселялись славяне-земледельцы. Переселенцы объединялись не в родовые, а в территориальные деревенские общины. Они подпадали под юрисдикцию русских военно-ремесленных городов. Оптовая торговля осталась княжеской монополией. Политическая зависимость выражалась хозяйственными терминами "тянуть к городу", "тягло". Последнее означало налогооблагаемую хозяйствующую общность "насельников". В тягловых повинностях впервые соединились государственный налог и земельная рента.

В отличие от своих предшественников, ростовские и владимиристо-суздальские князья выступали полными титульными собственниками колонизованной земли. И в этом новом качестве

они приглашали на поселение вольных людей: землепашцев-огнищан, бортников, ловчих, рыбаков, плотников, кузнецов. Государство формировало земские общины под свои хозяйственные нужды. Осуществлялось это на добровольной основе: через договорное соединение земского живого труда и государственных природных ресурсов. Земли было много, людей - мало. Даже к концу XVI века Московское царство, обремененное гигантскими пространствами, насчитывало около 6 миллионов подданных. Для сравнения: население Польши начала XVII века доходило до 12, Австрии - до 20 миллионов человек.

Между XII и XIII веками (в период так называемой удельной раздробленности) на Руси формировалась европейская феодальная система. Появились свободы боярского отъезда и ряда (договора хозяйствования на арендованных землях и княжеской службы). То был средневековый прообраз современных гражданских прав.

Политическая раздробленность страны, условное землевладение и вассалитет составляют неотъемлемые признаки западноевропейской феодальной системы. На российской почве они либо отсутствовали, либо приводили к результатам, противоположным европейским.

Так, условное землевладение (поместная система) появилось в Московском княжестве после покорения Новгорода и массовых конфискаций новгородских земель. За счет этого почти удвоился государственный земельный фонд. Ивану III и Василию III удалось "испоместить" тысячи московских служилых людей, в основном - безвотчинных детей боярских. Земельный кризис, поразивший государство в середине XV века, был преодолен на антифеодальной основе. Через сто лет практически исчезла частная собственность на землю.

Западные конституции как обобщенные формы феодального договора сложились на базе вассалитета. При общей средневековой неразвитости госаппарата, сеть персональных двусторонних договоров внутри элиты являлась приемлемой альтернативой обезличенному правопорядку. Впоследствии она превратилась в соединительные ткани гражданского общества и правового государства. Предусматриваемая в феодальном договоре возможность объективного арбитража при конфликте сторон вызвала к жизни независимый суд.

На российской исторической почве не укоренилась правовая, договорная форма взаимоотношений управляющих и управляе-

мых. Это позволяло государству обременять подданных обязанностями, которые были не уравновешены правами. Частным лицам - давало моральную санкцию на безответственное "казакование". В свободном состязании частные интересы берут верх над государственными. Это один из немногих безусловно срабатывающих законов истории. Личная мотивация сильнее общественной. Слабела в России принуждающая к социальной спайке власть - и люди "брели розно".

Политическое раздробление общей державы Рюриковичей происходило не от умаления прерогатив центральной власти (как в Западной Европе), а от умножения князей - суверенных земельных собственников. Западноевропейский принцип разделения частнособственнического доминиума и публичного империума на Руси не утвердился. Каждый князь был государем своей вотчины и господином земщины (остального слабо контролируемого пространства его политического суверенитета).

На вотчинных землях, управляемых княжеским двором, использовался исключительно труд холопов. Зарубежный спрос на челядь исчез к XIII веку пресечением пути "из Варяг в Греки". Военные пленники накапливались и "исхолопливались", повышая экономическую ценность обрабатываемой ими земли. Княжеский двор, в том числе "путные бояре" - управляющие отраслями княжеского хозяйства, также состоял из холопов, трансформировавшихся в конце XV века в дворян. Последние стали послушным орудием искоренения боярских и земских вольностей удельного периода.

Боярско-земская оппозиция централизаторской политике Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, не поддержанная новыми, не вечевыми городами (Владимиром, Суздалем, Ярославлем, Москвой), потерпела поражение. Только бояре старинного Ростова Великого получили земско-вечевую поддержку. Но владимирцы дружно встали на сторону Всеволода и обеспечили его победу.

В отличие от Англии, в России не сложился союз феодалов и буржуазии. Для него не было экономической основы.

Экстенсивные методы российского хозяйствования, с его древней подсечно-огневой системой земледелия и позднейшим трехпольем, обесценивали землю. Иррациональная система налогообложения препятствовала капитализации природных ресурсов и избыточного живого труда. Капитал существовал более в натуральной, нежели денежной форме. Денежная выручка от торговли шла на уплату налогов. До середины XIX

века русская оптовая торговля сохраняла товарообменный характер.

Буржуазные свободы могли осуществиться лишь на базе феодальных вольностей. И только - в удельный период российской истории. Положение бояр в удельной Руси во многом напоминало современный гражданский статус. Они платили налог там, где находилась их недвижимость. А служили - где хотели. В боярских вотчинах почти не использовался рабский труд. Сохранение древней традиции - права вольной службы - было в боярских интересах. Прибавочный продукт они получали с помощью вольнонаемного труда в виде ренты, как земельные собственники-арендодатели. К слову сказать, в современной России до сих пор не утвердилась рентообразующая налоговая система. Она фискально-конфискационная. Как в XIII - XVIII веках.

Неустойчивое земско-вотчинное равновесие нарушилось в середине XIII века. Монголы громили русские города. Их не интересовали земля и лес. Ордынский "выход" состоял из денег и рекрутов. Общая тяжесть налогового пресса одинаково придавила вотчину и земщину. Однако вотчинный способ хозяйственной деятельности более уверенно обеспечивал сбор дани. Подобно колхозам.

Единицей налогообложения стал двор, как в Китае. Кроме того, взимался десятипроцентный налог с торгового оборота. Только назывался он не НДС, а "тамга". Современная торгово-финансовая терминология имеет отчетливые тюркско-татарские корни: деньги, таможня, казна, пай, книга. В словаре русского земледелия нет и следа тюркско-татарского влияния.

"Сидя на коне, можно завоевать царство. Но нельзя управлять им с седла". Этот совет Елея Чуцина, китайского специалиста по политическому администрированию, адресованный монгольскому хану Хубилаю, дошел и до Золотой Орды. Княжеский военно-административный аппарат резко усилился за счет сокращения прерогатив земского самоуправления. Орда толкала князей к избавлению от вечевых порядков. К XIV веку они сохранились только в Новгороде и Пскове. Публичная государственная функция - сбор дани в пользу Орды - осуществлялась хозяйственным аппаратом княжеского двора.

Условием княжения по ханскому ярлыку стало антиземское поведение, то есть выжимание из населения все больше денег и рекрутов. Наиболее видные "коллорационисты" принадлежали к роду Александра Невского. Победитель шведов и тевтонов

склонился под ордынское ярмо, побратавшись с сыном Батыя. В 1252 году Александр Ярославович во главе русско-татарского войска жестоко подавил антиордынское народное восстание в Суздале и Владимире, в 1257-59 годах - в Новгороде. Его внук Иван Калита в 1327 году с помощью татарского войска и крайне свирепо подавил аналогичное восстание в Твери, поддержанное местным князем. После этого погрома народ так и не оправился, но зато пятьдесят лет, подобно Москве, сохранял политическую лояльность Золотой Орде. До Куликовской битвы 1380 года.

Первым царем, то есть высшим сувереном, на Руси был не Иван IV и даже не Иван III, а Батый. За 150 лет иноземного ига сформировался образ антиземского государя, забирающего все, до чего он в состоянии дотянуться, ничего не давая взамен. Понятие государства, отделенного от личности монарха, сформировалось лишь в начале XVII века, при Петре I. Показательно его обращение к войскам перед Полтавой: "Вы сражаетесь не за Петра, но - за государство, Петру врученное".

Хотя оперативные указы первого русского императора, по словам А.С.Пушкина, "писаны кнутом", власть впервые стала объяснять населению государственный смысл нормативных актов. Из правительственных "Курантов" россияне узнавали, почему нельзя пасти скот на петербургских проспектах и для чего изменен порядок престолонаследия. Диалог подданного с властью, однако, не допускался. У монахов изъяли письменные принадлежности. Запрещалось писать что-либо при закрытых дверях. Нарушитель навлекал на себя подозрения в противогосударственных намерениях. Подметные письма надлежало сжигать, не читая.

При Петре I резко возросла государственная роль доносов частных лиц. По указу 1711 года, каждый (в том числе - крепостной), сообщивший властям о дворянине, уклоняющемся от службы либо учебы, получал в награду его поместье.

Служилое сословие приглашалось образовываться и проникаться государственным сознанием. Но - не допускалось к выработке и принятию политических решений. Взамен дворянская элита получала возможность беспрепятственного обогащения за счет "земли".

Петр I перенапряг мобилизационные возможности вотчинного государства. Его организация оказалась нацеленной преимущественно на войну. Режим постоянных мобилизаций оправдывался обширностью территории, уязвимостью протяженных границ, подвижностью населения, устремленного в поиски

“земли и промысла”. За 36 лет петровского царствования Россия не воевала один год. До 97% государственного бюджета (впервые появившегося при Петре) тратилось на армию. Ее кормлением были заняты две трети рабочего населения. Милитаризация страны надолго подорвала мирные производительные силы.

Петр I продолжил государственную линию Ивана IV. Реформы начала XVIII века скрыли от потомков петровский террор. В руках Петра оказалось намного больше материальных ресурсов: увеличилась степень государственного изъятия национального дохода. Но демографический итог обоих царствований одинаков. На 20% уменьшалась численность народонаселения.

Концепция общества, не сводимого к тягловым и служебным сословиям, стала достоянием русского политического мышления во второй половине XVIII века. При Екатерине II правительство доросло до идеи общественного блага.

Справедливая сила и бессильная справедливость

В современной России попечение о народном благосостоянии - единственно надежный источник легитимности власти. Но массовые представления о “благах для всех” по-прежнему противоречивы и туманны. Густой туман социалистических ожиданий традиционно концентрируется в жидкую кашу уравнительного распределения. Она варится на первобытнообщинном костре реципрокного обмена (от латинского *reciprocus* - возвращать обратно).

Коллективное потребление продуктов архаичного индивидуализированного производства, древней охоты либо неолитического собирательства требовало справедливо распределяющей силы. Делиться с сородичами без внешнего принуждения и заставлял социально безусловный рефлекс реципрокного обмена: даяние возвышает дающего и унижает принимающего.

Организационная возможность отдать якобы больше полученного - фундамент государственного патернализма. Последний осуществим только в условиях монопольной госсобственности на средства жизнеобеспечения. Их приватизация обуславливает цивилизационную трансформацию формы обмена. Он становится эквивалентным. На нем держатся рынок, демократия и свобода. Но - не справедливость.

Историческая неукорененность частной собственности в России приводит к тому, что справедливость по-русски имеет

четко выраженный распределительный характер. На сферу производства она не посягает. Общественное одобрение вызывает передовик производства. Но - до тех пор, пока чемпион выработки не становится чемпионом заработка. В глазах ниже оплачиваемых коллег он превращается в рвача.

Индивидуальный успех члена передельческой крестьянской или посадской общины означал утяжеление тягла остальных. Ответственность по государственным повинностям, разверстанным подушно либо подворно, столетиями оставалась коллективной. Выделившиеся на хутор, убежавшие в казаки, "отбелившиеся" (получившие налоговый иммунитет), применившие технологическое новшество не вызвали общественных симпатий.

Общество не гражданское, то есть не огражденное собственностью, экономически не самодостаточное, распределительной справедливости не обеспечивает. Традиционно - это государственная прерогатива. Мы привыкли к словосочетаниям "хорошее жалование", "большая получка". Менее привычна "заработанная плата". Это уже из новой, рыночной терминологии эквивалентного обмена.

Уместно заметить, что социальные нагрузки слов "работа" и "труд" исторически не совпадают. Первое происходит от "рабити" - выполнять подневольные обязанности. Второе выводится из "трудити" - воевать, добровольно служить. Работа - удел тяглого сословия. Труд - служилого. Но в обоих случаях государство не связывало себя обязательствами адекватной оплаты. "Жаловать своих холопей мы вольны..." - политэкономическое резюме теории трудовой стоимости в исполнении Ивана Грозного.

Потребительское неравенство не обязательно возникает на основе частной собственности. Государство в состоянии уравнивать прогрессивным налогообложением потребительские эквиваленты труда собственника средств производства и наемного работника.

Неравенство экономическое неустранимо политическими средствами. Оно неизбежно порождается разделением и индивидуализацией труда. А это - магистральный путь человеческого прогресса и ... вытекающей из него фискальной прогрессии. В постиндустриальных (информационных) обществах личностная неодинаковость и несопоставимость работников-творцов обеспечивает среднестатистическое возрастание эффективности производства материальных и духовных благ.

Неравное потребление здесь обусловлено технологически. Кому много дается, с того много и спрашивается. Энергетическое напряжение в цепи прогресса создается разностью личностных потенциалов.

“Личность самодостаточна”, - утверждал Николай Бердяев. Гражданское же бытие индивида обусловлено стандартизированной включенностью его в систему обезличенных общественных связей и государственно-правовых отношений. Ибо право - это применение одинакового масштаба к неодинаковым людям. Юридическое и политическое равенство - еще не справедливость, но мощная ее предпосылка.

Демократические революции, сокрушив феодальные привилегии и сословные барьеры, оставили вне корпоративного прикрытия естественные права человека. Отныне они обусловлены не фактом человеческого рождения, а их совместимостью с народным суверенитетом. Демократия породила драматический конфликт права и правления, унесший миллионы индивидуальных жизней во имя счастья абстрактного народа.

Самое справедливое общество равных не в состоянии обеспечить основные права своим членам. Потому что всякое общество строится на приоритете общего перед частным. Уравновешивание частных и общих интересов под силу лишь государству, вышколенному и ограниченному правом. Западная Европа шла к этому равновесию пятьсот лет. Россия вознамерилась проскочить эволюционный путь за пятьсот дней. И, естественно, - влетела в кризис либеральной демократии, основанной на жестком индивидуальном состязании при ослабленном государственном арбитраже.

После краха коммунистической идеологии, имитировавшей единство государственных и народных интересов, обозначилась новая фаза их противоречий. Политическое руководство страны преждевременно попыталось реализовать концепцию “государства - ночного сторожа” (по доктору Людвигу Эрхарду). Результатом стали грабежи среди бела дня. Тотальный контроль сменился беспризорщиной. Государственный патернализм - социальной безотцовщиной. “Большой Брат” - криминальной “братвой”. Подобно своим революционным тезкам, “братишки” предъявляют гранату как мандат. Но, в отличие от исторических предшественников, “караулить не устают”. В кожаные куртки большевистских комиссаров оделись рэкетеры: экспроприаторский реквизит, униформа для реквизиций. Метла и песья голова, некогда притороченные к седлу опричника, ныне

спрятаны в багажнике чуть ли не каждого “шестисотого” мерседеса. По историческому провидению Максимилиана Волошина, “тот же ураган на всех путях”. “Эх, эх, без креста”, - рецензировал “музыку революции” автор “Двенадцати”, “И на груди молодецкой крест просиял золотой”, - констатировал Николай Гумилев. “...Общим весом, вместе с золотой нагрудной цепью, до полукилограмма”, - читаем в уголовной хронике.

В конце XVIII века “революция в умах” (Вольтер, Руссо, Д’Аламбер, Кондорсе, Дидро) противопоставила индивидуальные ценности государственно-общественным. Равенство в правах пришло на смену сословно-корпоративным привилегиям и государственной иерархии. Свобода мысли - религиозному догматизму. Экономическая конкуренция - цеховой регламентации. Поиск личной выгоды - идее феодальной службы.

75 лет назад профессор медицины Преображенский описывал бытовую симптоматику потрясения основ словами “разруха в головах”.

Социальная энтропия, угрожающая дезинтеграцией охранительных структур, представляется неизбежной платой за индивидуальную активность. Критическими автоколебаниями расплачивается система за непараметрическое снижение властного регулирования. Порядок информационно беднее смуты, космос скучнее хаоса. “Век двадцатый - век необычайный. Чем он интересней для историка, тем для современника печальней” (Н.Глазков).

Согласно исторически подтвержденной теории Герберта Маркузе, общество, основанное на неограниченном рыночном состязании, обречено на фрустрацию. Казалось, ничто не предвещало “революции маргиналов” 1960-х годов в экономически процветающих странах. Подъем общего уровня жизни ослабил социальное напряжение и перевел в ненасильственные формы классовую борьбу. Всеобщей стала приверженность к демократии, плюрализму и политической свободе. Тем не менее разразились студенческие бунты в Беркли, Сорбонне, Берлине, протестные выступления хиппи, гошистов, феминистских организаций. Они поколебали устойчивость технократии. Роль “человека потребляющего”, пока еще массово привлекательная в современной России, уже не устраивает западных аутсайдеров прогресса.

Имущественное неравенство не разрушает общественную стабильность до тех пор, пока способствует общему подъему

производительных сил и среднего уровня массового благосостояния. Однако кризис ускоренной модернизации обычно наступает на пике экономического подъема. Так было в России в конце XIX - начале XX века, в Германии - в середине двадцатых годов нынешнего столетия, когда катастрофически столкнулись интересы среднего класса и экономической олигархии. Маргиналы выполнили роль детонатора вакуумирующего взрыва, освободившего от репрессивных запретов “фундаментальные инстинкты масс”. Тоталитарные политические режимы установились руками благонамеренных и законопослушных граждан.

Современная российская олигархия выросла на почве феодального “огораживания” и капитализации государственной собственности. Власть немногих, по определению, антитоталитарна. Она привержена либеральным ценностям. Однако регулярные процедуры непосредственной демократии все отчетливее выявляют авторитарный вектор массовых предпочтений. В этом состоит колоссальный риск переходного периода, переживаемого Россией. Чаша исторических весов колеблется.

Российская Конституция 1993 года, скроенная “на вырост”, утверждает либеральный приоритет частного перед общим. Подобно “Этике” Канта, “Духу законов” Монтескье, “Наказу” Екатерины II, царским освободительным Манифестам 1762 и 1861 годов. Не совсем правовому государству предстоит долгое пестование граждански не зрелого общества. И - в ответ - подвергаться общественной выучке.

Запоздавшая модернизация эффективна только в ускоренной форме. Пропасть преодолевается одним прыжком. Его длина определяется начальным ускорением. Неизбежное сопротивление традиционалистских слоев населения не одолеть эволюционной адаптацией нового вина к старым мехам.

Среди “катастроф прогресса” наиболее опасна та, что превышает критическую массу аутсайдеров успеха. При неразвитости российских корпораций, он может быть только сословным. Наилучшие стартовые возможности в постреформационном рыночном состязании дает близость к основным материально-ресурсным, денежным потокам.

Модернизационный порыв вовлекает российскую номенклатуру в капитализацию государственной собственности. Сословно-статусная система превращается в классовую. В чем их принципиальное отличие? Классовая дифференциация обусловлена экономически, сословная - юридически. Основной

классовообразующий признак - отношение к собственности на средства производства. Конец XX века в России характеризуется трансформацией условного бенефиция (феода) в безусловный аллод. Сеньориальное право владения дополняется буржуазным правом пользования и распоряжения. Возрождается античное понятие полной собственности. Юридическое лицо становится субъектом ответственного хозяйствования, подчиненного не указаниям сверху, а гражданско-правовым отношением письменного договора. Верхи нарождающегося третьего сословия (нотабли) переваривают в своей среде партийно-хозяйственный нобилитет (номенклатуру).

Российские преобразования конца текущего столетия с трудом поддаются западноевропейской цивилизационной атрибуции. Исторические параллели столь же продуктивны, сколь и рискованны. Потому что - как справедливо замечал Ю.Лотман - позади все закономерно, впереди все непредсказуемо.

В России заканчивается Долгое Средневековье, если воспользоваться исследовательской терминологией французской школы "Анналов".

Общественно-государственная система европейского Средневековья за полтора тысячелетия прошла три этапа: *ordo conditio-etat* (сословие - положение - состояние). Если *ordo* (клирики и миряне) определялось церковью, *conditio* (благородные и неблагородные) зависело от государства, то *etats* формировались по социально-профессиональному признаку.

Вертикальная солидарность феодалов, основанная на верности низших высшему, сменяется горизонтальной солидарностью горожан, политически равных внутри городских стен. Буржуазный договор противопоставляется феодальной присяге. Первый был письменным и правовым, вторая - устной и ритуальной.

Вассал вкладывал свои сомкнутые ладони в руки сеньора и произносил слова "сир, я становлюсь вашим человеком". Давалась клятва верности. Передача феода осуществлялась во время церемонии инвеституры символическим актом вручения какого-либо предмета, хотя бы - клока соломы. Улавливается сходство с недавними массовыми партийно-советскими ритуалами.

Феодализм был эпохой жеста, капитализм актуализировал письменное слово.

Этос рыцаря - персональная верность, этика буржуа - справедливость обезличенного эквивалентного обмена. Первый способствовал политической устойчивости, вторая обеспечивает экономическую эффективность. Структурная статика и системная динамика уравновешивают друг друга.

Скупой рыцарь - литературный оксюморон. Но его нетерпеливый сын - пугающая банальность российских модернизаций.

И.Б.Чубайс

ОТ РУССКОЙ ИДЕИ - К ИДЕЕ НОВОЙ РОССИИ

В газетах и журналах, на радио и телевидении продолжается дискуссия о новой российской идее. Стремление открыто разобраться в сложных социальных вопросах - это показатель, пусть первый, скромный, но реальный, того, что общество начинает выходить из тяжелейшего полисистемного кризиса.

В этом контексте особого уважения заслуживает инициатива журнала "Этика успеха", самостоятельно организовавшего своеобразный конкурс концепций российской национальной идеи. Автор настоящей статьи является одним из участников общественной дискуссии. В данной работе он излагает свои новые результаты и предложения. (Более подробно концепция представлена в нашей книге "От Русской идеи - к идее Новой России", М., 1997, 2-е издание.)

В чем заключается проблема и какие ее решения предлагаются

Наступивший после августа 91-го долгожданный крах коммунистической идеологии, который десятилетиями подготавливали диссиденты, а затем и общественно-демократическое движение периода перестройки, приветствовало все российское общество. Всем нам было уже не по силам "с честью нести", "теснее сплачиваться" и "достойно встречать"... Однако чувство освобождения постепенно начало сменяться чувством беспокойства. Отжившие, фальшивые и уродливые правила жизни, к счастью, исчезли, но взамен не появилось никаких новых регуляторов. Общество очень быстро оказалось в

ситуации беспредела и смуты, также непригодных для нормальной жизни, как и жестко-тоталитарное безвременье. Собственно говоря, еще в 70-е годы комидеологи часто повторяли звучавшую тогда издевательски, но, в сущности, совершенно справедливую формулу: “демократия - это вам не вседозволенность”. И сегодня, видя все происходящее, хочется повторить: “вседозволенность - это вовсе не демократия”.

Итак, разрушение лживых правил порождает новую проблему - как сформулировать правила истинные и откуда их взять? Уже на стадии идущей в обществе и в средствах массовой информации дискуссии о новой системе ценностей начинается разногласия. Некоторые участвующие в полемике авторы утверждают, что никакая новая идеология обществу вообще не нужна (Д.Лихачев, А.Нуйкин, Л.Тимофеев).

Лично для меня ясно и то, что идеи, навязанные обществу силой, совершенно неприемлемы, и то, что ценности, органично вырастающие из логики отечественной истории, из ткани российской культуры, не просто полезны и жизнеспособны, но абсолютно необходимы. Замечу также, что сплывающие правила отличаются не только названиями, например, “комидеология”, “американская мечта” или “русская идея”, но и принципиальными несовпадениями в строении, функционировании, генезисе.

Продолжая обоснование необходимости перехода к новой системе ценностей, зададимся вопросом: чем общественное объединение отличается от совокупности физических объектов? Социальная общность - это не просто сорасположение биологических организмов, но обязательно общие культурные правила и ценности. Если сплывающая идея разрушается - общность начинает распадаться. Применительно к государству, распад - это лишь начало процесса, связанного с утратой собственной идеи. Завершается деградация тем, что народ распадается на подгруппы, которые подпадают под влияние других более энергичных этносов с более сильными собственными идеями и ими ассимилируются. Поэтому всякий жизнестойкий народ заботится о сохранении своего идейного духовного здоровья.

Роль высших сплывающих ценностей, или их отсутствие, особенно проявляется в периоды общественных кризисов. В истории нашей страны было немало войн, но всякий раз на поле брани выходили воины, готовые стоять до последнего и даже

жертвовать собой, потому что они отстаивали хорошо им понятные высшие идеи - веру, царя, отечество; Родину.

Совсем недавно все мы оказались свидетелями страшной чеченской бойни. Война продолжалась два года, погибли десятки тысяч человек, но общество так и не получило ясного ответа на вопрос - за что, за какие идеи сложили головы российские парни. Принесение себя в жертву во имя высших целей - это гражданский подвиг, но утрата жизни без цели и без смысла - самая большая трагедия, с которой может столкнуться человек... Справедливо и более общее утверждение - если бы в современной России была сформулирована и осознана новая система ценностей, война на Кавказе была бы невозможна, поскольку она входит в противоречие с этой системой.

Использую, наконец, еще одну цепь аргументов, чтобы показать необходимость принятия новой российской идеи. В психологии и социологии принято употреблять термины "идентификация" или "самоидентификация". Каждый человек имеет вполне определенное представление о самом себе - о своей профессии, возрасте, поле, родном языке... Если на минуту допустить, что кто-то потерял идентификацию, забыл кем он является, то человек не сможет ничего делать, ибо всякая деятельность есть реализация своей самости, своей самоидентификации. Это справедливо по отношению к отдельному человеку, к социальному объединению, к государству в целом. Внешнеполитические "шараханья", неясности с концепцией национальной безопасности, размытость экономической стратегии связаны с отсутствием у современной России самоидентификации.

Итак, мы снова пришли к выводу о необходимости ясно сформулировать свои цели и задачи, высшие ценности и идеи, о необходимости идентификации. Но здесь возникает новый вопрос - откуда, каким путем можно получить такую идею? Сначала остановимся на некоторых из представленных в развернувшейся общественной дискуссии подходах.

Пожалуй, наиболее тревожной представляется попытка сохранить отсутствие всяких норм и правил. Год назад (почему не три и не пять лет назад?) российский Президент публично призвал найти новую идею для страны. Известно, что на правительственной даче в подмосковном Волынском работает целая команда идеологов, однако как-либо информировать о результатах своей деятельности они категорически отказываются. Как видно, во властных структурах есть влиятельные

группы, уверенные в том, что лучше ловить рыбу в мутной воде, нежели принимать прозрачные и ясные для всех нормы и правила.

Известную резвость проявляют некоторые политические игроки. В марте этого года в Госдуме прошли парламентские слушания по обсуждаемой нами проблеме, организованные депутатским активом ЛДПР. Основные тезисы, звучавшие в большинстве выступлений, сводились к следующему: отсутствие спланированных принципов порождает кризис; абсолютное большинство населения страны - русские; провозгласив концепцию национального эгоизма, по существу, придав русским жандармские функции, можно сплотить и интегрировать государство (в рамках общероссийских социологических исследований более 80% респондентов высказываются против подобных парламентских проектов). Стоит ли подробно обосновывать почти очевидное - подход с позиций неправильно понятых сиюминутных политических интересов не только не разрешит, но может усугубить существующие проблемы.

Вслед за уже упоминавшимся выступлением Б.Н.Ельцина интересующая нас тема оказалась в центре внимания ряда газет, телевидения и радио. Однако эффективность проходящего обсуждения крайне невелика. Похоже, что власти "вбросили" в общественное мнение с виду незамысловатую задачку, и многие любознательные авторы охотно принялись ее разрешать. Если в советские времена в любой вопрос - от освоения космоса до искусства балета - вмешивались идеологи и объясняли, как надо действовать, то нынешняя ситуация как бы зеркальна - в профессиональный философско-культурологический вопрос вторгается всякий желающий и объясняет как именно надо поступать. Едва ли не все участники дискуссии исходят из того, что идея Новой России, система высших ценностей - это вопрос, решаемый на уровне здравого смысла. Почему бы не объявить Россию страной благочестия - говорят одни, нет, лучше страной успеха - предлагают другие... Спор продолжается.

Как известно, четыре века назад Коперник был единственным человеком, утверждавшим, что не Солнце вращается вокруг нашей планеты, а Земля движется вокруг светила. Через несколько столетий подход Коперника стал все же общепринятым - потому, что вопрос движения космических тел не решается с позиций общественного мнения. Но также сугубо научной является проблема трансформации системы ценностей

- она может быть решена лишь в рамках специального социо-историко-философского исследования. Правда, надо подчеркнуть, что результаты подобного исследования могут стать социально значимыми лишь после их широкого и свободного общественного обсуждения.

Для того, чтобы предложить систему ценностей, действительно приемлемую и естественную для новой России, необходимо обратиться к прошлому страны. Надо вспомнить, что наше государство является одним из старейших на планете - его история превышает 12 столетий. Имеет большое значение и то, что нынешняя Россия - это, по существу, третье государство на нашей территории. Более 11-ти веков насчитывает история Российской империи. (Конечно, Киевская Русь или Русь периода татаро-монгольских поборов не тождественны Российской Империи 19-го века. Однако здесь все же можно говорить о развитии, хотя и не линейном, единых взаимопереходящих принципов и начал.) Это государство имело свой гимн, флаг, герб, своеобразную политическую организацию, а главное - свою спланированную русскую идею. Продолжительным с точки зрения жизни отдельного человека, но ничтожным в историческом масштабе было семидесятилетнее существование Советского Союза, со своей особой госсимволикой, комидеей и комидеологией. На наших глазах и при нашем участии формируется некое третье Российское государство - без гимна, с непрерывно оспариваемыми гербом и флагом, с нечеткой системой управления, без общей идеи, но с дискуссией о том, нужна ли она и какой может быть. И прежде чем выяснить, в чем состоит идея Новой России, надо, поняв, что сегодня нам необходима глубокая, демократическая, гражданская дискуссия о нашем прошлом (лишь разобравшись в том, что с нами произошло и куда нас завели, можно начать искать правильный выход), выяснить,

Что такое русская идея и можно ли к ней вернуться?

Термин "русская идея", как известно, был введен Ф.М.Достоевским, позднее использовался крупнейшим отечественным философом В.С.Соловьевым, а затем и многими другими российскими мыслителями. Отчасти из-за многоликости и разноплановости смыслов сегодня не удастся предложить единое общепризнанное толкование русской идеи. Причем некоторые современные авторы даже приходят к выводу, что интересующий нас термин вообще не имеет никакого реального

содержания. Другие участники нынешней дискуссии утверждают, что понятие “русская идея” слишком тонкое и сложное и потому определять его не следует. Хочу обратить внимание на серьезную опасность такого подхода. Я уже писал, что современная система ценностей должна вытекать из предыдущей. Но если ключевое понятие не определяется, возникает возможность произвола.

Для того чтобы разобраться в этом понятии, попробуем проникнуть в самую ткань российской культуры, выполнив, так сказать, философско-археологическую работу. Наряду с анализом высказываний русских философов, я проделал еще три взаимодополняющих исследования: проанализировал всю отечественную историю с VIII века до начала XX века (опираясь, прежде всего, на работы С.Соловьева), контент-анализом исследовал более 1000 поговорок из сборника В.Даля; наконец, проанализировал (метод анализа семантического поля) написанные в XIX веке отечественные стихотворения с названиями “Русь”, “К Родине”, “Родина” и т.п.

Сравнив и сопоставив полученные результаты, я пришел к выводу, что наш народ и наше государство на протяжении многих столетий спланивали три основных идеи - собирание земель, православие и общинный коллективизм. Так было в XIV веке, когда Иван Калита только начал прикупать и присоединять земли к Московскому княжеству; в XVII веке, когда во времена Смуты народное ополчение, собравшееся под православными знаменами, изгнало поляков из Кремля; в 19-м столетии, когда абсолютное большинство русских людей жило в общинах и благодаря взаимовыручке и поддержке могло заниматься земледелием в наших сложных климатических условиях. Однако к середине и, особенно, к концу XIX века все эти интегрирующие начала оказались в шатком состоянии. Страна вошла в полосу идейного кризиса, и именно поэтому наиболее глубокие отечественные мыслители заговорили о проблеме русской идеи.

Кризис заключался в том, что собирание земель, имперская политика, работавшая половину тысячелетия, в конце концов себя исчерпала. Непрерывно продвигаясь от стен Кремля, наши предки дошли до финских лесов, снегов Аляски, среднеазиатских оазисов. Но новые присоединения к середине XIX века стали невозможны, ибо мы вошли во взаимодействие с народами, утвердившимися в своих собственных идеях и не желавшими вставать под наши знамена. Православие из единой общенациональной религии, начиная с XVII, XVIII веков

постепенно превращалось в одну из конфессий, ибо в состав государства вошли мусульмане, буддисты, католики... Статус православия как главной религии мог работать на разрыв страны по конфессиональному признаку и необходимо было очень тонко и умело вписать православие в российское многоконфессиональное пространство. К началу XX века исчерпал себя и общинный коллективизм. Появились новые агроприемы, технологии, техника, семена, что значительно повышало производительность сельского хозяйства и позволяло перейти от опоры на деревенский коллектив к опоре на отдельную семью. Началась столыпинская реформа и расселение из деревни на хутора.

Кризис русской идеи породил энергичный поиск новых решений, активизацию экономической, политической, творческой и, собственно, всей общественной жизни. Запоздывание с разрешением кризиса было глубинной причиной общественных потрясений, охвативших Россию в эти годы. Находясь на крутом идейном переломе, на самом сложнейшем историческом вираже, великая держава дополнительно усложнила свое положение, вступив в кровавое противостояние первой мировой войны.

В сложившихся обстоятельствах захват власти большевиками не был случайностью: в стране, где максимально обострены все социальные противоречия, протест может выливаться в самые неожиданные формы. Важно подчеркнуть, что рецепт, навязанный большевистскими лекарями, был для России противопоказан - он нарушил всю тысячелетнюю логику, весь внутренний уклад и закон развития государства.

Уже говорилось, что собирание земель себя исчерпало и российская государственная стратегия с начала XIX века постепенно трансформируется с учетом этого обстоятельства. Разгромивший армию Наполеона Александр I освободил, но не захватил пол-Европы; проведя свои войска победным маршем по Парижу, он затем вернулся домой. Последние территориальные присоединения Россия сделала в середине XIX века на Кавказе и в Средней Азии. Однако большевики, придя к власти, провозглашают идею мировой революции, создают мировое коммунистическое движение, постепенно окрашивая треть планеты в красный цвет. Такая политика противоречит внутренней логике развития страны, и через 50-70 лет все, насильственно соединенное, разваливается - скоропостижно умирают компартии, распадается нерушимый соцлагерь, исчезают КПСС и сам Советский Союз.

Придя к власти, ленинцы нанесли страшный удар и по другой составляющей русской идеи. Они не стали содействовать поиску общего языка между православием, исламом и буддизмом. Удар был нанесен по всем существовавшим конфессиям. Даже татаро-монголы не посягали на православные храмы и монастыри. Большевики заставили всех верить только одному Богу - коммунистическому, физически уничтожив несколько сот тысяч священнослужителей, закрыв и разрушив более 90% церквей.

А что с общинным коллективизмом? Он, выраставший снизу, из самой нашей почвы, был заменен на советский коллективизм, насаждаемый сверху. Каждый советский человек почти всегда находился в коллективе - трудовом, военном, учебном и, значит, был под контролем государства. Если русская общинность и соборность - сфера свободного выражения духа, то советский коллективизм - это устройство для подавления и контроля.

Для того чтобы выжечь русскую идею и заменить ее комидеологией, партии Ленина-Сталина пришлось развязать неслыханный, невиданный в истории террор. Сопrotивление большевистскому давлению было огромным. Так называемый "социалистический выбор" стоил России дороже, чем победы во всех проходивших с ее участием войнах. Власти уничтожили 50, а то и 100 миллионов собственных граждан (официальную цифру до сих пор не называют!).

Объективный научный анализ того, что случилось с нашей страной, нам всем еще предстоит сделать. Здесь я попробую уточнить лишь несколько ключевых понятий эпохи социалистического строительства. Прежде всего, представляют интерес термины "коммунистическая идея" и "коммунистическая идеология". Правда, с комидеей, кажется, все понятно - это набор сугубо положительных ценностей, таких, как власть трудящихся, социальная справедливость, отсутствие эксплуатации, отмирание государства и т.д. Уверен, что и сейчас многие противники КПСС готовы под ними подписаться. А тайна совдепии спрятана во втором ее важнейшем понятии - комидеологии.

Хотя еще недавно слово "идеология" было у нас одним из самых употребляемых, найти его вразумительное определение невозможно. Тем более стоит разобраться - что это за химера? Если коротко, то ответ заключается в следующем. Маркс, Энгельс, другие социалисты и коммунисты весьма негативно относились к идеологии, видя в ней ложную, искаженную картину мира. Разработчиком комидеологии стал В.Ленин. Дело в том,

что, провозглашая коммунистические идеи (земля - крестьянам, фабрики - рабочим...), вожди РКП никогда не собирались их реализовывать. И потому перед ними сразу же возник вопрос - как сделать так, чтобы не оказаться уличенными во лжи, не быть схваченными за руку? Для этого и была нужна идеология как совокупность мер, приемов, технологий, обеспечивающих поддержание коммунистического мифа. Идеология предполагает недопущение какой бы то ни было свободной информации из некоммунистических стран (система глушения, железный занавес и т.д.), пресечение всякой независимой информационной деятельности внутри страны (самое опасное преступление советских времен - самиздат), огосударствление, цензурирование всей циркулирующей внутри страны информации. Тех же, на кого и эти приемы не действовали, кто не собирался верить в коммунистический миф, власти изолировали и вскоре превращали в лагерную пыль. Структуры ЧК-КГБ - составные части огромного номенклатурно-идеологического механизма. Неверен традиционный советский миф о том, что Сталин преследовал невиновных. Цель этого мифа - представить активный, деятельный, сознательный народ пассивным и инертным населением, а произошедшее - досадным недоразумением. Да, перед Россией жертвы сталинизма ни в чем не виноваты, но перед номенклатурно-тоталитарным режимом виновны, ибо в той или иной форме сопротивлялись и не принимали вдалбливаемую официальную идеологию.

Как видно из сказанного, коммунистическая идея и коммунистическая идеология несовместимы друг с другом. Сам факт существования идеологии указывает на то, что в СССР не было никакого социализма. Нынешняя критика социализма и коммунизма некоторыми демократически мыслящими публицистами - это стрельба по светомаскировке, по миражу и мифу. Проблема не в том, что социализм плох или хорош, а в том, что в СССР уровень эксплуатации был значительно выше, чем в странах Запада (по Марксу, суть социализма в том, что это первая в истории формация без эксплуатации). О том, что власть находится в руках трудящихся, сами трудящиеся узнавали только благодаря отлаженной работе идеологической пропагандистской машины... На самом деле вся жизнь страны контролировалась узким слоем высшего чиновничества, существовал номенклатурно-тоталитарный строй, выдававший себя за государство развитого социализма. И разбираться нам нужно не с Марксом (некоторые его идеи весьма удачно

реализованы в странах Западной Европы), а с самовоспроизводящимся, неподотчетным и неподконтрольным обществу номенклатурным слоем - номенклатурный механизм продолжает работать по сей день, теперь уже без комидеологии. Жизнь под гнетом советского тоталитарного пресса была тяжелейшим испытанием для нашего народа. Взять что-либо из этого периода в будущее невозможно. Во всем этом нам еще предстоит основательно разобраться - вот почему стране так нужна гражданская дискуссия.

К идее Новой России

Из сказанного следует, что сформированная нашими предками и много столетий работавшая на наше общество и государство русская идея оказалась к концу XIX века в кризисном состоянии, а предпринятая большевиками попытка найти решение завела страну в еще более страшный и трудно преодолимый лабиринт. Наша задача - найти из него выход.

Рассмотрим два основных принципа из целостной ценностной системы новой России, полученной нами в ходе проведенных исследований. Я уже показал, что деятельность комвласти означала разрыв внутренней логики развития России. Главная причина произошедшей с нами в XX веке Катастрофы - насильственное разрушение историко-культурной традиции страны. Потому прежде всего необходимо придать особую роль истории России, утвердить своеобразный культ, пафос истории отечества. В сознании граждан, в мышлении россиян необходимо восстановить связь с собственными корнями, с собственным прошлым. Россия является сегодня в некоторых отношениях разделенной страной. Но разделена она не так, как Корея или прежняя Германия - в пространстве, наша страна прежде всего разделена во времени. И потому продолжавшееся семь десятилетий существование во "вне-изме" необходимо преодолеть.

Как это сделать и что это даст? Начинать можно с издания для самых маленьких серии "Моя первая книжка по истории Родины"; каждый, кто работает в управлении, образовании, культуре, тоже должен получить живую и умную книгу об истории страны - пусть она станет настольной. Государство может организовать конкурс на подобные издания, причем конкурс с широким общественным резонансом. Все наши школы, будь то с физическим, биологическим или языковым уклоном, могут стать

еще и школами с историческим уклоном. Необходим регулярный телецикл по истории России.

Разрыв в истории страны усугубляется разрывом в праве. Нынешнее государство объявило себя правопреемником СССР, но правопреемства с Российской Империей не существует. Конечно, многое утрачено: скажем, настаивать на реституции уместно лишь в редких, единичных случаях. Признать внешние долги Империи можно уже сейчас, но возвращать их следует тогда, когда возникнут соответствующие экономические предпосылки. Уместным, оправданным, естественным шагом стало бы обеспечение необходимых условий для возвращения семьи Романовых в Россию и придание этой семье особого статуса. Эти люди, сохранившие верность Родине в долгие годы изгнания и коммунистического лихолетья, являются самым зримым подтверждением возможности восстановления российской исторической традиции.

Что даст восстановление исторической преемственности? Оно сделает наше поведение солидным и достойным. Мы не будем напоминать великовозрастного детину, повторяющего, как малое дитя, чужие глупости. Заимствовать надо лишь то, чего у нас нет, но опыт, накопленный предками, должен быть востребован. Знание истории порождает особый механизм социального контроля. Кем бы человек ни работал - чиновником или педагогом, строителем или военным служащим, у него возникнет чувство исторической гордости и исторической ответственности, а это несоизмеримо выше, чем ответственность перед формальным и бездушным госконтролем.

Знание истории восстановит нашу самоидентификацию, поможет осознать то, откуда мы вышли и кем являемся. Поведение общества и власти будет более продуманным, осозанным и обоснованным. Между тем особое внимание к отечественной истории - лишь один элемент новой ценностной системы. Да и говорилось уже, что русская идея попала в кризисную полосу. Восстановив историю, не вернемся ли вновь к кризису? Мысленное возвращение к истории, к тому месту, в котором произошел разрыв, - первый важный шаг, после которого необходимо найти правильное решение проблем, возникших в период кризиса. Причем такое решение должно учитывать не вчерашний, а нынешний опыт, сегодняшней и завтрашний уровень знаний и представлений.

Как в таком случае должна трансформироваться идея экспансии, имперская политика? Надо иметь в виду, что стадию

внешнего, количественного роста проходит большинство встречающихся в природе и культуре систем. Скажем, всякий ребенок рождается на свет младенцем и затем проходит стадию бурного количественного развития - увеличиваются рост, вес, объемы... К 20-ти годам внешний рост замедляется и начинает преобладать внутренний, качественный рост. Совсем иные системы, например, европейские государства, в частности, Дания, Швеция, также осуществляли разного рода территориальные захваты, но примерно два столетия назад этот процесс прекратился.

Россия с начала 19-го столетия переходит к стадии внутреннего качественного роста. Эта тенденция была роковым образом прервана после большевистского захвата страны, но сегодня у нас, может быть, последний шанс вернуться к стратегии обустройства. Нам необходим внутренний качественный рост, пришло время интенсивного развития, время "собирать камни". Переход к такой программе означает серьезное структурно-функциональное изменение государства, требует другой внешней и внутренней политики, другого бюджета, иных изменений в менталитете, в отношении ко многим жизненным реалиям.

Переход к обустройству означает и другую внутреннюю стратегию. Главное здесь - создать атмосферу, при которой человек - и тот, кто работает в сфере предпринимательства, и тот, кто занимается творческим поиском, - будет чувствовать себя свободно и уверенно. Существует проверенная формула: если нечего дать - дай свободу. Между тем экономическая активность деловых людей наталкивается на все известные препятствия - чиновничий беспредел, фантастические налоги, отсутствие правовой базы, рэкет и т.д. Все это загоняет предпринимателей в тень. Между тем расчеты серьезных экономистов показывают: снижение налоговых сборов до 3-5% и создание соответствующих правовых гарантий обеспечит ежемесячный приток в Россию 15 млрд долларов инвестиций. (Политика нынешних руководителей привела к тому, что долг государства западным кредиторам приблизился к 150 млрд долларов и примерно 20 млрд - ежегодно перетекает из страны за рубеж.)

Расставляя вехи на новом пути, необходимо иметь в виду и следующее обстоятельство. Православие было в России больше чем религией - образом жизни, общекультурной традицией. Главное, что несло с собой российское христианство, это нравст-

венность и духовность. Можно и не быть церковным человеком, но если указанные ценности являются для вас важнейшими, то вы выступаете носителем отечественной культурной традиции. Верно и другое - попытки сформировать у нас "гомо экономику-са", человека потребляющего, стремление вестернизировать Россию не могут сделать людей счастливыми. Совершенно ясно, что достаток и благосостояние - необходимые условия человеческой жизни, но они не являются для нас самыми главными. Как подметил А.Солженицын, герои западной литературы борются за деньги, славу, карьеру (и в этом нет ничего плохого - И.Ч.), а герои нашей - за нравственность и справедливость.

Из сказанного вытекает ряд теоретических и практических следствий. В частности, бюджет страны должен формироваться таким образом, чтобы развивались образование, культура, наука, искусство, конфессии. Для качественного роста приоритетны также здравоохранение, транспорт, коммуникации, строительство. Не по себе становится при мысли, что 30% всех бюджетных средств сегодня уходит на МВД и, думаю, не меньше - на содержание чиновничества. Такое финансирование не возрождает и не консолидирует, но изнуряет и изматывает государство и общество.

Переход к стратегии обустройства - это не только новые требования к властям, меняться предстоит и нам самим. Ведь и сегодня мы часто действуем не задумываясь о будущем, по принципу - скорей, скорей, таяп-ляп, только бы пронесло. А бежать-то куда не надо, мы находимся у себя дома и здесь останемся, а все, что сделаем, передадим детям и внукам. Мы должны обустроить свою собственную землю. И если бы мы не убегали туда, где лучше, "где нас нет", то сами стали бы лучше. И если бы не прятались в себя, а встали в полный рост, то смогли бы обустроить все вокруг - и свои квартиры, и лестничные клетки украсили бы цветами, и лифты избавились бы от знакомого всем горожанам запаха. И участки перед домами покрылись бы аккуратным зеленым газоном. А потом и улицы, и города. Ведь наш Храм - Россия.

Пять веков наши предки занимались собиранием земель, семьдесят лет под гнетом тоталитарной власти Россия теряла себя. Сегодня последний шанс вернуться к себе и продолжить прерванный путь.

А. В. Рубцов

ИДЕЯ ДЛЯ РОССИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА

Прежде чем что-либо делать или искать, считается правильным сначала определить, чем, собственно, мы занимаемся.

Однако в чистом виде это не всегда получается даже в науке. Тем более это с трудом реализуется в обычной жизни. Если воспользоваться одной экстравагантной, но выразительной формулировкой, здесь это получается «крайне редко, чаще всего никогда».

Таким образом, в поиске «национальной идеи» (а это, по-видимому, в большей степени ситуация житейская, нежели теоретическая) нам приходится иметь дело с типичной итеративной процедурой. Задача одновременно и решается, и формулируется, уточняется. Предмет доопределяется в процессе работы. Идет постоянная взаимокоррекция креативного процесса и рефлексии над ним.

Но для этого крайне важно удерживать в поле зрения процесс в целом, суммарный (хотя и промежуточный) результат одновременно и «сочинения», и «критики».

Этой объемной и в чем-то неблагодарной работой занимается, в частности, Центр междисциплинарных исследований идеологии, публичной политики и общественного сознания «Волхонка, 14» во взаимодействии с Группой консультантов Администрации Президента Российской Федерации. Речь идет о формировании, обработке и анализе массива текстов, посвященных поиску национальной идеи, о выработке понимания, как такого рода процессы развиваются, какими обстоятельствами могут быть обусловлены их особенности, в каких случаях такого рода работа может оказаться эффективной или хотя бы не вредной. Дальнейшее изложение базируется на предварительных результатах такого анализа.

* * *

Принципиальная позиция здесь - отношение к анализируемой интеллектуальной, литературной продукции не как к конкурсу, призванному определить победителя (то есть сугубо авторский вариант Идеи), а как к большой совместной работе, в ходе которой мы все вместе приближаемся (или не приближаемся) к

обозначенной цели. Это не прихоть исследователей, а фундаментальная установка, основанная на определенном понимании идеологической ситуации в обществе и на представлении о том, как поставленная задача могла бы быть решена в принципе - если не оптимальным, то хотя бы не самым позорным и опасным для общества и для самого проекта образом.

Более того, эта установка вытекает из определенного понимания предмета.

Строго говоря, термин «национальная идея» является не самым удачным, а в ряде отношений, возможно, и самым неудачным. Особенно когда эта формулировка провоцирует обсуждение проблемы в духе «национального вопроса», в преимущественно этнических контекстах и т.п.

Но даже в более широкой трактовке этот термин для многих задает необязательные, а то и просто неадекватные ограничения. Нередки ситуации, когда при обсуждении каких-либо вариантов, вполне могущих оказаться продуктивными, реакция бывает примерно такая: все это очень мило и интересно, но не имеет отношения к собственно «национальной идее». При этом, как правило, никакого определения «национальной идеи» не дается, но интуитивно подразумевается, что это нечто известное, по крайней мере, для «специалистов».

В то же время существуют и уже задействованы более мягкие варианты: «общенациональная идея», «идея для России» и т.п.

Первый вариант задает принципиально важный акцент: речь идет об Идее, которая была бы «общей», приемлемой «для всех», - то есть для большинства населения, независимо от политических (тем более партийных), этнических, конфессиональных, стратовых и т.п. ориентаций и принадлежностей. Идеи, сплывающие и мобилизующие отдельные группы, но раскалывающие общество в целом, в данном случае заведомо неприемлемы.

С этим легко согласиться на словах, но крайне трудно реализовать на деле. Особенно если эту установку применять жестко и последовательно в каждом конкретном случае. Ограничения оказываются настолько серьезными, что создается впечатление, что работать уже просто не с чем.

И наоборот, принятие этих ограничений сплошь и рядом наводит на формулы и концепты, которые, будучи приятными во всех отношениях, оказываются не более чем обычными благочестивыми банальностями, которые действительно никого не отталкивают, но и никому не интересны. Хотя даже для чисто

литературного слуха понятно, что «идея» - это нечто обязательно проблемное и нетривиальное.

В этом отношении рядом преимуществ обладает формулировка «идея для России» (см. конкурс, объявленный «Российской газетой»). Эта формулировка, похоже, предполагает минимум лишних ограничений. По крайней мере она не требует привязки к привычной терминологии и даже намекает на исторические прецеденты преимущественно операционального, ситуативного характера, - то есть на то, что может оказаться наиболее соответствующим характеру задачи в нынешней конкретной российской ситуации.

Тем не менее формула «национальная идея» уже настолько прочно вошла в научный и литературно-публицистический обиход, что проще скорректировать ее смысловое наполнение, нежели пытаться отменить.

На наш взгляд, сейчас лучше всего было бы вообще признать за аксиому, что нет ничего заранее предопределенного, что было бы вложено в формулировку «национальная идея». Это, кстати, вполне соответствует историческому опыту. Бывают идеи как бы внеисторические, надвременные («нация как таковая», ее «вечная» идентичность), но бывают и идейные задачи более ситуативного характера. С учетом этого надо признать, что в качестве «национальной идеи» на определенных отрезках общественного развития могут выступать содержания самого разного характера, они могут быть представлены в самых разных формах. В том числе и в режиме сосуществования «вечного» и актуального.

Мы, таким образом, ищем не «национальную идею» (как образец какого-то якобы определенного идеологического жанра), а то, что может в этом качестве выступить здесь и сейчас, в духовной, идейной, социально-психологической, общественно-политической и т.п. ситуации в современной России. Если это «что-то» окажется совершенно неожиданным и непривычным, не соответствующим расхожим аналогам и нашим устоявшимся представлениям о такого рода образцах - тем хуже для образцов.

* * *

Пожалуй, первая, самая крупная жанровая развилка - разбирательство по поводу научной, теоретической, концептуальной формы работы над Идеей (что имеет и некоторое

отношение к начальной форме работы над проектом «Этики успеха»).

Для нашей интеллектуальной среды такая форма кажется безусловной и едва ли не единственно возможной. Тем более, что всей этой истории свойственны инерции недавно главенствовавшей «научной идеологии». При этом любая идейная, идеологическая конструкция представляется как имеющая форму суждения, умозаключения, едва ли не строгого доказательства.

Однако исторический опыт показывает, что это весьма специфическая, более того, довольно редкая форма обоснования и презентации идейных конструкций. Чаще это делают харизматики, литераторы или поэты, духовные лидеры, провидцы, моральные авторитеты, сильные политики и т.п. При этом ни в каких «научных» подпорках такого рода идейные образования чаще всего не нуждаются. Не говоря уже о форме подачи, менее всего соответствующей жанру статьи, трактата, доклада или монографии. Если всю советскую эпоху «научную» идеологию у нас обслуживали ученые, в основном гуманитарии, то это не значит, что такая функция записана за ними (точнее за нами) и впредь, навечно, для любой другой идеологической ситуации.

Более того, есть целый ряд аргументов, подтверждающих, что именно сейчас такая форма будет наименее приемлемой, наименее соответствующей реальной идейной потребности - но зато наиболее конфликтующей с теми настроениями, которые вызваны устойчивой оскоминой от идеологического официоза недавнего прошлого.

В идеологических обоснованиях наука всегда имеет сугубо обслуживающую, несамостоятельную функцию. Чаще она играет роль своего рода алиби для нормального идеологического произвола. Наука в таких случаях - не более чем прикрытие спонтанных идеологических (и политических!) практик реальной власти. Типичная жертва авторитета в обмен на...

При этом подобные ситуации возможны, как правило, только тогда, когда нации дозволена «одна наука» - одна школа, одно направление, одна парадигма, иначе говоря, одна идеология в науке. Обосновывающая «научную» идеологию наука может быть только «единственно правильной», непогрешимой, даже необсуждаемой. «Научность» идеологии покупается ценой предельной идеологизации знания.

Все это крайне затруднительно в условиях многообразия научных школ и направлений, активно конкурирующих на интеллектуальном рынке. Тем более, когда дискуссия в этой

среде если и ведется, то с использованием доводов и аргументов, часто далеко не научного характера. Естественно, это отнюдь не распространяется на все научное сообщество. Но только не в глазах публики, для которой мировоззренческие, общественно-политические, социально-экономические и т.п. дисциплины во многом дискредитированы как таковые.

Последнее замечание, кстати, затрагивает еще один принципиальный для выбора жанра вопрос - о том, кто в данном случае является «заказчиком», «клиентом», конечным потребителем. «Научный» характер идеи - верный признак того, что ее судьба - быть в руках власти инструментом духовной манипуляции. Здесь вступает в силу уже не только использование авторитета науки, но и ряд сложных, часто весьма интимных отношений между чиновничеством и научным сообществом. Что же касается обычной публики, то для нее научные обоснования в таких случаях если и значимы, то в основном как элемент мифа. Реально действующие социально-психологические механизмы здесь обычно другие. И, соответственно, работают другие формы представления, убеждения и т.п. (если, конечно, не иметь в виду государственно узаконенные, навязчивые, а то и просто насильственные формы интеллектуального просветительства).

Это вовсе не отрицает участия интеллектуального, в частности, научного сообщества в поиске такого специфического субстрата, каким является «национальная идея». Но при этом оказывается принципиально важным, по крайней мере, отличать Идею от идеологии. Не вдаваясь в детальное обоснование такого рода различий, можно указать на то, что многие построения, предлагаемые в качестве вариантов национальной идеи, вполне могут рассматриваться как материал для построения разного рода доктрин общенационального, государственного и т.п. масштаба - внешнеполитической (геостратегической), оборонной, социально-экономической, культурной, национальной и т.д. Но как только мы жестко и требовательно обозначаем жанр именно Идеи, их продуктивность в этом смысле оказывается во многом под вопросом - или, по крайней мере, требует специальной экспликации, формальной доработки.

Кроме того, в качестве фундаментальной интеллектуальной, исследовательской, концептуальной задачи остается выяснение закономерностей такого рода духовных процессов, их особенностей для конкретных исторических ситуаций, анализ прецедентов и актуальной работы - одним словом, критика

идеологии. Это работа не столько по части сочинения, сколько ориентированная на то, чтобы квалифицированно помочь обществу (и самим себе!) разобраться в сочиняемом, в перспективах и тупиках этой совместной работы. Без претензии на высший арбитраж, это попытка сделать если не общепринятыми, то хотя бы эксплицитными правила игры, запрещенные приемы, процедуры верификации и фальсификации вариантов. Здесь исследователь и интеллектуал остается в рамках профессии; он может это сделать не идеально, даже плохо - но остается, по крайней мере, презумпция, что лучше него этого никто не сделает.

Более того, это позиция в определенном смысле философская, мировоззренческая. Она ориентирована на то, чтобы повысить уровень рефлексии над процессом, выхватить хотя бы на время его участников из конкурентной гонки и дать возможность спокойно осмыслить происходящее, сэкономить силы на заведомо непроходных вариантах и сосредоточиться на том, что может хотя бы оказаться перспективным.

При этом, подчеркну еще раз, речь не идет о приговоре - вполне достаточно сдвига в сторону большей рефлексивности. Для авторов полезно, даже необходимо на какой-то момент отрешиться от собственных любимых затей и увидеть себя в общем ряду, в рамках процесса, развивающегося по своим законам и жизненным ритмам. Такой сдвиг был бы крайне важен и для потребителя, для общества. Он позволил бы хоть в какой-то степени избавить обывателя от впечатления «дурной бесконечности» предлагаемых вариантов и полного отсутствия критериев их отбора.

* * *

Такого рода интегральный взгляд на процесс поиска национальной идеи намекает на проблемы, а возможно, и выводы, порой достаточно радикального свойства.

Прежде всего, представление материала дискуссии в виде своего рода таблицы элементов (кратко обозначенных базовых позиций, подходов, вариантов и т.п.) дает картину просто душераздирающую. Представлено практически все. Все возможные и невозможные аргументы «за» и «против» данного начинания. Восторги и раздражение, энтузиазм и скепсис. Сектора поиска в сумме образуют едва ли не круг. Типичная картина аномии, отсутствия базовых общезначимых установок.

В свое время Э.Соловьев предупреждал, что такого рода начинание может закончиться дополнительной идейной сварой. Но свары не получается, поскольку авторы друг друга практически не слышат, даже не обращают друг на друга внимания. «Дискуссия» в большей своей части выполнена в форме множества самодостаточных монологов (что лишним раз подтверждает тезис о разрушенности самой идеологической коммуникации).

Имеет смысл заранее предупредить, что я вовсе не склонен чрезмерно драматизировать эту ситуацию. Но тем не менее ее надо рассматривать как данность, как реальный контекст, в котором приходится работать. Более того, как контекст, который в ближайшее время вряд ли изменится. Даже если сам процесс поиска национальной идеи рассматривать как работу, которая могла бы хоть в какой-то степени оптимизировать положение.

Если предельно заострить ситуацию (хотя это скорее всего не будет даже преувеличением), можно сформулировать следующий, слегка страшноватый, вывод: идеи, проекты, концепции, интерпретации происходящего, формулировки ценностей и смыслов развития - все это скорее разделяет общество, нежели сплачивает его. Более того, на усиление общего «раздрая» воздействует практически всякий проблемный, нетривиальный дискурс. Само слово, сама процедура концептуального говорения оказываются в большинстве случаев контринтегративными, в суммарном воздействии вызывающими скорее новую фрустрацию, нежели катарсис.

Этот вывод может показаться чрезмерно резким. Но редкие исключения здесь скорее подтверждают правило. Чтобы опровергнуть этот тезис, надо реалистично прописать сценарий обретения страной Идеи в результате такой чисто дискурсивной полемики - сценарий «явления Идеи народу». В результате какой процедуры, какого набора событий страна, вчера Идеи не имевшая, завтра просыпается с Идеей? Таких сценариев можно предложить, по крайней мере, несколько, - но все они, если относиться к ним непредвзято, оказываются в наших реальных условиях крайне проблематичными.

Это подтверждает и опыт девяти месяцев напряженной, активной дискуссии. Если за этот срок не состоялось откровения, то может быть дело не в том, что пока не найдена концепция, а в том, что проблемной оказывается сама онтология поиска?

Здесь уместно вспомнить о такой, возможно, не совсем ординарной проблеме, как «ипостаси идеологического» - начиная

с сугубо доктринального уровня и заканчивая уровнями своего рода идеологического бессознательного. Кстати, даже Жданов и Сулов, во времена господства, казалось бы, чисто теоретической идеологии, прекрасно это понимали, работая отнюдь не только на концептуальном уровне.

Более того, при внимательном анализе оказывается, что решающими здесь всегда становились именно общая эмотивная атмосфера, жизненная фактура, информационный фон. Бесплезно, вредно и даже опасно говорить нечто, что решительно не соответствует тому, как человек воспринимает жизнь, повседневность. Слова здесь вторичны по отношению к образу, настроению. Это, если угодно, сфера политико-идеологической эстетики.

Тем более это справедливо для общества, в котором претендовать на открытую и эффективную манипуляцию массовым сознанием неприлично и, главное, совершенно бесполезно в условиях, когда сам намек на такого рода задачу вызывает резкое отторжение.

В то же время призыв не особенно драматизировать эту ситуацию вовсе не безоснователен. Можно предположить, что в обществе было бы куда спокойнее и миролюбивее, если бы однажды вдруг замолчали политики, идеологи, эксперты и интерпретаторы, поставщики информации и т.п.

Если так, то справедлив и симметричный вывод: в реальной жизни наше общество куда менее расколото и обесмыслено, чем об этом можно судить по разного рода дискуссиям и интерпретациям происходящего. С точки зрения практической повседневности многое здесь оказывается не более чем артефактами, жизненно необходимыми прежде всего для обеспечения если не престижа, то хотя бы занятости тем, кто эти артефакты профессионально создает.

Но тогда имеет смысл подумать о смене (или хотя бы коррекции) самой материи разговора по поводу национальной идеи. Возможно, что более адекватным носителем такой Идеи окажется не теоретик, тем более не партийно ангажированный идеолог, а какой-либо живой персонаж, уже живущий «по Идее» - безотносительно к тому, выговаривает он эти слова или нет. На месте такого персонажа может оказаться и какая-либо реальная ситуация, способ социального сосуществования, действие, жизненный стандарт и т.п., в том числе и в «деперсонифицированной» форме.

Это не означает нового «хождения в народ» - за Правдой. Если быть честными, то искомая «правда» всегда оказывается своя - у того, кто за ней «ходит»: каждый видит то, что хочет увидеть. Тем более это не предполагает собирания народной мудрости в виде идеологического фольклора.

Но это требует несколько иной материи развертывания дискуссии. В наших условиях, например, «либерал» и «коммуно-патриот» вряд ли в ближайшее время договорятся о том, что есть подлинный патриотизм на уровне идеологического дискурса. Скорее наоборот. Но ситуация резко меняется, когда патриотизм обсуждается на уровне конкретных реалий - дел, поступков, жизненных установок. Если на время отказаться от чисто словесного идеологизирования и перевести разговор на уровень обсуждения, скажем, документальных телесюжетов, то есть хотя бы надежда на то, что у «либералов» и «патриотов» представленная фактура окажется не столь разнородной.

Речь, следовательно, идет о поиске своего рода реальных прообразов, прототипов Идеи, о ее «предвоплощениях». Это, естественно, не претендует на окончательное решение вопроса - максимум, на что здесь можно претендовать, это на то, чтобы вывести полемику из колеи, в которой она рискует тихо помереть. Но если такие прототипы находятся - значит, есть, по крайней мере, предмет для разговора. Если же нет, то мы опять утопаем в словах, которые живо затрагивают разве что самих говорящих.

А.С.Ципко

***“...СОЕДИНИТЬ ИДЕЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
УСПЕХА
С ИДЕЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЦВЕТЕНИЯ”***

Проблемная ситуация, на мой взгляд, описана авторами доктрины верно. Только та идеология может стать мобилизационной силой, которая ориентирована на успех, включена в контекст перехода в более развитое состояние.

Деградация нашей антисоветской революции во многом вызвана дефицитом подобной идеи, способной перевести общество в новое, более высокое качество. Корни нынешнего идейного и духовного кризиса не в самом факте противостояния

“прозападной” и “прорусски” ориентированных групп, а в слабости, неукорененности их идеологии.

Новые западники обречены на поражение по той простой причине, что ими движет не столько мотив модернизации, сколько мотив разрушения, тотального преодоления того, что есть, того, что осталось от прошлого. Сама по себе идеология *двойного сброса*, тотального преодоления остатков “русской архаики”, “имперского наследства” и устоев советской системы ориентирована не на успех, а на поражение. И здесь коренное отличие между демократическими революциями конца восьмидесятых в странах Восточной Европы и августовской 1991 года революцией в России. К примеру, идеология польской “Солидарности” была нацелена одновременно и на сброс коммунизма, и на реставрацию независимого национального государства. В этом случае идея демократическая и идея национальная слиты, модернизационный порыв подпитывается реставрационным. Реставрационная мечта, стремление восстановить утраченную межвоенную Польшу, у демократов ПНР даже превалировала: дух ретро пронизывает весь польский кинематограф семидесятых.

Отсюда успех, прорыв в новую историю.

У нас же с самого начала, по крайней мере, с 1989 года, политическая и идейная инициатива принадлежала борцам с “советской империей”, с национальным государством. Мотивом всех этих устремлений была пораженческая идеология, идея полного и окончательного выхода за рамки русской истории.

Новые западники в период перестройки боролись не столько с коммунизмом и коммунистами, сколько, в первую очередь, со своим национальным государством. Причем, как сейчас выяснилось, они руководствовались не столько желанием помочь тем народам СССР, которые стремились к государственному самоопределению, к примеру, прибалтам, сколько решением прикончить саму “империю”, то есть государство российское. Ставка новых западников тогда, в 1991 году, делалась не столько на отделение от метрополии территорий, которые были насильственно присоединены к России, сколько на разлад, разложение исходного славянского ядра государства, которое сложилось в последние два столетия.

Вообще мало шансов имеет страна, где власть, средства массовой информации, финансы принадлежат преимущественно тем, кто откровенно “не любит Россию”, кто болен синдромом поражения своей Родины. Сама по себе идея заразить всех

жителей Российской Федерации “нелюбовью к России” и к “русскому наследству”, чем до недавнего времени занимались, например, комментаторы НТВ, утопична. Русским в подавляющем большинстве некуда деться, их нигде не ждут, и для того, чтобы примирить русскую душу с русской жизнью, они, несмотря ни на какие уговоры, примут историю своей отчизны такой, какая она есть. И тут корень всех наших проблем. Скорее нынешние хозяева России полюбят ее, перестанут бороться с ее историей, с ее “авторитарными традициями”, с ее “православным миром”, чем русские станут другими и станут смотреть на нее глазами Мадлен Олбрайт или Ричарда Пайпса. Чудес не будет.

Велика вероятность, что, если власть в России и, особенно, контроль над средствами массовой информации, окончательно перейдут в руки тех, кто “не любит Россию” и “империю”, страна просто развалится на куски. Но нет абсолютно никаких шансов превратить всю Россию в духовное продолжение нашей нынешней космополитической Москвы, нет шансов превратить мировоззрение, самоощущение Владимира Александровича Гусинского или Анатолия Борисовича Чубайса в национальную идеологию.

И здесь даже пропаганда идеологии индивидуального успеха ничего не даст. В Америке на идеологии индивидуального успеха удалось взрастить целую нацию. Но нацию эмигрантов, нацию тех, кто бросил вызов судьбе, своей национальной истории и решил все начать с нуля.

В России, даже нынешней - атомизированной, распадающейся, - идея индивидуального успеха, не сопряженная с идеей государственного процветания, не несет в себе никакого консолидирующего начала. Какой смысл имеет индивидуальный успех, если все основания страны рушатся, если ты и твоя собственность каждую минуту могут быть погребены под обломками государства?

В стране не создан ни один элемент стабильности, дающий полноценные гарантии собственности и личного успеха. Никто не забыл события 3-4 октября 1993 года. Отложенная моральная реакция еще не означает, что все углы прерванной гражданской войны погашены. Никто не знает, не исследовал психологические, моральные последствия беспощадной войны компроматов, которую уже несколько лет ведут конкурирующие кланы нашей финансовой олигархии. Оппозиция слаба. Но все же никто не готов сделать хоть один шаг к подлинному национальному примирению.

Можно говорить только об уроках пережитого нами опыта, о том, что не свершилось.

Во-первых, выяснилось, что либеральный романтизм, накапливаемый в условиях советского тоталитаризма, очень быстро выдыхается. Идеи и ценности свободы, с помощью которых отбрасывается старый режим, действуют недолго и на очень узком социальном пространстве.

К свободе как свободе выборов население очень быстро привыкает. К тому же, в силу наших авторитарных традиций и целого ряда внешних обстоятельств, выборы очень скоро утрачивают свой исходный демократический смысл и превращаются в механизм удержания у власти проамериканских политиков. Молодежь, те, кому двадцать, выросли в условиях свободы, не знают, что такое гнет и пресс коммунистического тоталитаризма, а потому не всегда могут оценить достоинства посткоммунистического строя.

В наших русских - специфических - условиях негативное влияние на идейную и моральную ситуацию имеет и сам процесс перехода от коммунизма к демократии. Моральный пафос демократической революции во всех странах Восточной Европы иссяк быстро. О каком-либо моральном развитии в условиях приватизации вообще не может быть и речи. Совесть и долг вообще не имеют ценности, когда в одночасье удачливые фарцовщики или младшие научные сотрудники демократического призыва становятся миллиардерами.

Сам переход от эпохи бешеных политических карьер к эпохе бешеного обогащения, от эпохи съезда народных депутатов к эпохе банковских войн не сопровождался укоренением каких-либо позитивных ценностей. И этот факт является свидетельством глубочайшего духовного кризиса.

О демократии и демократах среди приличных людей говорить не прилично. При всем отторжении от Хасбулатова и Руцкого никто из приличных людей ельцинскую конституцию на крови принять не может. Можно и нужно относиться к Ельцину как к победителю, как к тому, кто оказался сильнее. Можно и нужно говорить о том, что в России не было сил для организации моральной и духовной оппозиции режиму Ельцина. Наша официальная парламентская оппозиция как будто специально создана для того, чтобы доказать, что у нас все возможно, торжествует беспредел, нет силы, способной остановить всевластие коржаковых, чубайсов, немцовых. Мы очень плавно перешли от власти склеротических членов Политбюро к власти паханов.

Другое дело, что новая власть, нравы которой описал в своей книге “Борис Ельцин: от рассвета до заката” Александр Коржаков, не свалилась с неба, что второй, третий эшелон советской власти ни на что другое способен не был, что нынешняя жажда собственности, власти, привилегий, расточительного потребления родилась в недрах советской системы, является ее продолжением.

Нынешний взрыв гедонизма с русской спецификой, нынешняя русская вольница, беспредел удовольствий порождены прежде всего ханжеским аскетизмом советской системы, которая пыталась обуздать все естественные человеческие страсти, все нормальные человеческие потребности.

Но, как известно, ценность развлечений, удовольствий, потребления сама по себе не несет в себе ничего позитивного. Точно так же, как снижение уровня инфляции, рост сбережений не ведет к росту инвестиций, к экономической эффективности, так и революция гедонистических страстей не ведет ни к возвышению ценности собственности, ни к возвышению ценности успеха.

И тут самое слабое место нашей посткоммунистической цивилизации. Если судить по внешним критериям, в ней много признаков рыночного общества: велики показатели приватизации, роль банков, ценность денег. Но самого главного в ней нет.

Нет уважения к предпринимательской активности, предпринимательскому успеху. Собственники вместе со своей собственностью - самая незащищенная социальная категория. Их воспринимают как камикадзе, смертников. Ни один нормальный человек, ценящий свою жизнь, пекущийся о безопасности своей семьи, не пойдет в серьезный русский бизнес, не окунется в него с головой.

Таким образом, старые представления об успехе в жизни умерли, но новые так и не сформировались. Подорвано советское, а в сущности, традиционное отношение к успеху как к накоплению знаний, трудовых навыков. Демократическая августовская революция в этом отношении была куда более разрушительной, чем октябрьская. Революция, которая делалась во имя восстановления уважения к таланту, труду, профессионализму, подорвала все ценности и стимулы, на которых держится цивилизация.

Вместе с разрушением производства, наукоемких отраслей подорван престиж фундаментальных наук, где происходила концентрация наиболее одаренной и наиболее трудолюбивой

части социума. Мы живем в обществе, где ничего не стоят ни звания, ни степени, ни производственный опыт. Да, вырос престиж экономических знаний, но только в том случае, если экономические знания связаны с банковским бизнесом.

Принцип антиотбора, который подорвал советскую систему, не устранен. Просто сейчас он имеет другие основания. Корпоративный фактор в наши дни имеет другие основания, направленность, но он остается в силе. Размеры новых, иногда гигантских, состояний никак не зависят от личных качеств, индивидуальных усилий их нынешних владельцев. В эпоху, когда во имя движения к демократии раздавалась общественная, государственная собственность, важно было лишь быть “своим” для тех, кто получил право создавать “класс собственников”.

Нынешняя частная собственность защищена только пассивностью разлагающегося постсоветского социума. Но мало кто знает, что будет завтра, как завтра будут восприниматься новые собственники и их достояние. В любом случае сегодня собственник не воспринимается как преуспевающий человек, как олицетворение успеха в подлинном смысле этого слова. Наш новый русский капитализм во многих отношениях еще более хрупок, чем старый, разрушенный Октябрем.

Я думаю, что именно по этой причине личный, индивидуальный успех, даже если он затронет значительную часть общества, не сможет стать фактором консолидации России. Сам по себе рост числа состоятельных, преуспевающих людей, представляющих людей среднего класса в русском смысле этого слова, не решит проблему консолидации русского общества.

Можно сказать, что посткоммунистической России не повезло во многих отношениях. Намного легче было удержать старую Россию на капиталистических рельсах, чем воссоздать рыночную цивилизацию на обломках советской системы. Мы начинаем воссоздавать цивилизацию собственников, когда она вступила в фазу деградации. Мы стали открытым обществом именно в тот момент, когда в западном мире победила американская контркультура, которая своим острием направлена против всех культурных оснований европейской частнособственнической цивилизации, в том числе против протестантского этоса труда и возрождения, культа успеха, накоплений, культа семейных традиций и т.д. Нынешняя американская массовая культура, которую пропагандирует наше “демократическое телевидение”, куда больше направлена против этоса собственности и личного успеха, чем старая советская.

В рамках постсоветской постмодернистской культуры, пропагандирующей распад устоев, традиций, в рамках культуры “стеба” очень трудно сформировать цивилизацию накопления и предпринимательского успеха. Не случайно богатые, преуспевающие люди в России живут чаще всего, как смертники, как люди, живущие сегодняшним днем.

Не успев превратиться в рыночное общество, мы уже потеряли хранителей совести. Деградация элитарной советской интеллигенции произошла даже быстрее, чем деградация общества, всего социального организма. В результате у нас вообще не оказалось духовных и моральных механизмов сдерживания криминальных appetites “строителей” новой России. Моральную элиту советского общества новая власть купила по дешевке. Для этого было достаточно нескольких приглашений на различного рода презентации, к примеру, на юбилей НТВ.

Какой же выход? Здравый смысл подсказывает, что надо идти путем Восточной Европы, одеть зарождающийся посткоммунистический капитализм в национальные одежды. Ельцин это понял еще в 1996 году, когда призвал искать “национальную идею”. Лужков это чувствовал всегда, пытаясь оседлать реставрационную идею. И Лужков на этом пути добился куда большего, чем Ельцин, поручивший разработку “национальной идеи” политикам и интеллектуалам, которые еще совсем недавно идейно обеспечивали борьбу с исторической Россией, с “советской империей”.

Но уже сегодня очевидно, что ни Лужков, ни Черномырдин, то есть политики, стоящие на позициях национального капитализма, не будут иметь шансов на успех до тех пор, пока не перехватят у оппозиции патриотическую инициативу. Можно по-разному относиться к оппозиции, в частности, к КПРФ, но нельзя отрицать того, что она крепко держит в своих руках идею государственного, национального успеха.

И тут весь корень проблемы. Идея успеха может стать мобилизационной силой в России только при органическом сочетании ценностей индивидуального успеха с ценностями национального процветания, с идеологией возрождения сильной, независимой России. Но вся наша трагедия состоит в том, что держателями, хранителями этих разных идей являются непримиримые политические противники. Молодые реформаторы, которые, как правило, являются и гражданами России, и гражданами мира, никак не заинтересованы в самодостаточности России. Им нужна только Россия, “открытая к Западу”.

А патриотическая оппозиция - и “красная”, и “белая” - никак не может примириться с ценностями индивидуальной свободы и индивидуального успеха. Они убедили себя, что русский человек по природе не хочет быть собственником, не может быть собственником. Эволюция КПРФ показывает, что она еще в состоянии примириться с русской идеей, трактуя ее как природный русский коллективизм, но никогда не примет идею частной собственности.

Рассчитывать на частнособственническое перерождение КПРФ так же сложно, как на патриотическое перерождение Чубайса или Гайдара. А третья сила, могущая пойти по пути национального капитализма, очень слаба.

Каков выход из этого тупика? Если окончательно победят “молодые реформаторы”, то, несомненно, России, как России, конец. В этом случае она превратится просто в геополитическое пространство. Если произойдет взрыв, то он сметет всех - и “демократов” и “патриотов”. В этом случае нас ожидает самое худшее - власть людей, жаждущих расправы.

Поэтому простой инстинкт самосохранения обязывает нас помогать сближению партии национального капитала, условно - партии Черномырдина-Лужкова, с прагматической частью оппозиции, возглавляемой Зюгановым. Чем меньше будет власти и влияния у непримиримых реформаторов, тем больше шансов на сближение и согласие национал-капиталистов с левыми патриотами. Другого способа соединить в России идею индивидуального успеха с идеей национального процветания - не вижу.

В. В. Радаев

ГДЕ ИСКАТЬ КЛЮЧИ К НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ

Возвращение идеологии

“Конец идеологии!” - сколько просвещенных людей позволило себе обольститься этим лозунгом. Сколько посчитали, что путь к Истине пролегает через чистилище деидеологизации. Но самообман не может продолжаться вечно. Мы гоним идеологию в дверь, она возвращается в окно. Идеология меняет обличия, позволяя нам заблуждаться и не замечать ее в упор. Но как только возникает стремление перейти от фиксации фактов к их

интерпретации, к выработке сколь-либо законченного видения общественной системы и ее перспектив, тень той или иной идеологии сразу встает за нашей спиной. Мы в состоянии уберечься от прямого влияния любых политических партий и движений, но сохранить нейтральность ко всякой идеологии не дано никому*.

Попытка гуманитарной экспертизы национальной идеи успеха - свидетельство неизбежного возвращения идеологии в сферу нашего внимания [2, 3]. Готовы ли мы к этому возвращению? Ведь принимать идеологию в ее прежнем виде, привычном для советских времен, сегодня уже невозможно. Каким же образом ее определить? Автор предлагает понимать под идеологией не партийную доктрину, не набор политических инструментов по обработке сознания непросвещенных масс и не “ложное сознание” в марксистском смысле, а то, что К.Манхейм называл “рационально обоснованной системой идей”*. Это некий упорядоченный взгляд на общество, в котором сплетаются познавательные, нормативные и символические элементы. Идеология как системное мировоззрение содержит более или менее целостное (завершенное) описание общественной системы, а также особые представления о ценностях, общественно-экономическом идеале.

Общественно-экономический идеал расщепляется, на наш взгляд, на *идеалы-цели* и *идеалы-средства*. К первым относятся такие конечные ценности, как Свобода, Равенство, Справедливость, Единство. Идеалы-средства представляют способы их достижения, в их числе мы обнаруживаем: формы государственного устройства и обеспечения правопорядка, способы организации хозяйства и трансляции культурных ценностей. Время от времени выдвигаются идеи, содержащие попытки соединить области целей и средств. К подобным попыткам следует отнести выработку *национальной идеи*, путь к которой, таким образом, пролегает через идеологические перекрестки.

* “Вера каких-то групп людей в свою свободу от идеологической заданности представляется нам просто особо зловредным свойством их системы иллюзий... Аналитическая работа начинается тогда, когда у нас уже есть свое видение группы явлений” [1].

* Относясь со всем вниманием к классической позиции К.Манхейма, мы все же предлагаем другое понимание “идеологии”, в частности, раскрывая его вне связи с проблемой “ложного сознания” и проблемой “реализации” идеологий в общественном устройстве [4].

Анализ идеологий наталкивается на стену из дихотомических моделей, на устойчивую привычку во всем видеть борьбу двух непримиримых полюсов (плана и рынка, авторитаризма и демократии, либерализма и патриотизма). Более того, одна из альтернатив непременно увязывается с позитивными переменами и желательным порядком вещей, в то время как другая объявляется скопищем порока. В итоге выход оказывается только один. Самое большее, что мы готовы допустить, - это эклектическое сочетание двух альтернатив. Но объясняющие возможности дихотомических моделей весьма ограничены. Прекрасным примером подобной ограниченности служит ситуация перед президентскими выборами в России 1996-го года, которую было принято представлять как противостояние сил коммунизма и демократии. Не нужно быть изощренным специалистом в области политических наук, чтобы почувствовать неладное: ситуация намного сложнее, и мы во многом оказались не готовы к ее объяснению.

Предлагаемый нами подход опирается на следующие положения.

1. Нас окружает множество идеологических схем, которые невозможно уложить на одной-двух простых осях.

2. Идеологические схемы следует рассматривать как равноправные с точки зрения их описательных и нормативных возможностей, т.е. оценочно нейтрально, без деления на “плохие” и “хорошие”.

3. Идеологические схемы сменяют друг друга во времени, трансформируются, перетекают из одной в другую, образуя своего рода идеологический “калейдоскоп” [5].

Данный подход уже достаточно обстоятельно изложен нами в других работах на примере трансформации четырех идеологических парадигм - социализма, демократизма, либерализма и консерватизма [6, 7, 8]. Ограничившись ссылкой на эти работы, мы перейдем к одному из наиболее сложных вопросов - о субъекте(ах) идеологических построений.

Три уровня идеологического воспроизводства

Можно ли “выдумать” идеологию? Нет. Может ли она быть выработана по заказу президента? Снова нет. Идеологии действуют в “растворенном” состоянии, представляя сферу “коллективного знания”, и зачастую трудно или просто невозможно найти их конкретного “автора” или четко отделить носителей. Тем не менее вовсе отбрасывать вопрос о субъектах

идеологического действия нецелесообразно. Для того чтобы подойти к решению данной проблемы, необходимо выделить три уровня воспроизводства идеологии: уровень идеологических систем; уровень программ; уровень массового сознания.

Идеологическая система представляет собой теоретически оформленную “чистую” модель социальных процессов. Она обладает целостностью и внутренней логической непротиворечивостью, но в силу этого страдает неизбежной неполнотой. Рационализация и структурирование идеологического пространства в системе понятий, доведенные до выделения “чистых” идеологических схем - удел исследователя-теоретика. Только такие схемы полностью соответствуют канонам идеологии как подлинно системного мировоззрения.

Политические, экономические и социальные программы воплощают тип моделей более прикладного характера, которым присуща, с одной стороны, полнота охвата и, с другой - принципиальная эклектичность. Они комбинируются, складываются (нахватываются) из разных идеологических систем. И носители здесь иные - политики, их консультанты и эксперты.

Наконец, идеологические воззрения воспроизводятся в массовом сознании - в виде дихотомических клише и единичных суждений, опирающихся на прочные земные основания здравого смысла. Идеологические системы и программы с помощью средств массовой информации переводятся на язык популярных лозунгов и простых решений-“одноходовок”. В таком виде они и осваиваются носителями массового сознания, которые активно используют предлагаемые клише как инструмент для вербализации своих обыденных представлений.

Как же в этом случае происходит формирование идеологии? Одни уверены, что идеология рождается в тиши кабинетов, затем усваивается наиболее продвинутыми политиками, которые в свою очередь “упаковывают” эти идеи в лозунги и доносят до “массы”. Другие считают, что, напротив, чуткие политики улавливают народные настроения и выстраивают свою позицию, а эксперты помогают им впоследствии обставить ее красивыми идеологическими декорациями. Нам кажется, что подобные схемы слишком примитивны. Каждый из трех указанных уровней относительно самостоятелен, на каждом из них строятся свои описательные и нормативные схемы, раскрывающие характер сущего или должного порядка. Эти схемы переплетаются, стимулируют и подпитывают друг друга. Содержательный анализ идеологических систем, прослеживание их связей с программами

и установками массового сознания, описание сложного процесса идеологических трансформаций - такова задача специалистов в области социологии знания, или "социологии формирования мировоззрений" (П.Бурдые).

Без разведения трех уровней воспроизводства идеологии вряд ли удастся ухватить контуры "национальной идеи". Таким образом, обнаружить смысл национальной идеи - значит найти конфигуратор, соединяющий уровни идеологических систем, политических программ и массового сознания. В силу этого, любая национальная идея заведомо не может опираться на "чистую" идеологическую схему или на одну из противостоящих систем ценностей. Она всегда будет строиться на идеологических гибридах - как констелляция разных принципов, допускающая множество противоречий и изрядные дозы эклектики. Под пером исследователя она способна обрести ценностное ядро и логическую стройность. И то, и другое в значительной степени утрачивается в поле политического действия, агенты которого в разработке своих программ принципиально не руководствуются чистотой идейных принципов, они отбирают и достаточно вольно сочетают эти принципы. На уровне же массового сознания подобная гибридизация идеологий еще более усиливается, границы попросту плывут. Поэтому национальная идея способна формироваться только в непрерывном процессе взаимного притяжения и отталкивания разных концептуальных и ценностных взглядов.

Нужно сказать, что реальная государственная политика, не важно на Западе или на Востоке, строится почти исключительно на компромиссах и идеологических гибридах. И любые изменения в проводимой политике в большинстве случаев становятся не коренной сменой идеологической линии, а лишь смещением акцентов. При этом для развитых западных обществ наиболее "счастливым" оказался гибрид либерализма и обновленного консерватизма, дополняемый социалистическими и демократическими элементами в качестве подпитывающих "опозиционных" идеологий. Консервативно-либеральная (или либерально-консервативная) система, поддерживающая, с одной стороны, сильную государственность и правопорядок, а с другой - свободу в экономической деятельности, оказалась неплохо сбалансированной. В ней достигается симбиоз (сочетание и, отчасти, взаимное погашение) прогосударственных и антигосударственных начал, партикуляристских (националисти-

ческих) и универсалистских элементов*. Либерализм привносит в этот альянс некий динамичный дух, консерватизм удерживает этот дух от радикальных поползновений. А оппозиционный социал-демократизм заботится о том, чтобы не произошло забвения эгалитарных принципов. Свидетельством успеха современного либерально-консервативного синтеза служит изрядная путаница в наименованиях: консерваторов сплошь и рядом называют либералами, неолибералов – неоконсерваторами и т.д.

Идея предпринимательского успеха

Из каких элементов может сложиться обновленная национальная идея? Лучший способ - не выдумывать новые красивые ходы, а пытаться фиксировать идеи, прорастающие на всех трех уровнях идеологического воспроизводства. Способна ли претендовать на роль подобной идеи этика успеха? Мы попробуем показать, что в определенных контекстах это вполне возможно. Более того, пока мы рассуждаем о необходимости внедрения в сознание граждан идеи успеха, эта идея уже вовсю работает, и пора переводить наши рассуждения из плоскости проектов в описательную и аналитическую плоскость.

Важнейшим (хотя, конечно, не исчерпывающим) проявлением укорененности этики успеха является потенциал предпринимательства, понимаемого достаточно широко - как выдвижение и реализация новых организационно-хозяйственных проектов. Существуют очень разные трактовки предпринимательства: как экономической функции, осуществляющей “новые комбинации факторов производства” (Й.Шумпетер); как социально-психологического типа, характеризуемого повышенной “потребностью в достижении” (Д.Макклелланд); как совокупности социальных групп, охватывающих организаторов и руководителей малых и крупных хозяйственных предприятий**. Все они, по нашему мнению, не исчерпывают данного понятия. Предпринимательство, помимо прочего, выступает как мобилизующая идеологическая схема, значение которой выходит далеко за рамки хозяйственных процессов [11, 12].

* В России с девятнадцатого века существует философская традиция “государственного” или “охранительного” либерализма, пытающегося совместить либеральные ценности с уважением к твердой власти [9].

** О различных подходах к предпринимательству см., например, [10].

Идея предпринимательства глубоко идеологична. Она предлагает идеалы-средства в виде набора схем рационализации, которые можно приложить как к индивидуальному действию, так и к общественному развитию, применить к поведению фирмы и к кругообороту всего национального капитала. Она окружена своей символикой, формирует относительно самостоятельную систему ценностных ориентиров: независимость индивида, творческая самореализация, стремление к личному успеху в осязаемых материальных формах.

Идея предпринимательства близка либеральной идеологии, однако полностью в нее не вписывается. Либерализм (при всем различии своих течений) предписывает общие принципы и правила обеспечения социального и экономического порядка, такие как достижение равенства стартовых возможностей или расширение свободы индивидов. Эти принципы обеспечиваются “сверху” - политикой правового государства. Идея предпринимательского успеха, напротив, нацеливает на отвоевание индивидуального жизненного пространства “снизу” - при любых правилах и независимо от этих правил. Она прокламирует право каждого на некую хозяйственную инициативу, осуществляемую в целях своего материального благосостояния. В конечном счете идея предпринимательского успеха способна ужиться с любой из больших идеологий, которые заинтересованы в утилизации ее творческой энергии.

Нужно ли пропагандировать идею раскрепощенного предпринимательского духа в условиях современной России? Оглянемся вокруг, она уже вовсю работает. Сегодня теории предпринимательства заняли прочное место в научном дискурсе, а предпринимательская риторика освоена отнюдь не только деятелями а-ля К.Боровой, но представителями практически всех партий и движений, включая коммунистов. Но главное, эта идея реализуется практически - в широкомасштабной хозяйственной деятельности. Причем предпринимательская практика касается не только бизнес-элиты и вообще не одних только хозяйственных руководителей, претендующих на статус “предпринимателей”. Принципиально важным является то, что предпринимательской идее обеспечена деятельная поддержка в самых широких слоях населения.

Не составит труда зафиксировать десятки примеров выплеска предпринимательского духа, касающихся буквально всех социальных слоев (включая население за пределами трудоспособного возраста). Оставляя в стороне офисы “капитанов

бизнеса”, мы в каждом переходе и на каждом перекрестке сталкиваемся с пенсионерами, перепродающими сигареты, и мальчишками - мойщиками машин. Клерки живут челночной торговлей. Инженеры зарабатывают частным извозом. Масса рядовых граждан увлеченно играет в “капиталиста”, пытаюсь приобретать ценные бумаги или спекулировать валютой. Ученые ищут деньги для публикации своих трудов и организуют все новые проекты с целью получения грантов. Студенты пытаются организовать собственное дело*. Конечно, большинство из перечисленных нами фигур с теоретической точки зрения трудно назвать предпринимателями, “полупредпринимателями” или даже “четвертьпредпринимателями”. В непрекращающейся борьбе за выживание люди пытаются “делать деньги” (пусть маленькие) или всерьез подумывают о своем мелком “бизнесе”. Не занимаясь рассуждениями, хорошо это или плохо, зададимся вопросом: что мы наблюдаем, если не торжество предпринимательского духа на российской почве?

На каких опорах были воздвигнуты российские финансовые пирамиды в 1994-1995 гг.? Почему миллионы нормальных, вполне уравновешенных людей, без гипертрофированного стремления к риску, оказались участниками этой безумной игры? Потому, что они рассматривали ее не просто как очередную лотерею, но как реальный шанс на успех. Для того чтобы уговорить массы людей, не понадобилось особо изощренных средств. Они были заражены духом чужого успеха. И расплатились за это.

Как и все прочие мобилизационные схемы, заимствованные из прошлого или вырванные из чужого контекста, предпринимательство является для нас структурой мифологической. Но это активно работающий миф. Предпринимательство в наших условиях служит проявлением не просто идеологии успеха, но и успешной идеологии.

Идея предпринимательского прорыва уже предъявляла претензии на статус национальной идеи. Сколько раз нам популярно объясняли, что “только предприниматели смогут

* По данным нашего опроса студентов-экономистов в 1993 г. (экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, репрезентативная выборка, 186 человек), для двух третей из них наиболее привлекательная профессиональная перспектива связывается с деловыми типами карьер. А шестеро из десяти хотели бы когда-нибудь организовать собственное предприятие. Явный прагматизм проявляется и в выборе учебных курсов [13, 14].

вывести страну из кризиса”. И хотя столь высоко эта идея не взлетела, вокруг нее удалось достичь важных элементов невидимого социального консенсуса. Идея легитимной предпринимательской деятельности немало поработала в качестве важного фактора ослабления социальной и политической напряженности. Она стала инструментом для заключения “социального контракта”, оформленного на время переходного постсоветского периода. По этому “контракту” с первых шагов институциональной хозяйственной реформы право “затюканного” инженера рядового НИИ на организацию собственного кооператива и право нищего на профессионализацию своей деятельности гарантируют и легитимируют право партийного секретаря на образование совместного предприятия и конвертацию государственных ресурсов. В сказанном не содержится намек на очередной “масонский заговор”. Не утверждается, что вся эта схема сконструирована номенклатурой в своих собственных интересах. У идеологии есть агенты и проводники на разных уровнях, но в принципе нет конкретных авторов.

На заре “перестройки” было модно сетовать на то, что по техническому и организационному оснащению мы отстали от передовых рубежей цивилизованного мира минимум на полстолетия. Сегодня уже ясно: освоение инструментальных навыков происходит намного быстрее, чем ранее ожидалось. Посмотрим, что происходит с “умением торговать”, оценим качество российских компьютерных технологий, заглянем в офис приличного коммерческого банка - по множеству направлений обучение проходит весьма успешно. Безусловно, вызванные реформой изменения могут оказаться достаточно поверхностными и касаться скорее инструментальных навыков, нежели сдвигов в ценностных ориентациях. Быстрое освоение новых хозяйственных и организационных инструментов зачастую осуществляется под западной символикой преимущественно традиционными методами. Но, во-первых, так было всегда*. А во-

* Сходным образом происходило становление предпринимательства и в российском дореволюционном прошлом. Вот как характеризовалось мировоззрение торгово-промышленных деятелей второго и третьего поколений: “Молодые промышленники существовали одновременно как бы в двух мирах... Они восхищались достижениями западной культуры, горячо воспринимали ценность науки, техники, интеллекта. В то же время они культивировали ностальгическое поклонение обычаям и ценностям допетровской Руси” [15].

вторых, для одного последнего десятилетия изменений более чем достаточно.

Вернемся к нашей исходной мысли: национальная идея не выдумывается группой “яйцеголовых”, ее вообще нельзя найти в готовом к употреблению виде. Ее не вычитать в научных трактатах, не выискать в программах политических лидеров, не подслушать в разговорах соседей по лестничной площадке. И тем не менее ключи хранятся и в научных трудах, и в программах, и в обыденных разговорах. Национальная идея не может быть чем-то сугубо отвлеченным, она дается в окружающем нас наличном бытии. Желая постичь ее смысл вынужден собирать его по крупицам, нашаривая ключи по самым разным, светлым и темным, углам. И последнее: помимо концептуальных и ценностных элементов, национальная идея начинает жить, когда ее одухотворяет нечто, что мы не можем до конца высказать и подвергнуть строгой категоризации. Но этот ключ лежит за пределами гуманитарной экспертизы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шумпетер Й. История экономического анализа / Истоки. Вып. 1. М.: Экономика, 1989. С. 277, 283.
2. Российская идея успеха: введение в гуманитарную экспертизу // Этика успеха. 1997, Вып.10.
3. Каковы идеологические условия общественного согласия в России //Полис. 1997, № 3. С. 16-52.
4. Манхейм К. Идеология и утопия / Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 37.
5. Радаев В.В. Пределы применения идеологических схем в анализе современного массового сознания / М.К.Горшков, П.В.Шульце, В.В.Петухов (ред.). Трансформационные процессы в России и Восточной Европе и их отражение в массовом сознании. М.: РОССПЭН, 1996. С.78-81.
6. Радаев В. Хозяйственная система России сквозь призму идеологических систем // Вопросы экономики. 1995, № 2. С.30-39.
7. Радаев В.В. Об истоках и характере консервативного сдвига в российской идеологии //Иное: Хрестоматия нового российского самосознания (сост. С.Б.Чернышев). Том 1. М.: Аргус, 1995. С. 289-320.
8. Radaev V. Russia's Economic System Through the Prism of Ideological Systems // Problems of Economic Transition. November 1995, Vol. 38, № 7. p. 50-63.

9. Чичерин Б. Различные виды либерализма // *Общественные науки и современность*. 1993 № 3. С. 116-123.
10. Радаев В.В. *Экономическая социология: курс лекций*. М.: Аспект-Пресс, 1997. Раздел 3.
11. Радаев В.В. Маргинальность социального слоя предпринимателей // *Российский экономический журнал*. 1995, № 11. С. 84-91.
12. Радаев В.В. Предпринимательство как новый российский миф // *Знание-сила*. 1996, № 4. С. 8-16.
13. Радаев В.В. Рынок труда в жизни студента-экономиста // *Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика*. 1994, № 6.
14. Радаев В. Профессиональные намерения студентов-экономистов // *Проблемы прогнозирования*. 1995, № 5. С. 134-149.
15. West J.L. The Riabushinsky Circle: Burzhuaziiia and Obshchestvennost' in Late Imperial Russia / Clowes E.W. et al (eds) *Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia*. Princeton: Princeton University Press, 1991. P. 46.

Е. И. Головаха

***ОТ ЭТИКИ УСПЕХА К УСПЕХУ ЭТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ?***

Если аристократические нации в недостаточной мере пользуются общими идеями, часто выражая по отношению к ним неосмотрительное пренебрежение, то демократические народы, напротив, всегда готовы злоупотреблять данной разновидностью идеи и предаются им с неразборчивым пылом.

Алексис де Токвиль

Начать свои рассуждения о роли доктрины этики успеха в формировании российской национальной идеи с утверждения Алексиса де Токвиля вынудила меня не столько нужда в опоре на авторитет одного из наиболее почитаемых в мире исследователей и проповедников демократии, сколько постоянная апелляция авторов доклада к опыту американского государства, приверженность граждан которого к некоторым общенациональным

идеям не вызывает сомнений. Среди такого рода идей в США индивидуальному успеху принадлежит весьма заметное место. И уж если именно американцы сегодня живут в единственно сохранившейся к концу XX столетия сверхдержаве, в государстве, не без оснований претендующем на мировое лидерство, то вполне закономерным является пристальное внимание к идейным основам столь явного общенационального успеха.

Казалось бы, очевиден вывод из признания того факта, что американцы, в сравнении с другими народами, в наибольшей мере склонны руководствоваться в своей практической деятельности принципом индивидуального успеха: чем в большей мере граждане ориентированы на индивидуальный успех, тем значительней успех в общенациональном масштабе. Из этого следует логически непротиворечивое умозаключение: доктрина индивидуального успеха, воплощенная в национальной идее, создает идеологическую основу прогресса и процветания государства. Остается только решить сопутствующие этические проблемы, на которых и сосредоточили внимание авторы доктрины этики успеха, и вопрос о содержании российской национальной идеи можно считать закрытым.

Однако американский опыт американским же аналитикам далеко не во всех аспектах представляется идеальным (что отмечается и авторами доктрины этики успеха). Непосредственное столкновение с практикой воплощения “американской мечты” в социальную действительность нередко оборачивается культурным шоком не только для переселенцев из менее преуспевающих государств, но и для тех американцев, которые по многим социальным и психологическим причинам не укладываются в прокрустово ложе стандартной модели жизненного успеха. Но если для самой Америки этот конфликт вполне вписывается в рамки традиционного противостояния морального большинства и социальных аутсайдеров, то для России и всего постсоветского пространства конфликт приобретает совершенно иную социальную подоплеку - как противостояние аморального меньшинства и дезориентированного анемического большинства, которое индивидуальный успех воспринимает не как справедливое вознаграждение за приложенные преуспевающими согражданами героические усилия, но как результат реализации малопочтенной способности отхватить лучшие куски от былого общественного достояния.

К несчастью, новая этика успеха, которая могла бы прийти на смену двойной морали развитого социализма, оказалась под

двойным прессом: социального цинизма удостоверенного меньшинства и социального негативизма недовольного большинства. В такой социально-психологической атмосфере авторы доктрины этики успеха вряд ли могли избежать упрека в том, что они выступают в роли исполнителей социального заказа, исходящего от преуспевающих нуворишей и коррумпированного чиновничества, которые крайне заинтересованы в идеологическом обосновании правомерности своего социального успеха.

Что ответить на такого рода упреки? Я бы сказал, что упомянутые выше потенциальные заказчики доктрины этики успеха только в дурном сне могут предстать как заказчики реальные, хватающие за руки интеллектуалов и соблазняющие их тугим кошельком в безумной надежде найти идеологические оправдания своим несправедливо нажитым капиталам в разного рода изощренных доктринах. Потенциальные заказчики сегодня в действительности более озабочены практическими вопросами сохранения жизни и капиталов во внутренней конкурентной среде, чем укоризненными взорами малоимущих. Менее всего они склонны изыскивать оправдательные документы в творениях ученых-гуманитариев, которые, по извечной российской традиции, чувствуют себя гораздо более ответственными за несправедливый успех одних и справедливые неудачи других, чем сами победители и неудачники. Кроме того, чтобы оформить заказ на ту или иную идеологическую доктрину, мало одного желания (если бы оно и было) и финансовых возможностей. Прежде всего нужно уметь этот заказ сформулировать и выразить в доступном для последующей операционализации виде. Вряд ли отвечают этим требованиям и отдельные высказывания высоких должностных лиц о необходимости объединения конструктивных усилий россиян (независимо от их политических убеждений) на общей национально-идейной основе. Так что и о государственном заказе на доктрину, которая могла бы стать идейной основой консолидации нации, говорить пока не следует.

Другое дело, не следует ли вообще избегать любых попыток поставить идеологическое творчество на государственную основу. Слишком дорого обошлись российскому и многим другим народам идеологические доктрины, получившие всестороннюю государственную поддержку. Анекдотический пример подобного рода сотрудничества государства и ряда политологов (бывших научных коммунистов) Украины связан с эпизодом разработки и официального внедрения в учебные программы вузов курса "научного национализма". И хотя этот курс не приобрел

популярного в недалеком прошлом статуса единственно верной научной теории, сам плод сотрудничества власти и политологии в постсоветском государстве служит достаточным основанием для осторожной оценки перспективы расширения такого рода сотрудничества.

Таким образом, менее всего следует создателям доктрины этики успеха опасаться за нравственную чистоту и политическую неангажированность предпринимаемых ими теоретических усилий по обоснованию моральных и прагматических оснований российской национальной идеи. В обозримом будущем им вряд ли угрожает перспектива попасть “под крышу” плутократии. И здесь вполне уместно вернуться к рассуждению Алексиса де Токвиля, использованному мной в эпиграфе. Не могут интеллектуалы времен нарождающейся демократии не увлекаться общими идеями, венцом которых и является национальная идея, поэтому они сами себе сформулируют заказ и сами его выполнят, не дожидаясь посторонней поддержки. Предостережение де Токвиля относительно неразборчивого пыла, с которым этому занятию предаются демократически настроенные народы, вряд ли уместно применительно к анализируемому мной проекту, поскольку в нем, как ни в каком другом, основательно и добросовестно рассмотрены разные, подчас взаимоисключающие, мнения, оценки, точки зрения на роль идеологии в обществе, на перспективу возникновения общенациональной идеи в России, на возможность ее связи с этикой успеха.

Тем не менее за приверженность авторов доктрины плюрализму в сфере идеологического творчества приходится платить, адекватно воспринимая многочисленные упреки оппонентов. И первый камень в свой “концептуальный огород” авторы, естественно, получили от “идеофобов”, представляющих ту часть гуманитарной интеллигенции, которая справедливо усматривает в идеологическом творчестве, и особенно в “идеологической инженерии”, определенный социальный риск. Не думаю, что магических слов о запрете на шовинистское толкование национальной идеи, которыми авторы пытаются оградить свою доктрину от злого духа национализма, достаточно для того, чтобы полностью развеять сомнения “идеофобов”. Слишком свежи впечатления о скоропалительной трансформации красных полотнищ интернационалистов в коричневые штандарты воинствующих этнофилов, расплотившихся во всех темных углах постсоветского пространства. По-моему, в этих оговорках и нет особой нужды, поскольку этика индивидуального

успеха, если и может быть поднята националистами, то только на “идеологические вилы”. Не нужен националистам индивидуальный успех, как не нужна им ни человеческая индивидуальность, ни ее этика.

Национализму необходим коллективизм как социально-психологическая основа возврата людей к стадному существованию, к их солидаризации с согражданами под убогими лозунгами единокровия, единоречия и единомыслия. Потому-то так дорога национально озабоченным идеологам легенда о неизбывном русском коллективизме. Их заинтересованность в окучивании чахлах коллективистских корней современного российского общества вполне понятна.

Менее понятно, почему идея о всеильном российском коллективизме была столь некритически принята демократически мыслящей интеллектуальной элитой, с тоской рассуждающей о чуждом русскому человеку духе индивидуализма? Боюсь, что основные аргументы в пользу этого концептуального заблуждения почерпнуты преимущественно из тенденциозно подобранных фольклорных источников и классических произведений русской литературы, высокообразованные авторы которых иначе и не могли воспринимать народ и его отдельных представителей как носителей общинных традиций, а не закоренелых индивидуалистов. Но разве российские крестьяне времен революционной смуты, которые расхватывали дармовую помещичью землю и без лишних общинных предрассудков пользовались этой землей во времена нэпа, не проявили себя гораздо более выраженными индивидуалистами, чем российская гуманитарная интеллигенция, метавшаяся между идеологией коммунистического муравейника, этатистскими утопиями евразийства и иллюзиями российской соборности? И когда сегодня исконный российский коллективизм противопоставляется американскому индивидуализму, следует обратить внимание на тот факт, что две трети американцев являются членами, по крайней мере, одной самостоятельной общественной ассоциации, тогда как подавляющее большинство людей в постсоветском пространстве не связаны со своими согражданами никакими добровольными социальными узами на основе общих взглядов, интересов, форм деятельности (по крайней мере в Украине, очень близкой по формам организации социальной жизни к России, 88% граждан не состоят ни в одной добровольной ассоциации), о чем, если не о воинствующем индивидуализме, свидетельствует и то, что большинство граждан России не испытывают никакого доверия

ни к одному социальному институту, доверяя в большей мере только самим себе, своим родственникам, отчасти - Богу. А многомиллионный отряд челноков, буквально перетащивших на своих индивидуальных горбах капитализм в российскую глубинку, куда слухи о созидательных усилиях рыночников-реформаторов дойдут только в следующем тысячелетии, разве не убедительный символ торжествующего индивидуализма?

И когда триумф большевистской идеологии в России объясняют духовным родством этой доктрины с российским коллективистским менталитетом, скромно умалчивают о том, что для окончательной победы большевизма понадобилось столько крови, что и малой доли ее хватило бы, чтобы утопить весь "мировой индивидуализм". Не в том была трагедия России, что избыток коллективизма нашел воплощение в "великом почине", а в том, что растерянная масса не смогла противостоять ни соблазну передела собственности, ни корпоративной солидарности коммунизированного меньшинства.

Думаю, что и сегодня либеральным идеологам менее всего следует опасаться коллективного сопротивления конструктивному призыву к достижению индивидуального успеха. И не потому конечно, что индивидуалисты не умеют давать коллективный отпор (исторический опыт показывает, что наиболее организованный отпор агрессоры получают от народов более всего ценящих индивидуальную свободу). Просто россиянам индивидуальный успех необходим отнюдь не в меньшей мере, чем народам, которые склонны этот, далеко не самый амбициозный идеологический принцип превозносить и фетишизировать. Скорее возвышенное "Общее Дело", при всех его атрибутах "сборности, всеединства и софийности" (В.Сагатовский), останется в той части русского культурного наследия, доступ к которому будет открыт только "тончайшему слою" жрецов и рыцарей высокой духовности.

Разумеется, с полной уверенностью утверждать, что Россия - это страна индивидуалистов, которые нуждаются в этически обоснованной доктрине индивидуализма, нельзя хотя бы потому, что стихийный индивидуализм, не подкрепленный демократическим опытом формирования чувства индивидуальной ответственности и способности противостоять государственному патернализму, еще долго будет принимать в России облик изоляционизма и негативизма к любым конструктивным формам социальной самоорганизации. Индивидуалист, лишенный этих качеств, как бы он не демонстрировал свое пренебрежение к

государству и обществу, останется всего лишь винтиком в государственной машине - разве что не очень исправным винтиком. Собственно, патерналистские установки и склонность к непротивлению злу, когда оно исходит от государства, и составляют основную угрозу для культивирования достижительного идеала в посткоммунистической России. Суть этой угрозы в том, что безответственные индивидуалисты в очередной раз переломают друг другу хребты в гонке за ограниченными социальными ресурсами, вдохновляясь призывом к всеобщему успеху, который в чем-то подобен коммунистическому идеалу всеобщего благоденствия.

Нельзя сказать, что авторы доктрины этики успеха пренебрегают такой угрозой. Более того, они тщательно прорабатывают тот аспект своей концепции, который связан с перспективой формирования таких качеств "человека успеха", как толерантность, воздержание от смертного греха гордыни, способность испытывать сострадание к аутсайерам в гонке за социальными благами. И здесь они наиболее близко соприкасаются с христианской моралью. Остается только сформулировать у преуспевающих членов общества желание подставлять щеки под удары ближних, и за нравственную чистоту успеха можно быть спокойным. Однако в решении столь масштабных задач этического конструирования не слишком преуспела и христианская религия, имеющая бесспорный приоритет в разработке технологий формирования упомянутых выше добродетелей.

Разумеется, элементами христианской морали не исчерпывается конструктивный потенциал этики успеха, в чем можно не раз убедиться при внимательном ознакомлении с той частью доклада, где раскрываются основания доктрины. Достаточно отметить блестящую этическую концепцию С.Соловейчика о равенстве в достоинстве, в которой авторы справедливо обнаруживают конструктивный путь решения моральной проблемы неравенства в успехе. Если признать, что достоинство человека есть высшее мерило его жизненного и социального успеха, то все прочие составляющие успеха - статусно-престижная, профессиональная, гедонистическая - находят твердую нравственную опору, становление которой превращается в ключевую задачу воспитания человека с первых дней его сознательной жизни. Разумеется, и при таком подходе к решению проблемы этики успеха остается в силе правило: "Чувство собственного достоинства есть у многих. Большинству не хватает чувства чужого достоинства". А потому воспитание чувства собственного

достоинства у ближнего неразрывно связано с последующей эгалитаризацией этого чувства.

С достоинством связана и та сторона успеха, о которой авторы доктрины говорят значительно меньше, чем она того заслуживает: достоин ли успеха каждый, и не обернется ли успех недостойного неизбежными потерями для достойных? Эти вопросы не так наивны с этической точки зрения, какими они кажутся на первый взгляд. Этика успеха неизбежно отсекает от практического успеха недостойных (иначе она уже не этика, а прагматика), а реальность столь же последовательно отсекает от успеха достойных, для которых приоритетной является борьба за существование своего достоинства. Можно, конечно, вслед за авторами доктрины этики успеха признать плюрализм в понимании феномена успеха и удовлетвориться тем, что прагматический успех достанется преимущественно недостойным, а нравственный успех - тем, кто его более всего заслужил. Однако вряд ли такой идеологический конструкт способен воплотиться в национальной идее, выполняющей консолидирующую функцию в обществе. Идеология для большинства должна хотя бы в чем-то напоминать сказку, в которой злодей несет не только нравственный, но и материальный урон. А потому объективность и научная добросовестность авторов доктрины этики успеха сами по себе могут стать препятствием в ее популяризации.

Что касается Его Сущего Величества Успеха, который по своей неуловимой натуре еще во многом остается загадкой для авторов доктрины, то моя попытка теоретически снять возможные противоречия, связанные с познанием этого феномена, достаточно проста. Успех как этически обоснованная категория может быть понят только в конкретном социокультурном контексте. И если в границах одних культур нет большего успеха, чем впасть в благодатную нирвану или отдать жизнь за великого вождя и учителя, то для демократической и не традиционалистски ориентированной культуры успех связан прежде всего со способностью индивида к любой форме самореализации, лишь бы она не требовала от него сознательного ущемления законных прав других людей и не оставляла наедине с угрызениями совести.

Закономерен вопрос: не является ли такого рода успех лишь идеальным конструктом, законное место которого в воображении моралиста, но не в реальном мире, где место под солнцем можно занять только предварительно выдержав жестокую

теневую конкуренцию. Если успех понимать только как верхнюю позицию в статусно-престижной иерархии, то ответ на этот вопрос может порадовать разве что отпетого мизантропа. Однако именно в демократическом социуме, стремление приобщиться к которому декларируется властителями умов и собственности в современном российском обществе, статусно-престижный критерий успеха превращается из безусловной доминанты в рядоположенную с другими, среди которых находится место и для идеалов, далеких от “тараканьих бегов” за властью, почестями и богатством. Осознание плюрализма не только в качестве политической, но и смысложизненной категории является решающей предпосылкой эгалитаризации идеи социального успеха как этически обоснованного принципа, способного возвыситься и до статуса общенационального идейного достояния.

Проблема слияния этики успеха и российской национальной идеи имеет более серьезные основания, которые связаны прежде всего с тем, что о самой национальной идее в сегодняшней России говорить явно преждевременно. Может ли возникнуть национальная идея в государстве, рядовые граждане и духовная элита которого не воспринимают свое государство как самостоятельную ценность? Многочисленные социологические исследования и анализ документов последних лет показывают, что после развала СССР в элитарном и массовом сознании России обретенная государственность не приобрела самоценности и полноценности, поскольку она стойко ассоциируется с утратой пространства национальной самореализации, с “фантомными болями”, связанными с потерянными частями бывшего союзного государства. Казалось бы, в результате Беловежских соглашений собственную национальную государственность приобрела и Россия, которая в рамках СССР представляла собой такую же бесправную союзную республику, как и все прочие. Однако если в большинстве других вновь образованных постсоветских государств ценность собственной государственности заняла достаточно прочное место в ряду основополагающих политических ориентаций, то в России первая эйфория от обретения самостоятельности постепенно сменилась болезненным осознанием того, что Советский Союз был не препятствием для государственного самоопределения, а значительно более широким пространством этого самоопределения, чем новообразованная Российская Федерация. Отсюда и ощущение девальвации ценности приобретенной

“государственной независимости” в сознании центральной и региональных российских элит. Для большинства же рядовых россиян вообще не существовала проблема национального самоопределения в рамках СССР, где они воспринимали себя национальным большинством независимо от места жительства. Поэтому Российская Федерация для них во многом стала ассоциироваться не столько с приобретением “своего государства”, сколько с его распадом. В результате сближения массового и элитарного сознания сформировалась и специфическая идеология, в которой ностальгия по былому статусу у политической элиты подкрепляется ностальгией масс по потерянному физическому и социальному пространству.

И пока идеология неполноценности обретенной государственности, подкрепленная ностальгией по “нерушимому Союзу”, будет доминировать в массовом и элитарном сознании, все прочие национальные идеи будут восприниматься без должного почтения: социальный либерализм - как жалкая подачка “обворованному народу”, евразийский путь - как путь в Азию (термин, предложенный Милюковым для обозначения того, что было дорого первым теоретикам евразийства), “особый путь России” - как попытка избежать прямого пути вперед или назад, передвигаясь “боком” и т.п.

Сказанное выше не означает, что у доктрины этики успеха, в основу которой положена оригинальная концепция возникновения в современном мире пострациональной морали, нет широкой общественной перспективы. В фундамент демократической российской государственности сегодня закладываются только первые камни. И от того, что будет заложено в основание государства сегодня, во многом зависит отдаленная перспектива России и россиян. И если в последнее время в обсуждении и конструировании доктрины приняли участие десятки авторитетных российских ученых, политиков и публицистов, то один этот факт придает этике успеха статус общенационального гуманитарного и идеологического достояния. А сольется ли этика успеха (в нынешнем или обновленном виде) с национальной идеей, удастся ли придать ей идеологическое очарование, способное воодушевить элиты и массы на практическое воплощение доктрины в общественной жизни, покажет время.

Ю. А. Богомолов

***“...СКАРЛЕТТ О’ХАРА ИСПЫТЫВАЕТ ВСЕ ТЕ
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЕМ МЫ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
К РЫНОЧНОМУ”***

Для существующего сегодня в российском обществе умонастроения тема успеха по-своему актуальна. Это связано с тем, что в советское время ценность успеха была как бы на нелегальном положении. Было что-то неприличное в словах “успех”, “карьера” и т.д. Поэтому у индивида были атрофированы многие моральные принципы делового поведения. А произошло это в силу такого основополагающего свойства советской действительности, как свобода индивида от личной моральной ответственности - она была сдана на хранение и в пользование государству. Государство отвечало за мое личное моральное поведение, мои успехи на общественном поприще, мои права, мою бездарность или мою талантливость. Иначе говоря, с наибольшей полнотой реализовывался принцип коллективизации и обобществления всего - не только материального, но и интеллектуального, и даже нравственного. Наши моральные принципы и обязанности имели очень ограниченный характер. Когда мы заполняли анкеты для поездки за границу, надо было указать “морально устойчив”. Вот и вся наша личная работа в области морали.

Сегодня мы вступили в рыночные отношения, где измерением успеха оказались не привилегии, не те или иные формы доступа к “кормушкам”, а деньги - этот наиболее справедливый, естественный, веками проверенный способ достаточно адекватного представления о том, что стоит человек, что стоит его талант, способности и так далее. Но в советское время деньги как объективный критерий были сильно скомпрометированы. Еще Алексей Максимович Горький, приехав в Нью-Йорк, назвал его “городом желтого дьявола”.

Недавно мне пришлось вновь пересмотреть фильм “Унесенные ветром”. Я его видел до перестройки, еще будучи студентом ВГИКа, и тогда он мне показался абсолютно не интересным. Я его, честно говоря, не понял. А понял, когда наступила эпоха рыночных отношений. Только тогда мне стало

ясно, что произошло в Америке пару веков назад, когда капиталистический Север победил рабовладельческий Юг.

Советское общество и рабовладельческий Юг, в известном смысле, очень похожи друг на друга: и там, и там главенствуют традиции, и там, и там есть некое первородство внеличных факторов. Если человек родился в определенном клане или касте, то он пользуется всеми преимуществами этого клана, касты. Если человек родился в семье журналиста-международника, то ему было обеспечено поступление в МГИМО и соответствующая карьера. Когда в фильме рабовладельческий Юг проигрывает не только “горячую войну”, но и “холодную”, его герои обнаруживают, что существует такая проблема, как деньги. И Скарлетт О’Хара испытывает все те проблемы, которые испытываем мы при переходе от социалистического общества к рыночному. Эта героиня чувствует себя страшно растерянной перед новыми обстоятельствами: не действуют ее прежние связи, не действует магия того, что она из династии потомственных рабовладельцев.

В нашей сегодняшней жизни с такого рода проблемами мы сталкиваемся непрерывно, они возникают с каждым изменением ситуации. Недавно я был на совещании, где обсуждалась судьба пятого канала телевидения. Президент пообещал отдать его под культуру. Первый вопрос на совещании: сколько это будет стоить. Посчитали и выяснили, что это будет стоить примерно триллион. Второй вопрос: кто будет платить. Кто-то выступил и сказал, что если этого не сделает государство, то все окажется совершенно бессмысленным, невозможным, потому что культуру в том масштабе и объеме, в которых предполагается транслировать на пятом канале, оплатить не сможет никто. А если здесь начнут работать частные телекомпании, они так или иначе будут работать по законам коммерческого вещания.

Итак, выяснилось, что культурный канал ТВ стоит определенные деньги. Чем было замечательно социалистическое общество? При социализме как бы ничто ничего не стоило - ни армия, ни культура, ни, тем более, телевидение. И когда становится очевидным, что все чего-то стоит, появляется проблематика денежного выражения таких духовных ценностей, как культура, мораль, совесть, нравственность.

С этой точки зрения я обратил бы внимание на критические выступления нашего старейшего и уважаемого драматурга Виктора Розова, в свое время много сделавшего для того, чтобы

объяснить всю бесчеловечность советского режима. Сегодня он часто и резко сетует по поводу того, какую разрушительную роль играет рынок по отношению к культуре, и объективно оказывается человеком, не устающим подчеркивать гуманность советского режима, не понимая (или не желая понимать), что советская моральность, советская духовность во многом - фикция. Оттого старый драматург делается все более похожим на персонажей из пьесы А.Островского "На всякого мудреца довольно простоты" - моралистов. Только я не знаю, на кого больше - на Крутицкого или Мамаева.

Советские моралисты оказались нынче "голыми". Они много шумят и злословят, грешат употреблением хлестких словечек вроде "культур-киллеров", людей, убивающих культуру. Но тогда по аналогии должно возникнуть и выражение "культур-реаниматоры", то есть люди, призывающие возродить культуру.

В последние годы на телевидении происходила любопытная эволюция, в которой отражались определенные тенденции нашего времени. Когда только началась перестройка, мы оказались в блаженном времени и состоянии - и социализм не кончился, и капитализм не начался. Это было время самых великих иллюзий, самых больших надежд, самых красочных обольщений. Нам казалось, что все те положительные моменты, которые были при социализме, как-то соединятся с положительными моментами развитого капитализма, и все пойдет замечательным образом.

Тогда на экране и появляются телесериалы - "мыльные оперы". Но сначала мы начинаем жадно глотать, как это ни странно, не североамериканскую "мыльную оперу", а латиноамериканскую - бразильскую и мексиканскую. А латиноамериканский вариант имеет одно существенное отличие от североамериканского. В латиноамериканском варианте человек в социальном отношении очень пассивен. В сериалах "Рабыня Изаура", "Богатые тоже плачут", "Просто Мария" главными персонажами являются женщины, которые, во-первых, сами по себе представляют более социально пассивную категорию населения. А во-вторых, женщины из этих сериалов - такие героини, которые "сидят у моря и ждут погоды". Они ждут определенного момента, когда на них свалится удача, счастье, принц, богатство, наследство.

Этот сюжетный мотив нашел у нас благодатную почву. Не случайно в это же самое время таким бешеным успехом начинают пользоваться всевозможные телевизионные шоу-игры. В первую очередь, конечно, “Поле чудес”, которое является калькой с американского “Колеса фортуны”. Затем все остальные передачи и конкурсы, где выигрывались денежные призы, какие-то имущественные радости, какой-то ширпотреб. Почему в тот момент именно это играло такую важную роль? Потому что тогда еще не хлынул импорт из-за границы, мы все еще его доставали из-под полы какими-то сложными путями. Но выигрыш в телелотерее мы смаковали не просто потому, что множество людей стало через телеигры что-то выигрывать, но потому, что мы получили возможность соперничать людям, на которых упала удача. Бум “лотерейных и мыльных опер” очень точно отражал умонастроения наших соотечественников.

Но вот на нашем телевидении появляется так называемая североамериканская “мыльная опера”. В частности, был показан “Даллас” несколько серий, началась эпопея с “Сантой-Барбарой”, были австралийские телесериалы, имевшие большой успех. И в этих фильмах уже действует более социально активный человек. Я следил за социологическими опросами, и меня радовало, что мало-помалу эти сериалы, которые поначалу сильно проигрывали в рейтингах, начали в рейтингах подниматься. Это означало, что постепенно происходил переход от социально созерцательного и выжидающего отношения к новой реальности - к социально активному. “Мыльные оперы” в данном случае оказались хорошим индикатором, термометром состояния этих процессов в обществе.

А в культурной, в интеллектуальной среде по-прежнему идет отставание. Там все еще говорят об особом российском менталитете, который, мол, чуждается и чурается норм капиталистической конкуренции. На мой взгляд, примером может послужить телевыступление Л.Аннинского в духе чисто интеллигентского предубеждения против реальности. По-моему, он находится в плену тех собственных социокультурологических концепций, которые создал в определенных условиях. В таком же плену находятся и Г.Гачев, который рассказывал о том, что “русская кобыла не сексапильна”, и В.Розов. А мне представляется, что в этом смысле Россия ничуть не отличается от многих других стран.

Часто в интеллигентской среде звучит мотив сожаления, что мы проиграли “холодную войну”. Это связано с определенными

интеллигентскими геополитическими миражами на сей счет. На самом деле в сегодняшней умственной жизни России разговоры вроде “ах, как жаль, что мы проиграли “холодную войну”, немножко похожи на то, как если бы в Германии после поражения в “горячей войне” нашлись люди, которые бы сожалели “ах, как жаль, что мы проиграли вторую мировую войну”.

Тоталитарный режим остается тоталитарным и в административной, и в идеологической сфере. Если терпит крушение административная, управленческая структура, то должна потерпеть поражение и идеологическая надстройка. У германского тоталитаризма с фашистской националистической окраской исторически получилось так, что он сразу проиграл две войны - и горячую, и холодную, и политическую, и идеологическую. Наше несчастье в том, что мы, с одной стороны, выиграли “горячую войну” - и хорошо, что выиграли. Но получилось, что в 1945 году мы как бы выиграли и “холодную войну”.

Представим себе такую ситуацию: Германия, Гитлер - 1939 год, 1940 - заключается ряд соглашений типа Мюнхенского, и Германию бы удалось удержать в границах самой Германии (как сегодня удерживают в границах Ирак, как после 1945 года удерживали Сталина в границах России, с некоторыми территориальными издержками). Предположив такой исторический вариант, подумаем: как бы дальше развивались события? Экономика в конце концов подкосила бы всю эту систему и наступила бы сначала фашистская “оттепель”, потом - застой, экономическая стагнация, потом началась бы их “перестройка”, были бы свои “перестроечные” кумиры... Как бы выходил германский народ из того состояния?

Позволю себе другую аналогию. Фильмы С.Спилберга “Список Шиндлера” и Т.Лиозновой “Семнадцать мгновений весны”, Штирлиц и Шиндлер - это, условно говоря, два варианта победы над тоталитарным режимом. В то время как Штирлиц - чисто военный вариант победы (подпольная организация, автоматы, коды, шифры, явки и т.д.), Шиндлер - чисто рыночный вариант выхода из ситуации. Он предлагает евреям выкупить себя у фашистов. Более того, он ввергает немецких нацистов в искушение быть развращенными деньгами. Таким образом, деньги выступают палкой о двух концах: с одной стороны, они позволяют людям спастись от лагерных печей, с другой - они позволяют развратить и подточить идеологические основы самого тоталитарного режима.

В такой же, в сущности, ситуации сегодня оказываемся и мы. Столкновение национальных державников-патриотов с либералами, сторонниками рыночной экономики, происходит по этой же линии водораздела. Ведь, в конце концов, Гитлер бросил грандиозный вызов прежде всего именно рынку. Не коммунистам, не тому или иному режиму, а именно рынку. И сделал это вполне сознательно, я читал некоторые его соображения на этот счет. Гитлер считал, что если евреи в чем-то виноваты, так это в том, что они придумали рыночную экономику. И весь ужас для него заключался в том, как они ловко это придумали: экономика саморазвивается и управляет правительствами всех стран.

Саморазвивающаяся экономическая система, основанная на конкуренции, рыночных взаимоотношениях, изменяет роль государства. Я недавно был в Австрии. Эта страна абсолютно рыночная, но с очень большой долей участия государства в рыночной экономике. Там государство владеет казино - самой прибыльной отраслью развлечений. Оно контролирует эту отрасль, все крупье - это госслужащие, чиновники, грубо говоря, наемные работники. Государство действительно владелец, но оно выступает на рынке не как начальник, а как партнер, как один из субъектов рынка. И в этом смысле государство очень строго следит за собой как за партнером, как за субъектом рынка. Таким образом и мораль не оказывается в подчиненном положении у государства, она является элементом внутренней опоры человека.

У нас же всегда, когда заходит речь о доле вмешательства государства в экономику, говорят, что государство - верховный главнокомандующий среди тех, кто участвует в рыночных отношениях.

Я бы предложил такое сравнение. Есть такие существа - черепахи, они свой скелет носят снаружи, их скелет - панцирь. Это очень неподвижные существа, у них большие проблемы с выживанием и очень большие проблемы с интеллектом. Это ложный путь эволюции живого организма на Земле. Так вот, социализм пошел как раз по этому пути - сделал скелет наружной броней, в то время как мораль должна быть именно внутренним стимулом. Тогда все прочие проблемы решаются, хотя и не автоматически, разумеется, но намного естественнее и легче.

Некоторые участники поиска российской национальной идеи говорят о необходимости распространения в России - в том числе через возможности телевидения, кино - подобия "американской мечты", культивировании в образе жизни россиян стремления "из грязи в князи", "из сапожника в миллионеры". Другие рассуждают о ценности успеха как чуждой для психологии русского человека, высказывают опасение по поводу такого рода американизации жизни страны. Я думаю, что разговоры типа "давайте как-то ограничим эту экспансию, поставим ее под контроль", на самом деле - от лукавого. Почему почти все страны сталкиваются с проблемой американизации? Дело в том, что американское общество формировалось и складывалось, в отличие от многих прежних цивилизаций, как массовое общество. И оно выработало, изобрело и последовательно совершенствовало механизмы так называемой массовой культуры.

Голливуд - это замечательная машина по производству массовой культуры. Еще в советскую пору, когда я работал в Институте истории искусств (в Кадетском переулке), мы обсуждали диссертацию: "Голливуд. Пятьдесят лет в петле кризиса". Мы, молодые сотрудники, ставили вопрос диссертанту: "Извините, как можно 50 лет быть в петле? Если пятьдесят лет какое-то явление находится в кризисе, то, может быть, это не кризис?"

Действительно, Голливуд, в отличие от французского, итальянского, польского или советского кинематографа, развивался не путем какого-то всплеска, подъема в определенном периоде, а потом постепенного упадка. Он развивался очень ровно, ибо смог создать механизмы, адаптирующие элитарную культуру. Поэтому в голливудском кинематографе всегда можно найти следы и достижения французского кинематографа новой волны, неореализма итальянского кинематографа, советского монтажного кинематографа двадцатых годов и т.д. Голливуд становился некой центрифугой, в которой была налажена непрерывная диффузия достижений массовой культуры и достижений элитарной культуры. И как только в какой-либо стране возникает проблема массовизации общества, туда сразу является та культура, которая наиболее адекватно реализует идеи массового общества. А для массовой культуры органичен дух успеха.

Поэтому, мне кажется, хочется того или нет, но пока развивается рыночная экономика, культура массового успеха, конечно же, будет ей сопутствовать. Другой вопрос, насколько мы будем к этому сознательно относиться, сознательно реализовывать эти принципы в кино, литературе, музыке, на телевидении и т.д.

Больше всего ценность успеха пропагандируется через рекламу. При этом можно с уверенностью говорить о том, что разные рекламные кампании несут разные модели успеха. В свое время я писал о серии рекламных клипов “Гермеса”, стремящегося активно воздействовать на массовое сознание. Почему эта реклама мне не понравилась? Она апеллирует к самым низким и темным эмоциям, к темным сторонам подсознания. Скажем, ролик про то, как мы в России достигаем большого успеха, рубль становится значимее доллара и западные бизнесмены от этого стреляются и т.д. На чем основана стратегия успеха в этом клипе? На неудачах и несчастьях конкурентов. А этика успеха, если это именно этика, не предполагает несчастья кого бы то ни было - мистера Твистера или другого мистера. Она не допускает этой мстительности, так акцентированной в рекламном клипе “Гермеса”. Возьмем другой их ролик, где исторический персонаж приезжает на Запад, всех побеждает, сокрушает, захватывает жен рыцарей и т.д. Это успех в межличностных и деловых отношениях? (О возможности противоположного подхода говорит серия клипов “Империала”).

Вспомним “МММ”. Казалось бы, дело прошлое, но идеология рекламы “МММ” имеет прямое отношение к пониманию идеи успеха. Рекламный фокус С.Мавроди был основан на идее социальной пассивности и безграничном доверии к своему благодетелю (идея, обратной той, на которой строится буржуазная реклама). При этом идеология такой рекламной кампании была очень близка к пропагандистской механике, которая использовалась советской властью в тридцатые годы.

Механизм действительно очень похожий. Когда советская власть утвердилась, завершился этап авангардистского монтажного кинематографа и начался этап фольклорного кинематографа. “Чапаев”, “Максим” - в этих фильмах должны были быть представлены все социальные страты, и все их представители из самых низов, с самого дна поднимаются и восходят к некоей загадочной и величественной фигуре. Тогда

это был Ленин, а в пору зарождающегося рынка - Мавроди. В одном из рекламных роликов "МММ" Лене Голубкову звонит по телефону Мавроди. "Как!? Сам Сергей Пантелеевич мне - простому человеку - позвонил!". А позвонил он с тем, чтобы сказать: "Все в порядке, билеты будут обеспечены".

И в кино тридцатых годов была такая типологическая ситуация: встреча героя с Владимиром Ильичем Лениным. Не буду говорить о солдате Шадрине, который уронил чайник с кипятком себе на ногу, когда узнал, что разговаривал с Лениным, но вспомним фильм про ученого - "Депутат Балтики". Полежаев, потомственный интеллигент, когда ему позвонил по телефону Ленин, пришел в такой восторг, что разбудил свою жену, стал зажигать свет во всех комнатах и фальцетом кричать: "Маша! Маша! Владимир Ильич тебе привет передает!"

В рекламе "МММ" был сделан упор на простонародного человека. Причем психология восприятия этих роликов заключалась в том, что пусть все это и неправда, но Голубков такой "свой", такой узнаваемый. С.Мавроди весьма удачно эксплуатировал эту узнаваемость, распространенный психотип постсоветского человека. Эксплуатировал не столько стремление к успеху, сколько к удаче.

Напрашивается параллель. Что такое был советский режим? Та же пирамида, только не финансовая, а идеологическая. То есть Мавроди повторил на уровне финансовых махинаций то, на чем строилась советская идеология. В чем сходство? Тогда была идея перманентной революции. Да, Троцкий со временем отошел от идеи перманентной революции, и этот термин забыли, но идея-то оставалась. "Да, мы сегодня живем трудно, но потом нам за это воздастся. С процентами. Нашим детям, нашим внукам."

Мавроди тоже строил свою пирамиду как перманентную революцию. Он говорил: "Да, предположим, это пирамида. Но у меня же впереди еще какое пространство! Есть и бывшие соцстраны, а еще мои акции можно распространить на Западе". И так далее, и так далее. По степени утопичности мавродиевская пирамида конкурирует с советской идеологией, а раз совпадает с ней по существу, то совпадает и по пропагандистским приемам и элементам.

Возвращаясь к вопросу о культивировании у нас в России ценности успеха и спорам о соответствии этой ценности

отечественному менталитету, я задаюсь снова вопросом: что еще можно культивировать, кроме того, что уже существует во всем мире - ведь западная цивилизация кристаллизовала то, что возникало по ходу развития человечества.

Когда я оказался в Иерусалиме, меня поразило, что в храм ведут дороги, вдоль которых идет торговля: меняют валюту, продают сувениры, делают гешефты и т.д. Храм окружен такого рода дорогами. И сегодня это нормальное, естественное устройство мира. Да и святые земли под храмы не только завоевывались мечом, укреплялись верой, но и вульгарно покупались. Величественные храмы, соборы - это, что бы ни говорили наши духовные пастыри из рядов православных патриотов, надстройка над товарно-денежными отношениями.

Мне хотелось бы сказать тем, кто создает национальную идею, чтобы не было в ней предубеждения к деньгам, будто деньги - это некое зло, и надо бы придумать нечто получше денег. Это так же невозможно, как невозможно закачать в человеческий организм вместо крови какую-то другую жидкость. Кровь бежит от сердца и к сердцу - в одну сторону чистая, в другую грязная. Точно так же и с деньгами, так же и с корыстными интересами. Ничего более. И вот в этом и есть этика успеха. Хорошо, когда вы что-то придумываете, но еще лучше, когда нечто рождается само собой.

Д. В. Драгунский
ЛИЧНЫЙ УСПЕХ И СОЛИДАРИЗМ

Проблема

Идея личного успеха пока не укоренилась в российском массовом сознании. В шестидесятых годах на Западе заговорили об обществе, сориентированном на ценность личных достижений (the achieving society). Социологи называют его “достижительное” общество. Это звучит несколько не по-русски, и, наверное, не случайно у нас не нашлось подходящего слова. Российское общество все еще остается “статусно-распределительным”. Личный успех - и, в особенности, быстрое восхождение по социальной или имущественной лестнице - в сознании большинства пока ассоциируется с коррупцией, незаконной приватизацией, “распродажей России”. Дело не только в том, что последнее десятилетие дало немало примеров скандальных карьер и полупегальных обогащений. Дело в том, что в массовом сознании еще не изжит идеал старинного русского реакционера Николая Ивановича Греча - договор между обывателем и царем. Царь метет улицы, зажигает фонари и ловит разбойников, а обыватель за это сидит себе тихонечко и даже иногда получает скромную награду (о том, что это за награда, мы поговорим позже).

Это тихое сидение обывателя есть важная составная часть той системы социальных норм, той этики, которая на протяжении столетий господствовала в России и которая весьма влиятельна по сей день.

В советское время - то есть еще совсем недавно - никакой карьеры не было. С точки зрения господствовавшей морали карьера - это нехорошее дело. Есть в ней что-то вызывающе личное, частное, эгоистичное противопоставление собственной персоны родному коллективу и всему народу - скромному и самоотверженному народу-труженику. Плюс к тому лезть начальству, подножки коллегам и прочая подлость. “Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее!” - заклинал Евгений Евтушенко, и все аплодировали. Даже чисто технический термин “карьерный дипломат” произносился полупешотом - и правильно. Чаще всего карьера доводила советского дипломата до ранга первого советника, а дальше стоп: послами становились негодные секретари обкомов и бывшие министры. И успеха у нас тоже не

было - если не считать всемирный триумф балета Большого театра. Но это был успех всего советского искусства.

Вместо собственной карьеры и личного успеха был "жизненный путь": от мастера цеха до руководителя отрасли или - того пуще - от батрака на кулацком хуторе до Генерального секретаря ЦК КПСС. Славный жизненный путь управлялся высшими силами ("на всех постах, куда посылала партия") и завершался официальным некрологом, откуда и взяты вышеуказанные формулировки.

Тот, кто самостоятельно достигал серьезных социальных высот, нарушал гармонию советских сфер. Самый, говоря по-нынешнему, успешный советский ученый академик С.Королев скрывался под псевдонимом "Главный Конструктор". Трудно было смириться с тем, что кто-то достиг высших степеней собственным умом и талантом. Исключение представляли собой деятели искусства, однако с их индивидуализмом велась неустанная борьба.

Но при этом советская эпоха создала совершенный тип карьериста, мощь которого усугублялась тем, что он действовал с постоянной оглядкой на идеи общего блага, бескорыстия, служения Родине, науке или искусству. Это придавало ему необходимую моральную верткость.

Сложились стандартные советские пути к успеху - комсомольско-партийная карьера, хозяйственная, дипломатическая, научная и художественная. Сложились и традиционные атрибуты успеха - машина, дача, спецполиклиника, спецкурорт, спецснабжение. Депутатский флажок на лацкане. Особый наградной эпитет - не просто ученый, а "ученый и общественный деятель", "борец за мир". Все советские люди занимались общественной работой и боролись за мир, но этот титул был самым ценным, так как означал частые дармовые поездки за границу. Выработался легко узнаваемый внешний облик - ондатровая шапка, дорогое пальто спокойного покроя и даже очки. "Да ты что! Да у нашего министра такие очки!" - возмущенно реагировал на подарок жены скромный чиновник из фильма "Время желаний".

Но главным атрибутом успеха была власть, и не только в тех сферах, где власть делают и делят. Ученый не ученый, если он не директор НИИ. Писатель не писатель, если он не секретарь правления Союза писателей или не главный редактор какого-нибудь печатного органа. Оно и понятно - ученому так легче выбить оборудование или финансирование, писателю - легче

издаваться. Но самого слова “успех” никто не произносил, оно было почти табуированным. Говорили - солидный человек, самостоятельный, серьезный. Обеспеченный, уважаемый. Влиятельный. Почтенный возраст сам по себе служил признаком социальной зрелости и, при прочих равных, был дополнительным плюсом в продвижении по службе, особенно если дело касалось высших ступеней общественной иерархии.

Что же касается политической карьеры, то о ней в советских условиях и говорить не приходилось. То, что мы условно называем карьерой, на самом деле было восхождением по бюрократической лестнице, продвижением по службе. Но законы номенклатуры и законы карьеры в общепринятом смысле - вещи малосовместимые. Тех, кто при советской власти пытался делать собственно политическую карьеру, клеймили и уничтожали как политических авантюристов.

Православная этика?

Владимир Даль определял успех как “удачное старанье” или “достижение желаемого”. Но старание во имя личных достижений не было свойственно российскому жизненному стилю. Этика личного успеха базируется на гармоничном сочетании двух принципов - рыцарства и буржуазности. Принято считать, что рыцарство с его культом личной чести унаследовано от средних веков, а буржуазность с ее культом добросовестного труда - это и есть знаменитая “протестантская этика”. На самом деле европейский цивилизационный код имеет более глубокие корни. Они уходят в античную Грецию, где труд рассматривался как богоугодное дело во искупление проступка Прометея (Гесиод. “Труды и дни”) и где зародилась аристократическая идея честного состязания (олимпийская традиция). Добросовестный труд ради личного процветания и честное состязание ради самоутверждения - вот этическая норма европейской цивилизации, лежащая в основе этики достижений. Трудись и состязайся, и Бог тебе поможет.

Принадлежность России к европейской цивилизации требует оговорок. С одной стороны, Россия исторически и культурно принадлежит Европе. С другой стороны, примитивный авторитаризм власти, бесправие и религиозная непросвещенность народа не позволили развиваться европейской этической норме. Федор Степун писал о России: “Во всем изумительное единство стиля, основанное на полном подчинении форм жизненного устройства бесформенности

застраиваемой земли... и чисто русское упорствование в своем исконном убожестве. ... Труд, положенный русским народом на создание Державы Российской, был, конечно, громаден, и все же он никогда не был тем, что под словом “труд” понимает трудолюбивая Европа, что под ним ныне понимаем уже и мы: он не был упорною, медленною работой” (“Мысли о России”, статья IV).

При этом русскому менталитету была свойственна истовая вера в Бога, в Божью милость, несмотря ни на что. Традиционная этическая норма России - ничего не делай, и Бог тебя спасет. Не поможет, а именно спасет. Российский социализм-солидаризм - это вера в чужое могущество как залог собственного чудом дарованного благополучия. Отсутствие личных достижений уравнивается отсутствием личной вины - поскольку оба этих момента заключены в идее личной ответственности. Степан Пелагеюшкин в повести Льва Толстого “Фальшивый купон” не понимает своей ответственности за убийство конокрада: “Неправда, все били, мир порешил убить. А я только прикончил. Что же понапрасну мучить”. Похожим образом ищут и находят оправдание палачи и конформисты советского образца.

Возможно, здесь вырисовываются контуры особого исследования - “Дух социализма и православная этика”. Но пока поговорим об идее и технологии успеха в советской солидаристской этической среде. Полагаю, что частные наблюдения не менее полезны, чем выведение общих формул - тем более что этика успеха как наука в нашем отечестве только начинает свое развитие.

Возвеличивание и обезличивание

В советской солидаристской этике самой высокой ценностью была ценность трудовых достижений. Но герой труда нес скорее репрезентативную функцию.

В ночь с 30 на 31 августа Алексей Стаханов установил свой знаменитый рекорд. Уже в 6 часов утра собрался партком и принял специальное постановление, где, наряду с перечислением наград и льгот новоиспеченному герою, был пункт за номером 10. Там заранее давался отпор тем, кто будет клеветать на Стаханова, считая его подвиг случайностью или выдумкой. Срежиссированность происходящего тем самым была еще раз подтверждена. Стаханов на радостях загулял - завел роман со школьницей, в пьяной драке потерял орден Ленина и партбилет. Ему разрешили развестись и жениться на своей юной

пассии, выдали дубликат партбилета и ордена (!), но Сталин велел передать герою - если так будет продолжаться, ему придется поменять знаменитую фамилию на более скромную. "Человек оказывается ниже своего подвига," - сказал по этому поводу секретарь горкома товарищ Саркисов писателю Авдеенко.

В этике солидаризма человек-деятель оказывался печально необходимым личностным довеском к трудовому, научному и даже художественному достижению. Успех в искусстве труднее всего засекретить или обезличить, и поэтому искусство было одним из немногих социальных секторов советского общества, где личные достижения признавались и поощрялись как таковые. (Возможно, основоположник коммунизма Платон предлагал изгнать поэтов из идеального государства не только потому, что искусство растлевает массы своим содержанием. Оно растлевает их как социальный феномен, почти не поддающийся дезиндивидуализации, и тем самым несущий в себе неискоренимый соблазн индивидуализма.) Реальный социализм не пошел по столь радикальному пути - применялись более утонченные и эффективные технологии.

В жаргоне советских идеологических работников было замечательное слово - "опрохвоститься". Так говорили о знаменитых деятелях искусства, которые не оправдали возложенных на них надежд. Меры принимались разные, в зависимости от тяжести проступка, - от репрессий и/или уничтожения текстов до более мягких технологий обезличивания. Например, в издании финского комического романа М.Лассила "За спичками" не обозначен переводчик (это был М.Зощенко). Песня Петрова-Агатова "Темная ночь" стала как бы народной. Применялось и засекречивание в библиотечных "спецхранах".

Секретный успех

Хорошо было бы, чтобы его - успешного человека - вообще не было... В свое время в газетах было опубликовано постановление о присвоении премий и званий большой группе ученых - без имен.

В начале пятидесятых академик А.Д.Сахаров был безымянно упомянут по радио в веселом стихотворном отчете о кремлевском новогоднем празднике - как "молодой избранник Академии наук". Радиослушатели должны были понять, что в академии недавно был избран молодой человек. А позже, когда на общем собрании Академии он протестовал против избрания в

академики лысенковца Нуждина, в газете он был назван “инженером Сахаровым”, который зачем-то пытался дезорганизовать работу собрания. В те годы со слова “инженер” уже окончательно слетел блеск индустриального командира, и оно стало синонимом совслужащего. Читатели должны были понять, что речь идет о скандалисте из неудачников. И уж никому бы в голову не пришло, что это один и тот же человек - даже если сделать поправку в полтора десятка лет между “молодым избранником” и “инженером Сахаровым”.

Тут можно было бы возразить, напомнив о секретности. Правда, не совсем ясно, что бы случилось, если бы стало известно имя одного из главных конструкторов ядерного оружия. Вряд ли бы это существенно облегчило работу вражеских спецслужб, тем более что в те времена вокруг наших “оружейников” был создан беспрецедентный режим личной безопасности - не говоря уже о режиме секретности их работы. Возможно, не в одной только секретности дело.

Кстати, когда у А.Д.Сахарова отнимали награды, было сказано, что его лишают звания Героя Социалистического Труда - просто Героя, а не трижды. Шутники говорили, что теперь он стал дважды Героем. Особо выдающиеся Герои труда были окутаны некоторой тайной.

В начале перестройки в “Известиях” было сказано, что у нас 15 трижды Героев соцтруда. Но на всякий случай их не перечислили. Впрочем, даже тогда большинство этих имен мало что говорило рядовому читателю. Вот почти полный список: А.Александров, Б.Ванников, Н.Духов, Я.Зельдович, С.Ильюшин, М.Келдыш, И.Курчатов, А.Туполев, А.Сахаров, Е.Славский, Ю.Харитон, К.Щелкин. Плюс к тому Д.Кунаев и Н.Хрущев. Все они, кроме партийцев и математика М.Келдыша - “оборонщики” (один танкостроитель, два авиаконструктора, остальные - атомщики). Пятнадцатого я так и не нашел.

Казалось бы, в стране, где идея трудового героизма была основой официальной этики и официальной пропаганды, трижды Герои - это герои из героев - должны были быть трижды прославлены, их имена должен был бы знать каждый школьник и т.д., и т.п. Но нет! И дело не только в том, что большинство выдающихся Героев соцтруда работало в оборонной отрасли.

Конечно, секретность была образом жизни - вспомним проводимое с 30-х годов планомерное закрытие статистики и нарочитое искажение географических карт. Формальная необходимость “засекретить” успешно работающего

конструктора оружия совпадала с двумя вещами - и с общей манерой секретности, и, что особенно важно, с солидаристской этикой. Поэтому официально популяризировались обыкновенные, так сказать, герои - вроде ткачихи В.Гагановой или учителя В.Сухомлинского. Трижды герой - это даже для парадной советской мифологии было чересчур.

Борьба со стилем

Рассмотрим автобиографическую повесть А.Авдеенко "Отлучение" ("Знамя", 1989. № 3 и 4). Речь идет об отлучении от советского литературного истеблишмента тридцатых годов. Сюжет повести - резко начавшаяся и резко пресекавшаяся литературная карьера (хотя в итоге все кончилось хорошо). Простой советский рабочий парень стал писателем и киносценаристом. Успех у читателей и критиков, новый и непривычно элитарный круг общения, высокие гонорары, многочисленные предложения от киностудий. Жена ездит на "бьюике" по шахтерскому городу. Молодая, модно одетая женщина на комсомольское собрание приезжает на машине - и это в сороковом году! О, как ты была богата и разнообразна, советская жизнь... При этом Авдеенко дерзнул полагать, что он сам заработал славу и деньги и, что называется, "на свои гуляет". Он не понял, что недавний рассказ секретаря обкома о стахановских загулах - это своего рода предупреждение. Разумеется, не прямое, а мистико-метафорическое. Так в развернутых метафорах "Илиады" содержится намек на то, что произойдет с героями в дальнейшем. Итак, А.Авдеенко на время отлучили от советской литературы за стиль личного успеха и все сопутствующие этому успеху аксессуары - что и было занесено в графу "обуржуазивание". Сталин, взглянув на его красивый костюм, обозвал молодого писателя барахольщиком. Но репрессий не последовало - может быть, потому, что случай был слишком неординарный, Ясно, что дело не в сценарии фильма "Закон жизни", за который так критиковали Авдеенко. Дело в стилистике поведения. Что можно (да и то до какого-то предела) Стаханову, то нельзя писателю. Тем более молодому, партийному, из рабочих. Алексею Толстому можно - и не только потому, что его позиция в советской литературной иерархии несопоставима с позицией А.Авдеенко. Потому что его барство - наследственное. "Красный граф", одним словом. М.Горький тоже был высоко вознесен еще задолго до Советов. Это крайне важно - их статус возник как бы "до начала времени", он уже задан. А почти все крупные со-

ветские литературные выдвиженцы были идеологическими чиновниками - секретарями Союза писателей, главными редакторами газет, журналов и книжных серий. Депутатами, официальными борцами за мир и прочими "общественными деятелями". То есть служащими, целиком зависящими от законов советской бюрократической иерархии (кстати, в графе "социальное положение" советский деятель искусства писал "служащий"). А тут возникал прецедент творящегося на глазах личного успеха - и оно бы не страшно, его можно было бы включить в систему, но появился стиль жизни успешного "селф-мейдмена" (selfmademan - человек, сделавший себя сам, а значит, сам за себя отвечающий и собою распоряжающийся). Именно этот стиль нужно было изничтожить, а его носителя грозно оборвать и поставить на место. Авдеенко вернулся в шахту, вечерами продолжал писать роман, в войну был рядовым корреспондентом дивизионной газеты, пока Сталин не сказал Ортенбергу (редактору "Красной Звезды"), что Авдеенко искупил свою вину, и его можно печатать в центральном армейском органе. Примечательно, что сказано это было по поводу очерка о солдате-штрафнике "Искупление кровью". Все это, как говорилось в семидесятые годы, глубоко символично...

В том же самом 1940 году, когда молодого Александра Авдеенко "отлучали" от советской литературы, прославленный Григорий Александров снял фильм "Светлый путь", стандартную сказку про Золушку в советском ценностном контексте. Ткачиха совершает трудовые подвиги, потом становится инженером, получает награды и в финале плывет над Москвой, сидя за рулем роскошного открытого автомобиля. Но фильм Сталину не понравился. Возможно, именно из-за рассказанной в нем истории личного успеха, личного восхождения к высотам социального признания и материального благосостояния. Снятый Александровым в 1947 году фильм "Весна" оказался совершенно другим по этической и, соответственно, жизненностиллистической концепции. В фильме "Весна" несравненно больше всяких роскошеств (апартаменты, дачи, лимузины, застолья, прислуга и т.п.), чем в "Светлом пути", где они появляются лишь к финалу. Изысканный шик торжествует - но он совершенно не опасен для солидаристской этики, и не только потому, что подобные красоты зритель, скорее всего, воспринимал как условный фон. Главное в том, что мир "Весны" совершенно статичен, завершен. Героиня - уже крупнейший ученый. Герой - уже знаменитый режиссер. Иерархия

социальных позиций определена заранее, “до начала времени”, и поэтому непристойное (если брать реальный социальный контекст) богатство героев фильма не угрожает стабильности миропорядка. Более того - единственный персонаж, стремящийся как-то изменить свой социальный статус, представлен смешным и пошлым карьеристом. Именно ему принадлежат слова “где бы ни работать, лишь бы не работать”. Разрубается связь карьеры и труда. Карьерист - по определению не работник.

Может быть, это предположение слишком смело, но рискну его высказать. В конце тридцатых годов - в пору завершения хоть и сталинской, но все же индустриализации - в советском социуме совершенно естественно возникал “индустриальный стиль” поведения, стиль продвижения к успеху, стиль “селфмейдменства” (несмотря на все ритуальные оговорки о руководящей роли партии и т.п.). Но этот стиль резко противоречил солидаристской этике и был сведен на нет.

Успех как награда

По поводу фильма “Светлый путь” Сталин якобы сказал режиссеру Г.Александрову: “Вы хотели нам угодить. Но нам угодить нельзя”. Это замечательная, хотя, возможно, и апокрифическая фраза. Конечно, тираны любили выражаться многозначительно и многозначно. Можно понять, что, мол, не надо нам угождать и льстить. Но, скорее всего, это значит - нельзя угадать хода наших мыслей и расположения нашего духа - оно свалится на вас как манна небесная или поразит, подобно карающему грому.

Успех даруется сверху, это не “удачное старанье” и даже не ловкое подлаживание к начальству. Максимум рациональности здесь - это русская пословица о том, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадают. В “достижительной” этике есть если не полная (всякое может случиться в жизни), то надежная гарантия личного успеха. Так сказать, статистическая гарантия: у всех получается, значит, и у тебя, скорее всего, тоже получится - дерзай! А в солидаристской (православной?) этике, которая формулируется в этой пословице, есть не гарантия и даже не надежда, а знание, что если ты поступаешь правильно, то получишь награду. Возможно, на небесах. Или в виде... а вот в виде чего? Стишок на агитплакате, выпущенном в честь учреждения в 1974 году медали “Ветеран труда”: “Растил ли хлеб, водил ли поезда, / нефть добывал, не покладая рук - / Ты получил за долгие года / медаль с названием “Ветеран труда”. /

Она - признание твоих заслуг". И так, речь идет о символической награде в виде признания того, что ты жил правильно. До недавнего времени любой награждаемый произносил ритуальную фразу: "Эта награда принадлежит не мне, а всему нашему коллективу".

И еще один агитплакат семидесятых. На нем изображен пожилой мужчина на фоне комбайна, а внизу стихи: "Рукам золотым его нет цены! / К подвигу, к битве за хлеб готов / герой войны и герой целины / Иван Иванович Иванов." Мне - а может быть, не одному мне - казалось, что в такой несколько экстравагантной форме прославляется герой, передовик и русский человек вообще. На самом деле был такой председатель целинного колхоза, но как все удачно совпало!

В солидаристской этике чрезвычайно велика ценность "личной скромности". Она часто упоминается в некрологах. Был и такой стандартный пункт в списке прегрешений советского человека и коммуниста - личная нескромность. Речь шла не о хамстве, бахвальстве или разврате, а прежде всего о личной собственности, машинах и дачах. В двадцатые-тридцатые годы это называлось "обрастанием". Этот почти забытый термин вдруг на мгновение вынырнул в самом начале перестройки - очевидно, в потоке идей "возврата к ленинским нормам".

ОНИ (то есть фарисеи-лицемеры) УЖЕ получили СВОЮ награду. Их успех - пошлое благоденствие в этой жизни.

Русский скиталец с такой мелочью примириться не может. Ему, перефразируем Достоевского далее, нужен всемирный успех. А всемирный успех - это успех в духе и истине, а снаружи - всеобщая скромность.

Опыт несвершения

Из заданной скромности героя вытекает идея (и технология) замены одного героя другим при постоянстве подвига.

Вспомним "Рассказ о неизвестном герое" С.Маршака. Оно заканчивается утверждением "К славному подвигу каждый готов!" Этим стихотворением ставится точный противовес маршаковской же поэме о военном враче, который спрыгнул с парашютом на льдину и сделал спасительную операцию раненому полярнику. В посвящении названо даже имя героя - капитан медслужбы Буренин. Правда, в финале сказано, что послал его на подвиг "от имени Родины - Сталин". Все равно - слишком! Неизвестный массовый герой лучше.

Но как незаметному герою почувствовать себя таковым? Просто идентифицироваться с чужими подвигами не всегда удается, и в конечном итоге все сводится к смешному - “я делаю ракеты, перекрываю Енисей, и даже в области балета я впереди планеты всей”.

Как бы в ответ этой песенке в официальном “маскульте” появилась другая песня - “Когда бы не было меня...” (простой рабочий на полном лирическом серьезе говорит, что все в стране происходит благодаря ему). Но воспринималась она как осерьезненная пародия на широко известную песню Ю.Алешковского, упомянутую выше. И эта песня тоже была, в свою очередь, спародирована. Солидаристская этика была трижды пропущена через смеховые жернова.

Но ничего позитивного в этом, разумеется, не было. Внутри солидаризма можно было только отрицать его - либо смехом, либо странной заменой реальных достижений достижениями совершенно особого рода.

Поэтому в культуре, сориентированной на более утонченного потребителя, возникала идея духовной высоты на фоне социального смирения. Глашатаем этой идеи стал известный в 70-е годы публицист Евг.Богат. Одна из его статей называлась “Опыт несвершения”. Человек, по Евг.Богаду, не должен стремиться ни к каким успехам и достижениям. Они греховны изначально и не принесут ничего, кроме пустоты, одиночества и смерти, духовной и физической. Надо жить правильно. А жить правильно - значит не стремиться ни к чему, кроме внутреннего усовершенствования. По существу, речь идет о религии социального мазохизма, которая прекрасно вписывается в православно-солидаристскую этику.

Эстетичная этика солидаризма

В воспоминаниях моего отца, писателя Виктора Драгунского, о режиссере и актере Алексее Диком есть примечательные строки о служении театру (цитирую по памяти и поэтому без кавычек): ты должен работать, не жалея себя, днями и ночами, только смерть может извинить опоздание или прогул, и так далее, и тому подобное... Но самое главное: вполне может случиться так, что за весь твой адский самоотверженный труд тебе - тебе лично - жестокий театр не воздаст ничего. И ты должен быть к этому готов.

Конечно, в служении искусству дело обстоит именно так. Высокие достижения возможны, в частности, за счет безвестного

труда малых жрецов искусства. Это напрямую проявляется в тех родах искусства, которые требуют труда большого коллектива (театр, кино), и косвенно - во всех других его областях.

Но в советскую эпоху этот принцип социального функционирования искусства был распространен на все общество. Общество - как актерский ансамбль или даже шире - как театр, как вся труппа, от главного режиссера до гардеробщицы.

Получалось так, что высокие достижения общества в целом существовали за счет запрета на личные достижения граждан. Не то, чтобы прямой запрет, а моральное клеймо - нехорошо, нескромно, неумно, некрасиво. Как поведение актера, который вдруг начал "премьерствовать", тянуть внимание зала на себя, нарушая цельность спектакля. Или того хуже - как поступок театрального электрика из знаменитого рассказа М.Зощенко.

Вот она, институционально-эстетическая производная от солидаристской этики.

Самая индивидуалистичная и "достижительная" страна в мире - Америка - создала самую, пожалуй, некрасивую, бездарно-пеструю и эстетически пошлую среду обитания человека, от городов и домов до одежды. Вообще солидаризм гораздо эстетичнее индивидуализма. Он порождает гармонию, иерархию, ансамблевую организацию пространства, уравновешенность красоты и пользы, уважение к канонам, культ высоких образцов.

Что дальше?

Русский солидаризм существует на фоне проклятия мещанству. Этот "опыт несвершения", это горделивое "мы" прекрасно сочетается с ненавистью и презрением к простым людям.

Кажется, И.Бунин одним из первых заметил проклятие простому человеку, исходящее из уст революционеров. Заметил и изумился. Но это свойственно не только революционерам. Великий православный диалектик А.Ф.Лосев точно так же проклинал "мещанские душонки". Презрение к простому человеку сочеталось с проклятием всему, из ряда вон выходящему, индивидуальному, особенному.

Что же такое человек в русской солидаристской этике? Это маленький человек, живущий во имя великих идей. Точка.

Наш солидаризм отвергает сверхчеловека в его немецко-романтической форме. Незаменимых нет. Писателей - властителей дум - заменили писатели-выдвиженцы. Ленина

заменял Сталин, и этого последнего к концу его жизни тоже стали потихоньку заменять - дабы не было соблазна. Культ личности - всегда соблазн для будущих наполеонов, он создает опасную иллюзию возможности восхождения.

Нет героев, и нет толпы. Есть общество скромных тружеников, живущих для счастья грядущих поколений. Юроды светлого будущего ради. (Того будущего, которое функционально заменило царствие небесное. Впрочем, такая замена предусматривалась еще в молитве Господней - "да придет царствие твое... как на небесах, так и на земле".)

Такова солидаристская (православная?) этика в ее завершенной полноте, достигнутой в советскую эпоху. Главный вопрос - сумеет ли быстро обуржуазивающаяся Россия выработать приемлемую для большинства этику личных достижений.

Т. И. Кутковец, И. М. Клямкин
**РУССКАЯ САМОБИТНОСТЬ СЕГОДНЯ:
ДУХОВНОСТЬ ИЛИ ДУШЕВНОСТЬ ?**
(по материалам народной экспертизы)

Идеологи и политики самых разных направлений и оттенков (прежде всего державно-патриотической ориентации) много говорят сегодня об особом историческом пути России, вытекающем из ее специфических особенностей. Слово “самобытность” - едва ли не ключевое в их политическом словаре.

Вряд ли есть смысл спорить с тем, что любая страна может развиваться только самобытно, то есть в соответствии со своими культурными и другими традициями. Вопрос не в этом, а совсем в другом: в чем именно состоит российская самобытность, причем не вообще, а именно сегодня? Такова ли она, какой была сто, двести или четыреста лет назад, или она в чем-то изменилась? Если такова же, то она обрекает нас на очередное повторение пройденного - будь-то в коммунистическом или в каком-то другом, похожем на него варианте. А если нет, то в чем именно и благодаря чему она изменилась, и как это может повлиять на исторический путь страны?

О самобытности России, начиная со славянофилов, принято говорить как о чем-то таком, что, во-первых, принципиально отличает ее от стран Запада, а во-вторых, составляет ее преимущество перед ними. Ничего нового, строго говоря, с тех пор не изобретено: нынешние отечественные “самобытники” почти дословно повторяют сказанное полтора столетия назад. Поэтому есть смысл воспроизвести некоторые высказывания славянофилов. Они утверждали, что:

- в странах Запада царит культ личной свободы, “индивидуальной изолированности” (Ю.Ф.Самарин); в России же имеет место общинность, “хоровое чувство” (А.С.Хомяков);
- в странах Запада жизнь основана на “эгоизме собственности” и, соответственно, исключительно на “личной пользе”; в России - на “общинном единстве”, которое есть “основной камень всех общественных понятий” (А.С.Хомяков);
- в странах Запада господствует материальное начало со свойственной ему “прихотью моды”, там роскошь быта - “почти добродетель” (К.Аксаков); в России - начало духовное, “совесть и дух”, которым соответствует “простота жизненных потребностей”

и восприятие богатства как чего-то второстепенного (П.В.Киреевский);

- в странах Запада правит бал “всеобщий эгоизм” и “чувство самолюбия”; в России - “терпение, простота и смирение” (А.С.Хомяков).

А теперь перелистаем программную книгу “Современная русская идея и государство” (М., 1995), подготовленную государственно-патриотическим объединением “Духовное наследство”. Ее авторы исходят из “невозможности перенести идеологию и практику западного либерализма на национальную российскую почву”, так как эта идеология и эта практика несовместимы с самобытными особенностями российских народов. Самобытность же их заключается в “соборности (коллективизме), державности (государственной самодостаточности) и стремлении к воплощению высших небесных идеалов справедливости и братства в земной действительности”. Перечисляя “основные элементы формирующейся современной Русской Идеи”, авторы упоминают и о “приоритетах духовных ценностей над материальными, отрицании в основном (то есть не всеми, могут быть и исключения? - И.К.) меркантилизма и вещизма”.

Конечно, нынешние “почвенники” не очень ортодоксальны в своем следовании славянофильской традиции. Можно сказать, что они пытаются соединить эту традицию с другой, державно-государственнической, которую славянофилы отвергали и которая свое классическое выражение нашла в формуле графа С.С.Уварова: “Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию” (его сегодняшние последователи меняют в этой формуле лишь одно слово: вместо “самодержавие” они говорят “государство”). Нам, однако, важно сейчас лишь то, что у всех поколений идеологов российской “почвеннической” самобытности речь шла и идет о *народе*, о присущих ему особенностях, принципиально отличающих его от народов западных стран и делающих для него чуждым и неприемлемым развитие по западному пути. У сторонников этой точки зрения есть один-единственный, но сильный аргумент: история нескольких последних столетий дает основание для таких выводов. Но так ли обстоит дело *сегодня*?

Этот вопрос и был главным среди тех, которые мы ставили перед собой, замышляя исследование “Особый путь России” *.

Мы решили выяснить, как сам народ представляет себе свои самобытные особенности, или, что то же самое, мы предоставили ему провести экспертизу тех мнений о нем, которые имеют хождение в кругу политиков и идеологов. Разумеется, набор мнений, предлагавшихся для экспертизы, не может претендовать на полноту. Но те из них, о которых говорилось выше, мы постарались учесть. Кроме того, наряду с “почвенническими” представлениями о российской самобытности, мы включили в анкету и те, которые отмечались и отмечаются идеологами русского западничества, усматривающих во многом из того, что “почвенники” считают добродетелью, нечто прямо противоположное. И, наконец, самое главное: нас интересовали не только представления людей о самобытности России и ее народа, но и оценки ими тех или иных особенностей, которые эту самобытность, по их мнению, составляют. Хорошо это или плохо для страны, что ее население обладает какими-то качествами? Способствуют они ее развитию, ее движению к процветанию или, наоборот, препятствуют такому движению, тормозят его?

Вот ответы, которые мы получили на свои вопросы.

Таблица 1.
Представление россиян о самобытных особенностях России и ее народа и оценка этих особенностей (данные в процентах от общей численности опрошенных)

- А - Что из перечисленного лучше всего выражает Ваше представление об особенностях России, о самобытности ее народа?
- В - Какие из особенностей России являются, на Ваш взгляд, ее достоянием, способствуют ее величию?
- С - Какие из особенностей России и ее народа, на Ваш взгляд, мешают России стать процветающей страной?

<i>Самобытные особенности россиян</i>	А	В	С
Терпеливость (способность в течение длительного времени переносить трудности и лишения)	67	32	27

* Опрос населения, на основе которого осуществлялось исследование, проводился в мае 1996 года по репрезентативной общероссийской выборке (были опрошены 1519 человек).

Жизнестойкость (способность вопреки притеснениям и вопреки власти развивать свои таланты, стремиться к знаниям, творчеству и т.п.)	60	53	3
Привычка довольствоваться малым (скромные потребности большинства населения)	53	12	34
Коллективизм (склонность действовать и решать большинство жизненных проблем сообща, а не индивидуально)	51	38	7
Духовность, преобладание духовных ценностей над материальными	51	45	2
Склонность во всем уповать на власть (уверенность в том, что решение большинства жизненных проблем зависит только от власти)	50	4	41
Покорность (готовность смириться со всем, к чему принуждает власть)	47	4	37
Преданность государству (готовность подчинять свои личные интересы интересам государства)	42	31	6
Обостренное чувство справедливости (стремление к обществу, где нет значительных различий в уровне доходов)	41	21	13
Склонность решать жизненные проблемы в обход закона	29	2	24
Склонность переводить деловые, официальные отношения в дружеские, неформальные	29	10	14
Склонность считать, что порядок в стране важнее политических свобод	25	7	13
Нетерпение (желание быстро, не считаясь с реальными возможностями, решать сложные долгосрочные проблемы страны)	17	2	12
Обостренность чувства внешней опасности, военной угрозы	14	3	7
Ничто из перечисленного	0	0	1
Затрудняюсь ответить	4	3	3

Не претендуя пока на обстоятельный анализ приведенных данных, ограничимся самым общим комментарием.

Бросается в глаза, что в сознании опрошенных преобладают “почвеннические” представления о самобытности: в первую пятерку присущих россиянам особенностей вошли терпеливость, привычка довольствоваться малым (скромность потребностей), коллективизм и духовность (в ее “почвеннической” трактовке). Однако и либерально-западническая версия российской самобытности тоже распространена достаточно широко - такие качества, как склонность во всем уповать на власть и покорность перед ней, считает присущими россиянам половина опрошенных. Если добавить к этому, что на втором месте после терпеливости оказалась жизнестойкость, причем отнюдь не в “почвенническом” ее толковании, а именно - как способность народа к выживанию и жизнотворчеству, *вопреки власти* и ее запретам, то картина будет выглядеть еще более сложной.

С одной стороны, многие люди фиксируют в народе то, что принято называть привычкой к рабству. С другой - еще больше людей полагает, что народ развивается и добивается успехов благодаря своей способности сопротивляться рабству, то есть не следовать этой своей привычке! Отметим, что именно жизнедеятельность вопреки власти получила наивысший процент *положительных* оценок, намного опередив все другие самобытные особенности. Что же касается привычки к рабству, то есть покорности перед властью, что бы она ни делала, и упования на ее милости и заботу, то эти два качества собрали, наоборот, самый высокий процент *отрицательных* оценок. Что это значит?

Можно предположить, что в России сложился достаточно массовый слой, который на собственном опыте пришел к либеральной версии самобытности России и к либеральной критике этой самобытности. Не исключено, что мы имеем дело с *самокритикой народа*, с начавшимся самопреодолением им тотальной зависимости от власти. Но так как полностью преодолеть ее он еще не в состоянии, так как сил, чтобы установить с ней равноправные партнерские отношения, он в себе еще не чувствует, а она давно уже, по крайней мере после смерти Сталина, не чувствует в себе сил для тотального контроля за ним, то он одновременно и примиряется с ней, и норовит решать свои проблемы в обход нее, по возможности избегая столкновений, а часто и вопреки ей и ее установлениям; он и конформист, и диссидент. То, что раньше составляло особенность подцензурного проживания русских писателей и поэтов, сегодня воспринимается как главная особенность каждодневного

существования рядового человека, более того - как самое ценное проявление самобытности всего народа, причем не только ныне живущих его поколений!

Да, “почвеннические” представления о российской самобытности хотя и преобладают, но люди явно не в восторге от того, что считают свойственным своим соотечественникам. Это проявляется не только в том, что многие из них отторгают традиционные для России отношения народа и власти. Это проявляется и в оценке терпеливости, занимающей с 67% голосов первое место среди отмеченных самобытных качеств россиян, - благо для страны в ней видят вдвое меньше людей (32%) и почти столько же (27%) усматривают в многократно воспетом русском долготерпении помеху, а не добродетель. Еще выразительнее выглядит отношение к довольству малым: 53% опрошенных назвали его самобытной чертой россиян (третье место) и лишь 12% выставили этому качеству положительную оценку (отрицательную - почти в три раза больше).

Если славянофилы и их последователи были правы, если они действительно зафиксировали какие-то характерные, сущностные, архетипические черты русского народа, принципиально отличающие его от народов западных стран, то наши данные свидетельствуют о том, что эти черты теряют в глазах народа свое обаяние и начинают выглядеть не преимуществом, а недостатком. В сегодняшней его самооценке доминирует скорее чаадаевское, чем славянофильское начало.

Значит ли это, что “почвеннические” апелляции к самобытности обречены на провал, что серьезных политических дивидендов они принести не могут? Не будем спешить с выводами. Ведь “почвенническую” версию духовности и коллективизма и сегодня готовы принять не так уж мало людей, их вполне достаточно, чтобы выиграть первый, а то и второй тур президентских выборов. Кроме того, даже в тех случаях, когда ту или иную особенность положительно оценивает незначительная часть населения, важно знать, что за этим стоит: *не преодоленное прошлое или зарождающееся будущее, то есть наполнение старых архетипов новым смыслом*, подобно тому, как это произошло после октября 1917 года. Не так уж важно, что порядка без свободы хотят лишь 7% наших сограждан; важно, куда они смотрят: в прошлое, которое хотят реанимировать, или в будущее, которое хотят построить, приспособив наследие прошлого к новой исторической ситуации.

Поэтому в дальнейшем мы сосредоточим основное внимание именно на тех, кто положительно оценивает те качества россиян, в которых современные “почвенники” видят главные проявления самобытности живущих в стране народов. Говоря иначе, мы хотим детально исследовать идеологическую территорию, в освоении которой политики державно-политической ориентации не без оснований считают себя монополистами. Это значит, что в первую очередь нас будут интересовать люди, которым дороги те слова и символы, к которым апеллируют представители современного российского антизападничества. Что представляют собой эти люди? Какой смысл вкладывают они в привлекательные для них слова и символы, и почему эти слова и символы для них привлекательны? Как относятся они к советскому прошлому и постсоветскому настоящему? Каким видят будущее страны? Каков в их глазах образ Запада? Можно ли утверждать, что их симпатии к “почвеннической” версии самобытности равнозначны признанию или принципиальной несовместимости идеалов и ценностей россиян с идеалами и ценностями народов западных стран?

Естественно, что для рельефности портретов интересующих нас групп нам придется сопоставлять их как с населением в целом, так и с другими группами - прежде всего с теми, которые оценивают “почвенные” проявления российской самобытности отрицательно. В результате, как надеемся, читатель получит достаточно полную картину восприятия российским обществом “русской самобытности”.

В этой статье мы остановимся лишь на одной, характеризующей *современную* российскую самобытность, проблеме - стремлении к *духовности*. “Почвенническое” понимание духовности, как предполагается его сторонниками, свойственно и народу. Речь в этом случае идет о том, что проза повседневных забот и каждодневный напряженный труд ради хлеба насущного сами по себе ему скучны, что он нуждается в одухотворении этой повседневности высшим (“небесным”) смыслом. Предполагается, иными словами, что идеология большевистского мессианского прорыва, поставившая осуществление личных целей в зависимость от глобально-исторических, и сегодня отвечает глубинным чаяниям большинства россиян, составляет их главную и не подвластную времени самобытную особенность.

Остается понять лишь одно - так ли это на самом деле. А чтобы понять это, попробуем выяснить, насколько соответствуют

“почвеннические” представления о духовности российского народа представлениям о нем самого народа.

На первый взгляд, такое соответствие имеет место: заложенная нами в анкету “почвенническая” интерпретация российской духовности (“преобладание духовных ценностей над материальными”) отвечает представлениям 51% опрошенных, а 45% видят в толкуемой так духовности не только проявление самобытности народа, но и его ценное достояние. Людей же, которые оценивают ее отрицательно, в стране почти нет (всего 2%).

Но это лишь на первый взгляд. Дело в том, что даже те, кто высоко оценивает российскую духовность (а они-то и будут интересоваться нас в первую очередь), часто реагируют, похоже, на само слово, а не на его “почвенническое” толкование. Предложив респондентам более широкий перечень представлений о российской духовности, из которых им предстояло выбрать наиболее точно передающие ее содержание, мы обнаружили заметное уменьшение численности людей, понимающих ее как “преобладание духовных ценностей над материальными”. По населению в целом их доля уменьшилась на треть (с 45 до 30%), а среди назвавших духовность достоянием россиян, способствующим величию страны, более чем вдвое (со 100 до 48%).

Что же все-таки подразумевают под российской духовностью те люди, которые видят в ней не только самобытную особенность россиян, но и залог будущего процветания страны? Какой смысл, а точнее - какие смыслы они в нее вкладывают? Ищут ли они эти смыслы в недавнем прошлом, в советской “великой мечте”? А главное - означает ли высокая оценка этого самобытного качества принципиальное неприятие западного образа жизни, как утверждали и утверждают идеологи отечественного “почвенничества”?

Апология чувства

Итак, лишь около половины из интересующей нас группы согласились с представлением о российской духовности как о преобладании духовных ценностей над материальными. Мы пока не будем выяснять, чем согласные отличаются от несогласных. Рассматривая тех и других как единую группу, объединенную признанием высокой значимости российской духовности для судеб страны, попробуем понять, что же подразумевают под ней ее представители. Приблизиться к такому пониманию нам

поможет анализ других, более конкретных представлений об основах российской духовности. Обратим внимание читателя на то, что респондент мог выбрать не один, а несколько (но не более трех) ответов: с одной стороны, это облегчало его выбор, с другой - ограничивало его, заставляя сконцентрироваться на наиболее для него значимом.

Начнем с того, что очень немногие подразумевают под российской духовностью интерес к гуманитарному знанию, к расширению культурного кругозора. Так, лишь 15% представителей исследуемой нами группы полагают, что она проявляется в интересе к истории и культуре своей страны; еще меньше - всего 6% - называют среди ее признаков интерес и уважительное отношение к истории и культуре других народов. Примерно такая же картина наблюдается и по населению в целом.

У нас нет материала, позволяющего толковать эти цифры однозначно. Они могут свидетельствовать о том, что в массовом сознании разрушен (или вообще не сложился) навязывавшийся в недавнем прошлом образ России как "самой читающей страны", превосходящей другие страны широтой и многообразием культурных запросов своих граждан. Но вполне оправдана и другая версия: люди отдают себе отчет в том, что духовность не сводится к знанию и информированности.

Если так, то, быть может, российская духовность воспринимается как христианская, православная? Первые христиане, да и сам Христос, университетов, как известно, не кончали, а к познаниям "книжников и фарисеев" относились более чем настороженно именно потому, что не обнаруживали в них той духовности, которая предполагает возвышение человека над каждодневной суетой и индивидуальным эгоизмом, озабоченным самоутверждением за счет превосходства в богатстве, образованности или чем-то еще, и проявляется только в особом отношении к другому человеку, передаваемом словом "любовь". Похоже, однако, что и христианская духовность не воспринимается сегодня как присущая народу России: только 26% представителей интересующей нас группы (при 21% в среднем по населению) считают основой российской духовности религиозность, веру в Бога. Тем не менее представление о том, что в ее основе - некий особый тип человеческих взаимоотношений, распространено достаточно широко.

Речь идет не о том, что называется "культурой отношений между людьми" и что предполагает следование определенным

правилам и нормам. Этого наши респонденты в повседневной жизни, судя по всему, не обнаруживают, а потому только 10% представителей интересующей нас группы склонны усматривать в этом проявление российской духовности. Речь, скорее, идет о чем-то принципиально нерациональном, ни с какими нормами и правилами не связанном, а именно - о предрасположенности россиян к эмоциональным контактам, к доверительности и искренности общения, к тому, что называется "излить душу". Среди тех, кто назвал российскую духовность ценным достоянием наших соотечественников, 40% расшифровали ее как "потребность в дружбе, общении, откровенных разговорах по душам" и 39% - как "теплоту, сердечность отношений между людьми". В этом они тоже почти не отличаются от населения в целом, что свидетельствует о широкой распространенности таких представлений во всем российском обществе. Существенно и то, что хотя бы одну из этих близких по своему смыслу особенностей назвали составляющей российской духовности свыше половины представителей интересующей нас группы.

В дальнейшем мы не раз сможем убедиться в том, что приведенные данные не случайны; в них проявляются некоторые существенные особенности народности самосознания, имеющие давние истоки. Отечественные мыслители, начиная опять-таки со славянофилов, фиксировали еще одно очень принципиальное отличие западного человека от русского. Первому, по их мнению, присущ рационализм, сосредоточенность на обустройстве и упорядоченности своего повседневного существования. У своих соотечественников они такой практической целеустремленности не обнаруживали и не видели в сознании и привычках россиян никакой почвы для ее привития им. И эту особенность славянофилы попытались истолковать не как недостаток, а как преимущество, поставив русскую склонность к эмоциональному (и совместному с другими людьми) переживанию жизни в ее полноте и непосредственности выше эгоистично-рассудочного проживания ее западным человеком, проживания, этой полноты и этой непосредственности лишенного. Надо сказать, что такие представления вполне соответствуют расхожему мнению о широкой натуре русского человека, его иррациональности, непредсказуемости и необъяснимости многих его поступков, которые "умом не понять" и которые делают его загадкой для рационально мыслящей личности, всегда просчитывающей свое поведение и отдающей себе отчет в том, почему она действует именно так, а не иначе.

Двадцатый век наглядно продемонстрировал, что такое массовая эмоциональная спонтанность и дефицит рациональности в индустриальную эпоху. Это - благодатная почва для восприятия "великой мечты" в ее коммунистической идеологической упаковке, когда все, что касается рациональности, берет на себя государственная власть, оставляя гражданам лишь право на чувство - веры в нее, любви к ней и ненависти к ее противникам. Такого поворота событий славянофилы не предвидели, а если бы предвидели, то не одобрили бы. Но история развивалась именно так, а не иначе; она развивалась скорее в соответствии с представлениями графа Уварова, чем славянофилов. Однако не последнюю роль в этом сыграла та самая особенность народа, которая славянофилами поднималась на щит и которая заключалась в преобладании эмоционального начала над рациональным.

Далеко не все представления идеологов российского "почвенничества" о русском народе подтверждаются сегодня народной экспертизой. Это - в значительной степени подтверждается. Мы вновь обнаруживаем, что теплота эмоциональных контактов, их доверительность и откровенность воспринимаются как одно из главных проявлений российской духовности. Да, но речь ведь идет о взаимоотношениях между людьми, а не между человеком и государством! Это так, но это не значит, что одно с другим никак не связано и что завершившийся коммунистический эксперимент не сказывается на нынешних представлениях россиян о самих себе.

Советский режим культивировал проживание чувствами не только по отношению к власти. Такое проживание поддерживалось отсутствием у большинства людей возможности строить свои взаимоотношения на основе интересов. Интересы тогда связывались главным образом с властью (обладанием ею или "отеческой заботой" с ее стороны) и почти никогда - с отношениями между людьми или группами людей. Это приводило к тому, что сами эти отношения исключали какую бы то ни было рациональность, практичность, целенаправленность; в лучшем случае, весь их практический смысл сводился к обоюдной поддержке и помощи в трудных обстоятельствах. Потребность в эмоциональных контактах, в откровенных разговорах "за жизнь" была естественным следствием всеобщей зависимости от власти, уравнивающей и - тем самым - сближающей людей, остро нуждающихся в эмоционально-психологической компенсации неполноценности исторического проживания.

Когда они говорят сегодня о российской духовности как о “теплоте и сердечности”, то это одновременно и воспоминание о прошлом, и реакция на настоящее, которое ощущения полноценности большинству россиян не принесло, а отношения между людьми охладило, сделало их более расчетливыми и прагматичными. В жизнь вторгся его величество интерес, право жить лучше других, причем не чуть-чуть, а без всяких ограничений, стало официально провозглашенным принципом. Но далеко не все могут ему успешно следовать. Поэтому и сохранился в памяти образ прежних отношений между людьми, поэтому и выглядит он в глазах многих привлекательным. Не удивительно, что высокая оценка российской духовности соотносится с высокой оценкой коллективизма, о чем мы уже упоминали. К сказанному выше можем добавить: в интересующей нас группе, представления которой, как правило, не отличаются от представлений российского общества в целом, “коллективистов” почти в полтора раза больше (52%), чем в среднем по населению. Это не удивительно, так как в обоих случаях имеется в виду одно и то же: желание отдельного “я” вернуть утраченное “мы” и найти в нем опору, хотя бы и только эмоциональную.

Разрушение этого “мы” началось не сегодня и даже не десять лет назад. Оно началось еще в брежневскую эпоху, когда “мы” стало разъедаться и дробиться на части утверждавшейся в жизни формулой: “Ты мне, я - тебе”. И не сегодня, а тогда пошли разговоры о том, что “люди стали хуже”. И именно в ту пору власти вынуждены были принимать постановления, направленные против коллективизма в виде ставших повсеместными застолий на рабочих местах и в рабочее время. Что касается сетований на бездуховность и обесмысленность существования, то их тогда было не меньше, чем сейчас; об этом - вся литература “эпохи застоя”. Но легальные возможности для реализации частных интересов тогда были ограниченными, от “отеческой заботы” в обмен на всеобщую от себя зависимость государство не отказывалось; ему удавалось удерживать образ единого советского “мы” от полного распада. Однако о великой мечте и “неземных идеалах”, в чем идеологи “почвенничества” и сейчас видят одно из главных проявлений российской духовности, в те времена даже власти вспоминали скорее по инерции, чем по убеждению. Есть ли основания утверждать, что с тех пор что-то принципиально изменилось, что выпавшие в последние годы на долю народа трудности возбуждают в нем

желание поставить их преодоление в зависимость от воплощения “великой мечты”, противостоящей “меркантилизму и вещизму” и предполагающей “преобладание духовных ценностей над материальными”?

На первый взгляд, такие основания существуют. Дело в том, что самым распространенным представлением о российской духовности и в интересующей нас группе, и среди населения в целом оказалась “вера в будущее, помогающая терпеливо переносить трудности настоящего” (соответственно 59 и 54%). Предлагая респондентам этот вариант ответа, мы отдавали себе ясный отчет в его неопределенности и расплывчатости. Во-первых, вера в будущее, которое всегда лучше настоящего, или, что то же самое, вера в прогресс - вовсе не экзотический плод, произросший на самобытной российской почве; он завезен в Россию с Запада. Во-вторых, в России эта вера укрепилась как вера в коммунистическое будущее, а мы эту особенность в предложенной формулировке ответа обошли. Но мы сделали это сознательно, так как нам важно было выяснить лишь одно: насколько соответствует умонастроениям нынешних поколений наших сограждан представление о российской духовности как о готовности к самоограничению во имя осуществления “великой мечты” (не обязательно коммунистической), к жертвованию настоящим ради будущего.

Повторим еще раз: такие представления находят сегодня отклик у большинства населения. Но это такой ответ, который влечет за собой некоторые вопросы. Что имеют в виду люди, когда говорят о “вере в будущее”? Коммунистический идеал? Советский опыт его конкретного воплощения? Или то будущее, которое обещают нынешние реформаторы, указывая, как на образец, на западное настоящее?

Духовное и материальное

Полученные нами данные не оставляют сомнений в том, что духовность не воспринимается сегодня как нечто противостоящее высоким стандартам потребления и материальному началу вообще, как синоним простоты и скромности жизненных притязаний, о которых говорили славянофилы. Люди, выделившие духовность как одно из важнейших самобытных качеств россиян, не меньше других озабочены тем, чтобы иметь высокий уровень благосостояния, и они не хотят обменивать это свое желание на возможность служения “набесным идеалам”, не

хотят искать духовные компенсаторы бедности, а стремятся из нее выйти. Только 15% представителей интересующей нас группы считают скромные потребности россиян, их готовность довольствоваться малым ценным качеством народа, которое может помочь ему в решении стоящих перед ним проблем. В данном отношении эта группа тоже почти не отличается от населения в целом (12%). Доля же отрицательных оценок почти в три раза больше (39%), что даже превосходит соответствующий показатель по населению в целом (34%).

Люди признают: да, скромность потребностей действительно свойственна россиянам, то есть народная экспертиза подтверждает справедливость «почвеннического» представления о народе. Но эта же экспертиза отвергает высокую оценку материальной непритязательности граждан России как их самобытное преимущество; наши респонденты склонны усматривать в такой особенности своих сограждан не столько самобытное преимущество, сколько самобытный недостаток. Что отсюда следует? Отсюда следует, что даже в том случае, когда люди высоко оценивают российскую духовность и даже когда понимают ее как «преобладание духовного над материальным», они чаще всего не имеют в виду низкие потребительские стандарты. Духовное не вместо материального, а на его основе, «преобладание духовного» при обеспеченном и комфортном проживании - вот в чем, скорее всего, смысл и пафос сегодняшних настроений в российском обществе.

О том же, как это ни покажется странным, свидетельствует и широко распространенное представление о российской духовности, как о «вере в будущее, помогающей терпеливо переносить трудности настоящего». Чтобы превозмочь невзгоды и лишения, требуются некоторые недюженные духовные силы, россияне умели и умеют их в себе находить, и наши респонденты отдают должное жившим и живущим поколениям своих соотечественников. Но «вера в будущее» потому и помогала находить такие силы, что вера эта не представлялась чем-то самоценным, она предполагала и предполагает, что будущее может быть другим, что терпение рано или поздно будет вознаграждено, что бедность и лишения исчезнут, а на их место придут высокий достаток и благополучие. 62% представителей интересующей нас группы (это даже чуть больше, чем в среднем по населению) видят унижение России именно в бедности большинства народа. Это значит, что они ее терпеливо переносят, но восторга от своего терпения не испы-

тывают и идеализировать его не склонны. А это, в свою очередь, означает, что “вера в будущее”, воспринимаемая как составляющая российской духовности, исполнена не столько “небесного”, сколько земного и вполне материального смысла; можно сказать, что в ней духовное и материальное не отделились друг от друга, пребывая в нерасчлененном единстве.

Подобное состояние сознания ничего общего не имеет с жертвенностью и аскетизмом, то есть с добровольным самоограничением желаний, что может быть (и в истории часто бывало) проявлением колоссального духовного взлета. Если желания в принципе не могут получить удовлетворения, а человек хочет их удовлетворить, но не может, то никакого самоограничения и никакой духовности, отделившейся от материальных потребностей, тут еще, строго говоря, нет; есть лишь полное подчинение духовного материальному и растворение в нем. Сегодня, похоже, наконец-то намечается их расчленение и обособление друг от друга: материальное начинает жить самостоятельной жизнью, освобождаясь от союза с “великой мечтой” и “неземными идеалами”. Это - начало прорыва от полуязыческой архаики к современности, прорыва, который многими не замечается, а многими воспринимается как противоестественное отступление от отечественной традиции. Но, быть может, это не противоестественное отступление, а органическое преодоление старой традиции и подготовленное предыдущим развитием утверждение новой?

Нам кажется, что сам народ склоняется сегодня не к первому, а ко второму представлению о самом себе, о том, чего он хочет и чего не хочет. Именно поэтому его нынешняя “вера в будущее” уживается в его сознании с отрицанием коммунистического прошлого: лишь 16% представителей интересующей нас группы хотели бы, чтобы страна вернулась к социалистическому строю. Коммунизм отвергается не только в своем практическом воплощении, но и в самом замысле, то есть как “великая мечта”: каждый второй в этой группе считает провозглашение в России в 1917 году курса на строительство коммунизма исторической ошибкой и только каждый пятый думает иначе. Отторжение же именно потому и произошло, что коммунистический режим при всех своих апелляциях к духовному началу (идейности, сознательности, бескорыстному энтузиазму) никогда не отказывался от обещаний обеспечить производительность труда и, соответственно, уровень материального благосостояния более высокие, чем “при капитализме”, доказав тем самым

исторические “преимущества социализма”. Доказать это не удалось. И как следствие - утрата веры в такое будущее даже теми, у кого она была крепка.

Советский режим был вынужден, идя за массовыми ожиданиями, с которыми он не мог не считаться, начать борьбу с Западом на потребительском поле. Он эту борьбу проиграл и вынужден был признать свое поражение. Но россияне, окончательно утратив после этого веру в коммунизм и преимущества социализма, сохранили “веру в будущее” и продолжают считать ее главной основой своей самобытной духовности. Однако само будущее выглядит теперь в глазах большинства из них отнюдь не самобытным; проигрыш Западу привел к переориентации на западные образцы. И, как ни странно, это не кажется чем-то противоречащим российской самобытной духовности! Так, почти три четверти людей, признающих ее высокую значимость для судеб страны (это даже чуть больше, чем в среднем по населению), хотели бы, чтобы Россия развивалась в соответствии с какой-либо из западных моделей. Большинство представителей этой группы (60%) желали бы иметь западный уровень благосостояния и лишь 29% из них готовы удовлетвориться уровнем достатка брежневской поры. Привлекателен для них и западный образ жизни в целом - 54% из них хотели бы жить так, как живет сегодня большинство людей на Западе, учитывая все достоинства и недостатки тамошней жизни; не испытывающих такого желания ровно в два раза меньше. Много в их составе и людей (таких 47%), которые, будь у них возможность, послали бы своих детей и внуков в западные страны для получения там образования. Правда, и возражающих против этого тоже немало (35%). Возможно, многие опасаются, что учеба на Западе может расшатать основы российской духовности. Но больше все же тех, кто этого не боится. Наверное, они полагают, что если такую духовность их детям и внукам привить, то высокое качество образования ей не повредит.

Таким образом, высокая оценка российской духовности, признание ее оригинальности и самобытности ничего общего не имеют сегодня ни с умалением значимости материального комфорта, ни с антизападничеством. Интересная деталь: в данном отношении даже те, кто усматривают основу отечественной духовности в преобладании духовных ценностей над материальными, ничем особенным не отличаются и на общем фоне не выделяются. Это - еще одно и, быть может,

самое выразительное подтверждение оправданности нашего вывода о том, что такое “преобладание” не воспринимается как готовность довольствоваться малым и возводить бедность в добродетель. Но если бедность, вопреки известной поговорке, рассматривается теперь чуть ли не как порок, если во всем, что касается материальных стандартов жизни, россияне отказываются от своей самобытности в пользу западных образцов, то, быть может, они видят наше преимущество перед Западом именно в духовности?

Полученные нами данные позволяют ответить и на этот вопрос.

Россия и Запад: где люди более духовны?

Наш опрос выявил определенную закономерность: респонденты, считающие российскую духовность ценным самобытным достоянием страны и ее народа, чаще других склонны видеть в ней наше превосходство над Западом. Почти половина из них (43%) полагают, что люди в России более духовны, чем в западных странах, 6% отдадут в этом отношении преимущество Западу и 44% склоняются к мысли, что духовность не зависит от места проживания (по населению в целом соответственно 34, 7 и 48%). Однако и в этой группе, как видим, сторонники известной точки зрения: “они - богаче, а мы - лучше”, не составляют большинства. Популярность же мнения о независимости духовности от места его проживания дает нам право предположить, что многими россиянами она воспринимается сегодня не как некая, данная раз и навсегда, общенародная особенность, а прежде всего как индивидуальное качество, которое вырабатывается самостоятельно, а не воспроизводится автоматически историческим жизненным укладом независимо от личных усилий каждого.

Если наше предположение верно, значит многие из тех, кто высоко ценит российскую духовность, видят в ней не особую привилегию народа, существующую от века и передаваемую по наследству, а трудную работу личности по собственному совершенствованию. Мы не знаем, насколько эта старая мысль проникла в сознание россиян, но мы будем постоянно иметь ее в виду, анализируя достаточно широко распространенное представление о нашем духовном превосходстве над Западом. В чем же именно видится сегодня это превосходство?

После всего сказанного выше странно было бы обнаружить, что люди ищут и находят его, противопоставляя духовное материальному. И мы ничего такого обнаружить не смогли. Представители интересующей нас группы несколько выделяются среди других своей склонностью отдавать предпочтение россиянам перед западными людьми по части духовных достоинств. Но они ничем не отличаются от населения в целом в своих представлениях о том, где люди придают большее значение материальному благополучию. Большинство из них (54%) не видят в этом отношении между Россией и Западом никакой разницы. Если даже принять в расчет довольно значительное (32%) количество тех, кто считает живущих на Западе более озабоченными, чем россияне, материальным достатком, это нисколько не продвигает нас в поисках ответа на поставленный вопрос, так как и в данном случае интересующая нас группа не отличается от населения в целом. Но раз так, то в чем все-таки проявляется наше духовное превосходство?

Скажем сразу: обнаружить его оказалось очень непросто даже тем представителям интересующей нас группы, которые убеждены в его существовании. Мы спросили наших респондентов ответить на ряд вопросов о духовно-культурных качествах человека в России и на Западе. Выяснилось, что лишь незначительное меньшинство представителей данной группы отдает предпочтение россиянам перед жителями западных стран. Так, всего 13% среди них считают, что в России выше культура отношений между людьми, что в нашей стране они уважительнее, чем на Западе, относятся друг к другу. Между тем тех, кто придерживается противоположной точки зрения, почти в 4 раза больше (49%). Сравнительно немногие (22%) полагают, что наши сограждане отличаются повышенным, по сравнению с живущими на Западе, интересом к истории и культуре своей страны, в то время как 43% респондентов не видят в этом отношении между теми и другими никакой разницы. Не обнаруживают представители интересующей нас группы и какого-либо превосходства россиян в том, что касается христианской духовности: лишь 18% среди них считают, что для русского человека религиозные ценности более значимы, чем для западного, 28% полагают, что дело обстоит наоборот, а 40% не находят в данном отношении между россиянами и западными людьми никаких принципиальных различий. И во всем этом группа, признающая высокую значимость российской духовности

для судеб страны, практически не отличается от населения в целом.

Таким образом, мы лишний раз можем убедиться в том, что представления о российской духовности очень слабо соотносятся с представлениями о широте гуманитарных интересов, религиозности, культуре отношений между людьми. Оказывается, можно не видеть в этом никаких преимуществ России перед Западом и даже отдавать ему предпочтение, будучи убежденным в духовном превосходстве первой над вторым! Вопрос остается открытым: в чем же тогда это превосходство заключается?

Вспомним самые популярные представления об основах российской духовности: с одной стороны, это вера в будущее, помогающая терпеливо переносить трудности настоящего, с другой - теплота эмоциональных контактов между людьми (потребность в дружбе, общении, откровенных разговоров по душам, сердечности человеческих взаимоотношений). Но если так, то, быть может, именно в этом и видится превосходство россиян перед западными людьми?

Мы не спрашивали наших респондентов о том, где, по их мнению, больше “верят в будущее”, - в России или на Западе. Но мы интересовались их мнением о том, где люди больше уверены в будущем, в завтрашнем дне. Подавляющее большинство представителей интересующей нас группы ответило, что на Западе, и лишь 5% - что в России. Если даже предположить, что “вера в будущее” воспринимается как наше духовное преимущество, то придется признать, что речь идет о вере в будущее без уверенности в нем. А если учесть, что сам образ будущего чаще всего срисовывается с западного настоящего, то какое же здесь преимущество?

Но мы, повторим, не знаем, ощущают ли наши респонденты в этом отношении свое превосходство над гражданами западных стран, так как такого вопроса им не задавали. Что касается “теплоты и сердечности”, то об этом мы можем судить вполне достоверно. Интересующая нас группа, пусть и не очень заметно, но все же выделяется из общей массы населения своей склонностью считать, что в России люди больше, чем на Западе, стремятся к дружбе, к общению между собой. Этой точки зрения придерживаются 45% ее представителей (в среднем по населению - 39%). Выделяется она и своим представлением о превосходстве россиян в душевности человеческих взаимоотношений: предпочтение им в данном аспекте перед

западными людьми отдает 51% ее представителей при 44% по населению в целом.

Конечно, эти различия не очень значительны. Но это - единственный случай, когда в нашей группе преимущество русского человека над западным отметило свыше половины респондентов. Да и среди населения в целом это преимущество в душевности называли чаще, чем какое-либо другое. Поэтому у нас есть основание предположить, что под духовностью многие подразумевают именно душевность, вбирающую в себя и теплоту, сердечность взаимоотношений, и потребность в дружбе, общении, откровенных разговорах по душам.

Это предположение мы решили проверить, обратившись к представлениям той части населения (оно, напомним, составляет 34%), которая безоговорочно высказалась в пользу духовного превосходства России над Западом. И наша гипотеза получила выразительное подтверждение: подавляющее большинство (78%) тех, кто отдал преимущество россиянам по части духовности, отдает им предпочтение и по части душевности. Это - в три с лишним раза больше, чем среди тех, кто не ставит духовность в зависимость от места проживания (25%) и в два с лишним раза - чем среди тех, кто отдает в данном отношении преимущество Западу (35%). Резко выделяется эта группа на фоне двух других и своим представлением о том, что россияне отличаются повышенной, по сравнению с западными людьми, потребностью в дружбе и общении (соответственно 57, 30 и 26%).

Мы не собираемся сейчас углубляться в вопрос о различиях между духовностью и душевностью. Отметим лишь, что сегодняшняя народная экспертиза подтвердила справедливость наблюдения Николая Бердяева и других отечественных мыслителей о присущей русскому народу душевности. Они же связывает ее с преобладанием в русском национальном характере женского начала и слабой проявленностью в нем начала мужского, предполагающего не пассивное приспособление к обстоятельствам и примирение с ними, а развитую индивидуальную потребность в самостоятельном и ответственном отношении к жизни и строительству собственной судьбы, а главное - потребность в постоянном соотношении себя с идеалом и самоизменении. Если этого нет, то о духовности можно говорить в лучшем случае, как о чем-то потенциальном, а не как о том, что реально проявляется в повседневном существовании.

Возможно, именно это имел в виду тот же Н.Бердяев, когда говорил о склонности россиян к почитанию святости и даже преклонению перед ней при терпимости и снисходительности к несправедливым поступкам - своим собственным и окружающих людей. Здесь же, быть может, и ключ к пониманию самобытной природы российской душевности - этой обостренной потребности в "излипании души", в самообнаружении себя перед другими в хорошем и плохом - таким, каков ты есть, в исповедальном самопроявлении без самоизменения. Российская душевность - это органический плод нашего исторического развития, результат многовековой зависимости человека от власти, скудности материального существования и отсутствия условий для самостоятельного и ответственного устройства своей судьбы.

Наши данные показывают, что и сегодня душевность, по-прежнему столь высоко ценимая россиянами и воспринимаемая как их самобытное преимущество по сравнению с западными людьми, представляет собой психологическую компенсацию материальной необеспеченности, неразвитости условий для самостоятельного ее преодоления и сохраняющейся зависимости от власти с помощью пассивной надежды на лучшее будущее и откровенных разговоров "за жизнь", лишенных религиозного и культурного - в широком смысле этого слова - содержания. Речь идет о теплоте и сердечности товарищей по несчастью. Об этом надо помнить, анализируя нынешние попытки политизировать и идеализировать российскую духовность.

А. А. Кара-Мурза
***"ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УСПЕХ":
ШАНС ИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ
РЕФОРМАЦИИ?***

Экспертиза любого проекта, тем более претендующего на то, чтобы стать центром кристаллизации некоторой общественно значимой мировоззренческой доктрины (или, как говорят авторы, "*практической философии*"), должна, по-видимому, состоять в

пристрастной проверке авторских рассуждений на “прочность” и непротиворечивость. В данном случае, однако, такого рода экспертиза оказывается не вполне уместной, ибо авторы, верные своему кредо, предложили не столько цепь последовательных рассуждений, сколько *мозаику*, рассчитанную на дальнейшее *“инновационное выращивание”*. “Мозаичность”, бесспорно, дает выигрыш в толерантности и конвергентности модели (любому фрагменту любой окраски в принципе можно подыскать место), но предъявляет повышенные требования к ее технологичности. Ведь когда все позиции учтены, - это может быть и искомый ценностный консенсус, но может оказаться и невинная абстракция, не несущая никому угрозы по причине своей практической нереализуемости.

Параллельно возникает ощущение, что все основные ходы и сюжеты, отвечающие требованиям конвергентности и толерантности, авторами уже сделаны и проговорены (т.е. все подходящие фрагменты в мозаику уложены - и не без изящества), а вот любой новый ход может грозить ухудшением позиции. Авторам, по-видимому, еще предстоит проделать нелегкий путь между своими Сциллой и Харибдой. С одной стороны, дальнейшая акцентация призывов к “индивидуальному успеху” рискует лишь катализировать победительные настроения *“успеха любой ценой”*. С другой стороны, справедливая критика *“модели удачи”* может, наоборот, привести к разогреву манихейского отвержения всей нынешней социальности, реставраторских настроений реванша за чужой успех.

Между тем дальнейшая пассивность проектантов или даже “простое повторение ходов” вступили бы в очевидное противоречие с активистским замыслом самого проекта “Этика успеха”. Что можно посоветовать в этой ситуации, перспективы которой я сознательно утрирую?

Возможно, проблема проекта на данном этапе состоит не в том, что в нем чего-то не хватает и он нуждается в дальнейшем “выращивании”, а, напротив, в том, что в нем наличествует нечто лишнее. Отсюда первое и главное предложение: попробовать не *“наращивать ценностную мозаику”* (это никогда не поздно сделать), а, напротив, обуздать смысловое пространство, создать мозаику, пусть меньшую по площади, но сохранить в ней самые надежные составляющие, предварительно демистифицировав и “отшелушив” все, что только кажется существенным. Это, на мой взгляд, позволило бы выяснить, какие сопредельные фрагменты

мозаики действительно гармонируют и способны к продуктивному синтезу, а какие только парализуют и “гасят” друг друга.

Речь, таким образом, идет о том, чтобы выявить уже содержащиеся в проекте бесспорные положения - хотя, возможно, и требующие некоторой смысловой “зачистки”. Попытаюсь, за ограниченностью места, сделать это в форме простого перечисления необходимых, на мой взгляд, фрагментов (весьма разных по объему), попутно демонстрируя в отдельных случаях возможность их гармонизации.

Фрагмент первый

Идея успеха - общецивилизационная универсалия

Идея “успеха”, “*состоятельности*” - общецивилизационная универсалия, являющаяся базовым элементом любого типа социальности. Утверждение, будто существуют сообщества, для которых характерно “*бегство от успеха*”, сродни разговорам о “*врожденных суицидальных наклонностях*” определенного типа социума. Мой тезис, естественно, лишь подкрепляет утверждение авторов доклада об императивности “этики успеха” в современной России - но не потому, что этот императив возник сегодня, а потому, что без него невозможна в принципе никакая цивилизация. Совсем другое дело - какие конкретные модификации “этики успеха” возможны в принципе, кто является их субъектом и какая именно “этика успеха” нужна сегодня?

Фрагмент второй

О реабилитации “модели успеха” традиционного общества

Апология этического компонента “успеха” с неизбежностью предполагает необходимость исторической реабилитации “этики коллективного успеха” в традиционных обществах. Архаические структуры в основе своей являются “*корпоративно-дистрибутивными*”: принципом построения социальности здесь служит механизм нормативного корпоративного распределения не столько вульгарно понимаемого “материального продукта”, сколько сконцентрированной в сообществе “жизненной силы”. В этом смысле убийство, кража, инцест - тоже своего рода нарушения норм распределения. Озабоченные поддержанием распределительного порядка, эти культуры видят своего главного парадигмального оппонента в фигуре “*непродуктивного индивида*”, способного стать субъектом распределительного

хаоса (*“нового варварства”*). Именно поэтому корпорация в традиционных обществах стремится всячески нейтрализовать персональное начало, максимально надежно инкорпорировать индивида в общинную структуру, минимизировать индивидуальные отклонения. Индивид в корпоративной структуре не может (а в логике этой системы - и не должен) “дорости” до личности как суверена собственного развития. Не случайно в традиционной иерархии ценностей индивидуальность расценивается скорее со знаком “минус”; именно носители “зла” (ведуны, преступники и т.д.) наделяются чертами неповторимой индивидуальности. Скажу больше: дикий зверь, который *“гуляет сам по себе”*, в этих культурах индивидуализирован больше, чем человек, - отсюда традиция редуцирования *“непродуктивной индивидуальности”* к *“зверю”* (как предельно автономному и в этом смысле антисоциальному существу), а *“негативной свободы”* человека - к звериной *“воле”*. Традиционные культуры выработали изоциально-регламентированную систему статусных переходов, в обрядовом отношении связанных именно с дисциплинированием иерархически ранжированного потребления и одновременной отработкой навыков статусной субординации индивидов - см. подробнее [1].

На мой взгляд, перед нами - не только особого рода “формула успеха”, но и своеобразная “этика успеха”, хотя и корпоративного. Отлучение подобной “безличностной” ситуации от этической проблематики увеличило бы шансы, на мой взгляд, не столько конструирования принципов желанной “либеральной этики”, сколько открыло бы путь к опасной легитимации “индивидуального своеволия”. Традиционные общества должны быть поняты в их собственной логике: ведь они противостоят не либерализму и не этике индивидуального успеха (не *“бегут”* они, повторюсь, ни “от успеха”, ни “от этики”), а хаосу, “новому варварству”. И озабочены они именно этической стороной успеха, но этот успех (что поделаешь!) - “корпоративен” по своей природе.

В этом смысле *в глубинной своей основе традиционные общества сродни обществам либеральным*: и те, и другие во главу угла ставят социальный порядок и цивилизационную социализацию индивидов, противостоя (в том числе и этически) “варварству” - индивидуальному своеволию, “негативной свободе”.

Фрагмент третий

Социализация индивида - проблема любой цивилизации

Анализ архаичных структур позволяет сделать вывод, верный и в отношении любой цивилизации (в том числе и либеральной): антиэнтропийный потенциал цивилизации, независимо от ее конкретно-исторических и социокультурных модификаций, строится на *способности социализировать индивидуальную активность*. Именно в этом смысле “цивилизация” (как родовое понятие) и противостоит “новому варварству”. Варваризация наступает тогда, когда на арену выходит особого рода социальный субъект - *“непродуктивный индивид”*, бесконтрольно транжирящий “жизненную силу” социума.

Эта первичная интенция цивилизации, зарождающаяся в архаике, становится затем составной частью всей мировой обществоведческой мысли, прежде всего, разумеется, консервативной. Тотально-государственническая утопия Платона, в которой все социальные связи должны быть абсолютно прозрачны и подконтрольны государству, является классической моделью социального устройства, элиминирующей начало частной автономии. Доказано, однако, что критика этой конструкции с позиций либеральной демократии (или *“этики личного успеха”*) бьет абсолютно мимо цели, ибо оппонентом Платона является вовсе не либеральное устройство, а социальный хаос. Индивидуальные стратегии успеха, согласно Платону, опасны в любом своем проявлении. Известен, к примеру, случай, когда Платон весьма категорично отверг целесообразность приезда в “идеальное государство” некоего гения, обладавшего *“умением делать все”* (как бы мы сейчас сказали, *“гармонической развитостью”* и *“креативной достижительностью”*). *“Если такой человек, - заявил Платон, - все-таки прибудет в государство, желая продемонстрировать свои таланты, мы преклонимся перед ним, но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует и что недозволительно здесь таким становиться, да и отошлем его в другое государство”* [2].

В том, что мы здесь имеем дело с некоторым инвариантом консервативного умонастроения, озабоченного перспективой дезинтеграции социума вследствие искушения его “принципом индивидуального успеха”, перестаешь сомневаться, когда встречаешь абсолютно ту же самую идею у другого знаменитого консерватора - русского византиниста К.Леонтьева: *“Хорошие*

люди... нередко бывают хуже худых. Личная честность, вполне свободная, самоопределяющаяся нравственность могут лично же и нравиться, и внушать уважение, но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству, если политическое воспитание их ложно, и Чичиковы, и городничие Гоголя несравненно иногда полезнее их для целого..." [3]. Эта парадоксальная сентенция призвана подчеркнуть важное (в том числе с этической точки зрения) обстоятельство: страшна не сама по себе "творческая индивидуальность", - страшны массы "непродуктивных индивидов", потенциальных "новых варваров", которых гений может совратить с пути законопослушания и лояльности сословной системе, разнуждать в них стремление к индивидуальному успеху, что оборачивается антиправовым своеволием. Очень точно было сказано когда-то Н.Бердяевым, что проблема России в том, что в ней на одного Ивана Карамазова оказалось сто Смердяковых.

Фрагмент четвертый

В России давно доминирует идея индивидуального успеха - в этом-то ее и проблема

Одно из наиболее частых заблуждений многих, пишущих о русском коммунизме, состоит в интерпретации его как неархаического общества "тотального коллективизма", отрицающего всякий индивидуализм. Я, напротив, склонен разделить точку зрения, сформулированную еще авторами сборника "Из глубины" (1918), согласно которой, несмотря на риторику "коммунистического коллективизма" и "освобожденного труда", большевистский переворот объективно принял характер "дистрибутивного хаоса", где социальной доминантой выступила тенденция к "непродуктивной индивидуальности". Об этом, например, по свежим следам переворота, написал П.Струве: "Говорят "классовая борьба", а ощущают, как реальный мотив и жизненное задание, отстаивание индивидуальных интересов. Совершенно как толпа, производящая погром, хотя и является коллективом, быть может, даже организованным, движется в своем погромном действии индивидуальными мотивами захвата и обогащения... Это и значит, что идеи революционные имеют над русскими массами силу и власть только как индивидуалистические и

разрушительные, а не как коллективистские и созидательные” [4].

Г.Федотов, анализируя эволюцию представлений об успехе “новых русских” начала века, исходил из концептуального разделения “демократии убеждений” и “демократии быта”. По его мнению, в начале нашего века Россия “демократизируется” с чрезвычайной быстротой именно во втором, бытовом, смысле: чиновничье-учащаяся, “серьезная” Россия начинает давать место иной, дурно воспитанной, но весьма амбициозной толпе “новых русских”: *“На городских бульварах по вечерам гуляют толпы молодежи в косоворотках и пиджаках с барышнями, одетыми по-модному, но явно не бывавшими в гимназиях... Стараются соблюдать тон и ужасно фальшивят. Барыни-чиновницы в ужасе, что прислуга дерзит и носит шляпку” [5].* Налицо - “восстание масс по-русски”, при этом обращает на себя внимание профессия “новых людей”, увидевших в социалистической доктрине канал для реализации чисто индивидуальных “стратегий успеха”: *“Банщик, портной, цирковой артист, парикмахер сыграли большую роль в коммунистической революции, чем фабричный рабочий... Сюда же шлет и деревня свою честолюбивую молодежь. Могуэт этот напор, идущий с самого дна... Массе новых разночинцев пришлось дожидаться октября 1917 года, чтобы схватить столь долгожданную власть. Это они - люди Октября, строители нового быта, идеологи пролеткультуры” [6].*

Наконец, приведу еще один характерный портрет движущих сил большевистского переворота, блестяще написанный “с натуры” одним из лучших исследователей феномена “революционного успеха” Ф.Степуном. По его мнению, большевистскую революцию “на местах” делала весьма пестрая с социологической точки зрения компания, но - главное - *“психически единая”: “все люди, которым было тесно в своей шкуре и в своем быту - безбытники...” [7].*

Поэтому в противовес положениям авторов доклада о том, что беда России в некоей *“идеологии бегства от успеха”*, сформулирую (для равновесия) нечто прямо противоположное: беда России - в гипертрофии *“идеологии личного успеха”*. Здесь формирование “массового общества” с его эскалацией индивидуальных притязаний стало обгонять становление общества “гражданского”, когда эти притязания могли бы быть эффективно социализированы. Проблема России, таким образом, - не в “традиционализме”, а в “новом варварстве”. В

этом - причина трагедии начала века, в этом главная причина и сегодняшних проблем.

В том-то и дело, что тезис *“новая Россия стремится преодолеть архаику”* неправомерно смешивает два различных явления - борьбу с *традиционализмом* (борьбу за замещение этики коллективного успеха этикой личностного успеха) и борьбу с *“русским варварством”* (борьбу с антисоциальным индивидуалистическим своеволием).

Фрагмент пятый

Коммунистический строй также был насквозь пронизан идеей “индивидуального успеха”

Г.Федотов, наверное, лучше всех из эмигрантских русских авторов проанализировал индивидуальные мотивации *“советского человека”*, обуянного пафосом *“строительства нового мира”*, в котором *“примитивизм мысли”* прекрасно уживался с *“мощной жаждой жизни, наживы, наслаждений”*: *“Повсюду - в городе и в деревне, в высших слоях еврейского нэпа, в предприимчивой крестьянской молодежи - царит один и тот же дух: накопления, американизма, самодовольства”* [8]. Парадоксально, но в своем технократическом восприятии культуры Советская Россия *“встретилась с ненавистным Западом”*, с его пафосом достижения и покорения природы. Среди наиболее популярных тем в тогдашней России Г.Федотов перечисляет *“тейлоризм, фордизм, радио, авиацию, кинематограф, спорт во всех его видах, вопросы практической биологии: омоложение, евгенику, искусственное скрещивание видов (человека с обезьяной), победу над смертью (микроб старости) и т.д., и т.п.”* Вывод таков: *“Весь этот комплекс говорит о молодой и животной жизнерадостности, которую мы привыкли считать почти исключительным свойством англосаксонской расы. Громко кричит потребность комфорта, жажда устроиться прочно и навсегда на этой земле...”* [9]. Г.Федотов называет этот тип человека *“Ното Еуропаео-Americanus”*, который, как это ни парадоксально, менее всего является наследником великого богатства европейской культуры. Придя в Европу в период ее варваризации, этот человеческий тип усвоил лишь последнее, чрезвычайно суженное содержание западной цивилизации - спортивно-технический военный быт: *“Технический и спортивный дикарь нашего времени - продукт распада очень старых культур и в то же*

время приобщения к цивилизации новых варваров... В нем скорее можно найти тот культурный тип, в оттолкновении от которого мы всегда искали признак русскости: тип немца, европейца, "мальчика в штанах". Это вечное пугало русских славянофилов, от которого они старались уберечь русскую землю, по-видимому, сейчас в ней торжествует" [10].

Фрагмент шестой

Рационализация индивидуальных стратегий - ненадежная гарантия становления либеральной этики успеха

Авторы, на мой взгляд, в целом верно отмечают элементы иррационализма в "культе успеха" коммунистической эпохи. Это подтверждают многие проникательные наблюдатели и исследователи: *"В этих людях нет глубокой культуры, зато есть свежесть воли. Их нервы крепки. Нет прекраснотушия; вместо него здоровая суровость примитива. Нет нашей старой расхлябанности; ее съела дисциплина, проникшая в плоть и кровь. Нет гамлетизма; есть вера в свой путь и упрямая решимость идти по нему. Эти люди прочно пронизаны узким, но точным кругом идей-импульсов и, как замороженные, как обреченные неким высшим роком, делают дело, исторически им сужденное..."* - (Н.Устрялов, цит. по [11]); *"Всево интереснее люди крестьянского звания, пришедшие снизу. Имя им легион. Они заполнили средние области жизни и даже покушаются на высшие, особенно в провинции. Все они похожи друг на друга. Серые с лица, широкие в кости, нескладные с виду; к рефлексам не склонны, напротив, живучи, как кошки..."* (Д.Кончаловский) [12]. Иррационализм стратегий *"успеха по-советски"* - налицо. Но, как представляется, тенденция к рационализации индивидуального активизма тоже вовсе не гарантирует перехода от *"антилиберальной удачливости"* к *"либеральному личностному успеху"*, и утверждать, что рациональность, свобода индивидуального выбора являются прологом именно либеральной этики успеха - несколько прямолинейно и опрометчиво.

Напомню в этой связи ставшее классическим в обществознании разведение Дж. Вико *"варварства чувств"* ("первичного варварства", предшествующего цивилизации) и *"варварства рассудка"* ("нового варварства", способного паразитировать на уже сложившейся цивилизации), где именно

“новое варварство” рассматривается как более опасное и еще быстрее ведущее к социальной хаотизации и деградации. *“Варварство рассудка”* является более опасным потому, что уже вооружено плодами рационализма и именно поэтому *“подлые ухищрения коварных умов своим варварством рефлексии сделали людей такими бесчеловечными зверями, какими сами они не могут стать под влиянием первого варварства чувств...”* [13].

* * *

Постараюсь подвести некоторые итоги. Главная проблема представленного доклада, на мой взгляд, состоит не в том, что авторы недооценивают опасность для либерализма антиправовой “модели удачи”; они верно пишут, что в этом случае *“идея успеха может оказаться чуть ли не альтернативой духовным началам этого (т.е. либерального и демократического - А.К.) общества”*. Мое существенное уточнение состоит здесь в том, что главная проблема заключается не в дуэли (“один на один”) либерализма с до-либеральными моделями успеха (как следует из доклада), а в гораздо более глубокой оппозиции: *“цивилизация против варварства”*. Здесь, повторяю, оппонентом современной “этики успеха” является не *“русская традиционность”*, а *“русское варварство”*. Но - самое главное: в качестве итогового победителя борьбы с “непродуктивным индивидуализмом”, хаотизацией может выступить вообще не либерализм, а нечто *“Третье”*. Именно так и произошло в начале века: оппонентом распределительного хаоса выступил не либерализм и не демократия, а тотальная социалистическая регламентация, столь репрессивная именно потому, что попыталась обуздать гипертрофию индивидуалистических притязаний.

Итак, главная проблема при осуществлении либерального проекта нейтрализации социального варварства - как создать “продуктивного индивида”, канализировать его автономную активность в конструктивное русло взаимной социальной ответственности и прочного закона? Напомню, что М.Вебер в “Протестантской этике” провел важнейшее теоретическое разделение между “духом капитализма” и простым “стремлением к наживе”: *“«Стремление к предпринимательству», «стремление к наживе», к наибольшей денежной выгоде само по себе ничего общего не имеет с капитализмом* (выделено мной - А.К.). *Это стремление наблюдалось и наблюдается у*

официантов, врачей, кучеров, художников, кокотов, чиновников-взяточников, солдат, разбойников, крестonosцев, посетителей игорных домов и нищих..." [14]. И далее М.Вебер делает важный вывод о том, что продуктивное предпринимательство не только не тождественно индивидуальному "стремлению к наживе", но является его *историческим оппонентом*, способом цивилизационной нейтрализации потребительского индивидуализма: *"Безудержная алчность в делах наживы ни в коей мере не тождественна капитализму и еще менее того его "духу". Капитализм может быть идентичным обузданию этого иррационального стремления, во всяком случае, его рациональному регламентированию"* (выделено М.Вебером - А.К.) [15].

Заключение

О возможных гарантиях качественного внедрения проекта

В истории меня всегда больше всего интересовали (и даже завораживали) удивительные метаморфозы самопревращения: либерализма в авторитаризм, безграничной свободы в деспотизм... Один из главных парадоксов истории состоит в том, что самые репрессивные формы идеократизма паразитируют поначалу на идее осуществления *сузубо положительного социального идеала*. Анализ причин этого парадокса - одно из наиболее сильных и разработанных мест в русской историографии большевизма авторами "веховского направления", развивавших плодотворную идею Достоевского об *"антихристовых соблазнах русской души"*. С.Аскольдов, в частности, заметил, что *"соблазн антихристового движения никогда не подходит к человечеству в обличье злого волка, но именно в обличье человека, одушевленного благороднейшими идеалами..."* [16].

Впоследствии С.Франк возвел этот парадокс (*"зло приходит в обличье добра"*) в ранг важнейшего исторического закона: *"Все горе и зло, царящее на земле, все потоки пролитой крови и слез, все бедствия, унижения, страдания по меньшей мере на 99% суть результат воли к осуществлению добра... и воли к беспощадному истреблению зла; тогда как едва ли и одна сотая доля зла и бедствий обусловлена действием откровенно злой, непосредственно преступной и своекорыстной воли"* [17].

Есть ли у авторской концепции “успеха” внутренняя защита от самоперерождения, неожиданного отклонения вектора эволюции в противоположную сторону, защита от внутреннего опошления, примитивизации? Рассуждения типа *“наше дело - придумать, а там - как получится”* в России уязвимы как нигде. И не в последнюю очередь потому, что здесь “внедрение в жизнь” происходит так быстро, что сами теоретики зачастую имеют возможность воочию увидеть практические плоды своих проектных разработок. В свое время этот феномен прямо-таки поразил В.Ульянова-Ленина: ведь он был намерен “всерьез и надолго” обосноваться в эмиграции и явно не ожидал такой скорой и неожиданной революционной “жатвы” на своей исторической родине. По рассказам близких, Г.Плеханов умирал, *“грозя кулаком в потолок и лишь шевеля губами”*... И сегодня интеллигентский стон *“если бы я знал, во что это все выльется, я бы никогда... и т.д.”* стал общим местом публицистических статей многих недавних антикоммунистических диссидентов.

За последнее столетие Россия переиначила (это, кстати, - интересный поворот темы *“Россия и Иное”!*) по меньшей мере две продуктивные, казалось бы, трудовые цивилизационные идеи. Первая из этих идей - идея социализма как “царства труда” и “всеобщего блага” (*“развитие каждого есть залог развития всех”* - неплохо сказано!). Вторая идея - идея либерализма, как опять-таки “царства труда” и опять-таки “всеобщего благоденствия”.

Абстрагируясь пока от понятных различий, замечу, что в начинке и “социализма”, и “либерализма” активно присутствовала идея безусловной легитимности именно “индивидуального успеха” (*“от каждого по способностям, каждому по труду”* - в сущности общий лозунг) и идея безусловного отвержения противосоциального успеха (*“кто не работает, - тот не ест”* - опять-таки с вариациями безусловно общая для обеих моделей конструкция).

При этом практическая осуществимость и той, и другой модели доказана историческим опытом Запада - “социал-демократия” и “либерализм” не только реально воплощены, сосуществуют, но и активно конвергируют, еще раз доказывая своим изоморфизмом внутреннее базовое цивилизационное сродство, ибо воплощенные в них модели “этики успеха” - это вариации, повторяю, общецивилизационной константы.

Но что сделала с этими двумя моделями “этики успеха” Россия? И та, и другая модели привели в своем реальном воплощении не к “торжеству труда”, а к распределительному хаосу и вторжению “нового варварства”.

Очевидно, что “этика успеха” (цивилизационно-либеральная) и “модель удачи” (“ново-варварская”) - могут рассматриваться исключительно как своего рода логически-очищенные идеальные типы, между которыми располагается огромное число промежуточных вариантов - “полулиберально-полуварварских кентавров”. Авторы пока не смогли предложить модель (это действительно очень сложно сделать), согласно которой можно было бы гарантировать вектор усиления именно либерально-этической составляющей “идеологии успеха”.

В свое время С.Франк очень точно заметил, что все содержание коммунистической доктрины ограничилось “русским авось” - наивной верой, что “трудовой народ”, все разрушив, как-нибудь все самочинно наладит и принудит всех соучаствовать в “неведомой новой гармонии на опустошенной земле”. Авторам проекта предстоит еще сделать многое для блокировки негативных последствий новейшего “русского авось”, согласно которому “новую гармонию на опустошенной земле” якобы должны с неотвратимостью организовать некие “законы рынка” и “новые русские”.

Согласен, судьба либерализма в России еще не решена. Но как сделать так, чтобы и новый этап либерализации России (а именно на это нацелен, на мой взгляд, один из самых серьезных и перспективных на сегодня российских проектов - “Этика успеха”) не привел к очередной метаморфозе в рамках драматического сюжета на известную тему: “хорошая идея на русской почве”?

ЛИТЕРАТУРА

1. Кара-Мурза А.А. “Новое варварство” как проблема российской цивилизации. М., 1995. С.11-21.
2. Платон. Сочинения. Т.3, ч.1. М., 1972. С.180.
3. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Записки отшельника. М., 1992.С.54.
4. Струве П.Б. Исторический смысл русской революции // Вехи. Из глубины. М., 1991. С.471-472.
5. Федотов Г.П. Революция идет. // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т.1. Спб., 1992. С.159-160.
6. Там же. С.160.

7. Степун Ф.А. Мысли о России. // Новый мир. 1991, №6. С.216-217.
8. Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции. // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т.2. Спб., 1992. С.99-100.
9. Он же. Новая Россия // Там же. Т.1. С.215-216.
10. Он же. Письма о русской культуре // Там же. Т.2. С.185-186, 166.
11. Милюков П.Н. Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. С.125.
12. Кончаловский Д.П. Пути России. Размышления о русском народе, большевизме и современной цивилизации. Париж, 1969. С.169.
13. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе вещей. Л., 1940. С.114, 468-469.
14. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С.47.
15. Там же. С.48.
16. Аскольдов С. Религиозный смысл русской революции. // Вехи. Из глубины. М., 1991. С.245.
17. Франк С.Л. Крушение кумиров. // Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. С.128. Подробнее об этом см.: Кара-Мурза А.А. Большевизм и коммунизм: интерпретации в русской культуре. М., 1996.

Б. Г. Капустин

**РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ:
ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

***1. Спор о “национальной идеологии” и
нравственная составляющая российской модернизации***

Нынешняя активизация споров о “национальной идеологии”, многочисленность разнонаправленных попыток “выработать” ее - помимо очевидной конъюнктурности, созданной запросом “верхов”, - имеют под собою глубокие и фундаментальные основания. Они - “превращенное” отражение реальных коллизий - посткоммунистической модернизации России, выражение смутного, но сильного ощущения недостаточности тех средств и методов ее преобразования, которые практиковались после 1991

года, более того, - их деструктивности, если они не восполняются тем и не сопрягаются определенным образом с тем, что предполагают найти или “выработать” претенденты на создание “национальной идеологии”.

Но что именно нужно найти или “выработать” и каков именно тот “определенный способ”, каким “это” следует сопрягать с теми целерациональными методами и средствами проведения реформ, практиковавшимися до сих пор? (“Целерациональными” - в том веберовском смысле, что данные методы и средства оптимизировались под цели, в первую очередь - формирования рыночной экономики, которые сами по себе этически не обсуждались и принимались за самоочевидную данность.) Интуитивно и в самом общем плане почти все разработчики “национальной идеологии” ощущают, что нужно найти, во-первых, форму нравственно-политического единства россиян, ибо само по себе создание рынка, этого, по Гегелю, “духовного животного царства”, лишь противопоставляет людей и замыкает их в мире частных интересов, которым нет дела до общего блага, хотя без его - того или иного - осуществления конкуренция частных интересов порождает лишь *разрушающую всякое общежитие как таковое* “войну всех против всех”. Во-вторых, нужно найти некоторые смыслы и ценности, которые бы приняты россияне “поверх” всего, что разделяет их: без таких смыслов и ценностей разговор о нравственно-политическом единстве становится просто беспредметным.

Таким образом, переводя сказанное на язык “нормальной” социальной теории, речь идет о *ценностно-рациональных* ориентациях и программах действий, которые предполагают - в отличие от целерациональных - именно обсуждение ценностей и смыслов, *ради которых* предпринимаются те или иные действия, в том числе и прежде всего столь масштабные, как реформирование России. Эту ценностную рациональность и нужно сопрягать с целерациональностью экономических, административных и пр. реформ, чтобы выявить их допустимые, т.е. приемлемые для общества, формы, методы, темпы, степень “радикальности”, но также, что еще важнее, - направления и цели. Ценностно-рациональную “компоненту” реформ и призваны дать “вырабатываемые” “национальные идеологии”, что определяет серьезность самой проблемы и глубину ее оснований, сколь бы несерьезными ни были многие попытки сотворить такую идеологию.

Доклад В.И.Бакштановского, Ю.В.Согомонова и В.А.Чурилова “Российская идея успеха...” [1] выгодно отличается от таких попыток прежде всего тем, что он, пользуясь аналогией с первой кантовской “Критикой”, весьма четко задает *границы мыслимого* в плане понимания и формирования ценностно-рациональных программ. Без установления таких границ продуктивная работа вообще невозможна, что со всей убедительностью демонстрирует основная часть нынешнего “дискурса” о “национальной идеологии”. Каковы же эти границы?

Первая из них проходит между государственной и “национальной идеологией” [1, с.18]. Последняя *есть дело самого общества*, его многообразных политических сил и “культурных миров”, которому государство может препятствовать или содействовать, создавая более благоприятные условия для толерантного диалога, но в котором государство - будь то в лице “экспертов по идеологии” или административных экспертов по ее “внедрению” - не может подменять общество. “Национальная идеология” немыслима в качестве государственной идеологии ни в каком понимании последней.

Вторая граница отделяет “национальную идеологию” от любых возможных “окончательных решений” проблем духовности, смыслоориентаций и пропорций между целе- и ценностной рациональностью. Говоря языком авторов доклада, амбивалентность ориентаций на ту и другую из них не устранима [1, с.137], реальная задача состоит не в том, чтобы так или иначе иерархизировать связь между ними, а в том, чтобы предотвратить “гегемонистские притязания” как одной, так и другой [1, с.209]. Иными словами, ни утилитаристское общество бентамовских идеально рациональных счетоводов полезности, ни экстаз соборного симфонизма “русских душ” не являются жизнеспособными перспективами для России.

Третья граница отделяет возрождение нормативных основ российской жизни от всякого “возвращенчества” в прошлое [1, с.211]. Возрождение получает смысл возрождения жизнеспособности, а поскольку жить приходится в новых условиях, в решающей мере определяемых плюрализмом интересов и ценностных ориентаций, постольку возрождение оборачивается обретением нового качества и состояния, не известных не только в “досовременных”, но и в классическом “современном” обществе, отождествляемом обычно с тем, что наличествует на Западе. Это новое качество и состояние авторы передают понятием “пострациональной морали”.

Вновь подчеркну, что без учета этих границ продуктивный разговор о “национальной идеологии” и о российской модернизации в целом невозможен. Однако, находясь вместе с авторами доклада “внутри” этих границ, я расхожусь с ними в понимании того, каким образом может быть реконструировано нравственное измерение российской модернизации и в чем, собственно говоря, заключается традиционная и “новая” (современная, отличная от “новейшей”, “пострациональной”) мораль.

Главные из моих возражений сводятся к трем пунктам. Первый. Я не разделяю то, что можно назвать “остаточным прогрессизмом” авторов доклада. Да, они неоднократно возвращаются к критике идеи “одновекторного прогресса”, претендующей на познанность Истины истории. Тем не менее они фактически восстанавливают эту идею в ее правах своими рассуждениями об “информационной революции” и логике перехода от индустриальной к постиндустриальной (информационной) цивилизации. Дело, конечно, не в том, что таких технологических сдвигов с далеко идущими последствиями для разных сфер человеческой жизни не происходит (хотя противоречивость и “амбивалентность” таких сдвигов вряд ли можно списывать на “незавершенность” процессов, само представление о которой опять же телеологично). Дело в том, можно ли эти сдвиги трактовать эссенциально, видеть в них нечто вроде “клеточки” (по Марксу), с необходимостью развертывающейся во всех жизнепроявлениях человека, в том числе - в морали и в совокупности - в формировании (детерминированном!) нового типа личности; как пишут авторы, “новая логика производства рождает личность...” [1, с.201]. Или же реальная новизна ситуации как раз в том, что утрачивается “моноцентрированность” общественной жизни, единство динамики ее движения, эссенциальность как таковая, и общество начинает представлять собою “лишь” констелляцию разных кластеров, несомненно, воздействующих друг на друга, но обладающих не общей сущностью, а в решающей мере автономными логиками развития. Если так, то возникновение “новейшей морали” нельзя приписать никакой внешней для самой нравственности “объективной” детерминации. Она “самопорождается” в определенной нравственной практике людей. Отсюда - поливариантность констелляций современности (в каждой из которых по-своему осуществляются сдвиги от индустриальных к информационным технологиям), не обобщаемых и не охватываемых никакой однонаправленной

эволюционной генерализацией, включая “переход к информационной цивилизации”.

Второе мое расхождение с авторами доклада вызвано их суждением о том, что традиционная и “новая” мораль “берут свое начало не столько из разных эпох, сколько из различных сфер жизнедеятельности (публичной и частной...)” - [1, с.209]. В контексте данного суждения традиционная мораль связывается со служением “общему делу” (что необходимо для функционирования публичной сферы), а “новая” - с “остыванием” по отношению к нему и ориентацией на успех в частной сфере. Свобода частного интереса, которому не предпослана в качестве его ограничителя и регулятора “онтологическая” (представляющаяся “естественной”) нравственность данного коллектива, действительно - отличительная черта современности, что, начиная с Гоббса, осмыслено в качестве центральной проблемы “практической философии”. Однако эта свобода предполагает формирование соответствующей ей (“деонтологической”) нравственности “общего дела”, реализуемого в публичной сфере, что также - через Руссо, Канта, Гегеля, Токвиля до Арендта и Хабермаса - является центральной темой “практической философии” Нового времени. Частное неверно противопоставлять публичному как “современное” - традиционному. Более корректным видится противопоставление соответствующих *пар* традиционного частного-публичного, связь которых задается “онтологической” нравственностью, и современного частного-публичного как составляющих деонтологической нравственности. На мой взгляд, это чрезвычайно важно для уяснения сути нравственной проблематики нынешней российской модернизации: она состоит именно в формировании новой (посттрадиционной) нравственности “общего дела” публичной сферы.

Третье разногласие вызвано стремлением авторов доклада *деполитизировать* проблему выбора культурных, ценностных оснований реформируемого российского общества. Они, похоже, согласны с проводимым другими исследователями противопоставлением проблемы выбора общественно-политического строя как политизированной линии спора и проблемы ценностного выбора как цивилизационной его линии [1, с.18-19]. Я не знаю, каким иным образом, кроме как через политические столкновения, решается то, что Вебер назвал “борьбой богов” в качестве отличительной и характерной черты мира после краха “нравственных онтологий”. Я не знаю, каким

иным образом может на практике (а не в головах теоретиков) формироваться новая мораль, если уже нет ее “онтологических” источников в виде бесспорных заповедей и незыблемых традиций, кроме как через “обучение” и “самообучение” людей в ходе конфликтов по поводу ценностей (отличая их от конфликта интересов, хотя и связывая с последними). Я не знаю, каким образом все эти конфликты и те или иные их исходы могут не накладывать отпечаток на общественно-политический строй, а то и решающим образом влиять на него. Какие реальные ресурсы остаются в распоряжении “новейшей” морали, если мы деполитизируем ее образование? Сугубо дидактики в духе того, что “человек не вправе утрачивать приверженности сокровенным ценностям, выработанным поколениями...” [1, с.209]? *Кто* вправе предписывать ему это? *Почему* он станет повиноваться таким предписаниям? И разве свобода в современном ее понимании не состоит в том, что человек *сам себе* дает законы, делая это *либо* нравственно-разумно, т.е. солидаристски, *либо* безнравственно-неразумно, во зле эгоизма (который должен быть концептуально разведен с индивидуализмом), что может быть превосходно “разумно” с точки зрения инструментальной целерациональности. Это “либо-либо” решает сам человек, как он “обучен” неизбежно политизированной практикой общественных конфликтов.

Конфликт целе- и ценностной рациональности в современных условиях краха “нравственных онтологий”, разумеется, не уникален для России. Но ее историей, прежде всего - коммунистической фазой ее истории, обусловлены специфические формы развертывания этого конфликта, его огромное значение для судьбы страны и проблемы, поставленные им для сегодняшнего российского общества. Осмысление этих вопросов требует, во-первых, контекстуально-исторического рассмотрения данного конфликта, т.е. увязки его сегодняшнего состояния с той динамикой, которая была сообщена ему советским коммунизмом и его крахом, во-вторых, - перехода от сциентистских парадигм, противопоставляющих “общественное бытие” и “общественное сознание” и усматривающих во втором лишь (более-менее активное) отражение первого, к “культурной” парадигме, берущей сознание в качестве стороны и “производящей силы” самого бытия.

Переход к “культурной” парадигме происходит при принятии двух посылок: первая - “идеи играют роль в истории”, причем в ее решающие фазы - решающую; вторая - изменения в СССР (и

посткоммунистической России) должны быть объяснены из его собственного культурно-исторического контекста (“объяснения должны быть контекстуальными”), а не из внеконтекстных универсальных законов типа модернизации -вестернизации или стационарных моделей типа тоталитаризма.

Первая посылка означает следующее. Разумеется, различные “факторы” и обстоятельства (экономические, возможно, в первую очередь) не сводимы к “идеям” и имеют собственную “логику” развития или упадка. В качестве таковых они “вливают” на политику. Но лишь самые грубые формы “аккультурного” редукционизма представляют дело так, будто эти “факторы” и обстоятельства непосредственно детерминируют политику, которая лишь “отражает” их. Их превращение в “факторы” и обстоятельства политики - сложный процесс многоступенчатых опосредований, в котором идеи и ценности играют как раз решающую роль. То, как, к примеру, самый сильный экономический кризис предстанет в качестве политического фактора и предстанет ли вообще, не предопределено собственной “экономической природой” этого кризиса, но зависит от цепи идейных опосредований.

Поэтому когда “культурные” теории делают упор на “идеи”, то это вовсе не означает игнорирование ими других “факторов” и обстоятельств, которые, напротив, должны быть изучены и учтены самым тщательным образом. Но он означает, что внимание должно быть приковано в первую очередь к тому, что “непосредственно движет политикой”, так сказать, - к “конечным продуктам” всех прочих “факторов”, к тому их *“окончательному виду”*, который они принимают, “входя” в политику, и в котором они только и имеют значение для нее. Когда, к примеру, Лешек Колаковский пишет, что коммунизм погубил не экономический провал (даже в его родной Польше!), а “сдвиги в ментальности”, то это означает не отрицание серьезности экономического кризиса “реального социализма” к концу 80-х годов (во всяком случае, в некоторых бывших социалистических странах), а то, что из такого кризиса самого по себе никакого политического изменения вывести нельзя. “Каков, в самом деле, - пишет Колаковский, - механизм, посредством которого экономические неудачи приносят коллапс политического режима? Не существует такого механизма, который действовал бы автоматически” [2, с. 12, 10].

Это вдвойне важно учесть, рассматривая СССР, где, по признанию многих советологов, экономическое положение к началу “перестройки” в 1985 г. не было сколько-нибудь заметно

хуже, чем, скажем, в 1979 г. - см. [3, с. 462] и др. И если даже начавшиеся тогда действия нового руководства СССР объяснять тревогой за будущее, то мы все равно окажемся в мире *причиняющих события идей*, ибо аналогичное положение, будучи воспринято иначе (прежним руководством), не порождало те процессы, которые мы знаем как “перестройка” и ее финал.

Вторую посылку - контекстуальность объяснения - можно представить в виде двух установок. Одна из них состоит в том, чтобы рассматривать советскую и постсоветскую действительность в качестве самостоятельного предмета, а не “перехода к” чему-то, по крайней мере, до тех пор, пока “переходность к...” не будет *доказана*. Как пишет Джордж Шепфлин, “в самом деле, есть все основания полагать, что посткоммунизм является чем-то гораздо большим, чем стадией перехода, и он вполне может остаться доминирующей чертой политики в регионе (Центральной и Восточной Европы - Б.К.) на все обозримое будущее” [4, с.127]. Вторая установка заключается в том, чтобы найти в самих “идеях”, определявших, как обычно считается, политику коммунизма, такие коллизии, мутации, преобразования, которые обусловили его “делегицизацию”, “сдвиги ментальности”, ставшие источником “энергий изменения”. Есть смысл вновь напомнить, что никакая идеология никогда не разваливалась от столкновения с “противоречащими ей” фактами, ибо никаких “чистых фактов”, никак не интерпретированных, т.е. уже не “вписанных” в ту или иную идеологию, человек просто не может встретить. В любой идеологии, как отмечает тот же Колаковский, есть, по существу, безграничные ресурсы реинтерпретации “неудобных фактов”, благодаря которым они либо представляются малозначительными, либо каким-то образом увязываются с относимым на все более отдаленное будущее исполнением “обещаний” данной идеологии (типа того, что столь удачно много веков делает христианский миллениаризм со “вторым пришествием Христа”) - [2, с.13]. Коммунистической идеологии такие реинтерпретации не удались, и именно это необходимо объяснить в первую очередь, причем из ее собственных “внутренних” разломов.

2. Противоречие между инструментальной и нормативной рациональностью в идеологии и практике советского коммунизма

Коммунизм, видимо, был последним великим идеологическим отпрыском Просвещения, в котором инструментальная и нормативная рациональности находились *еще* в состоянии гармонии. Вернее, Марксов коммунизм *восстановил* эту гармонию, уже к тому времени основательно разрушенную в самом просветительском либерализме, посредством указания на нового исторического субъекта (пролетариат), будто бы способного *установить* ее своим революционным действием, и весьма правдоподобно - относительно действительности XIX века - описал условия и *необходимость* такого действия. Ядро марксистского политического послания в том и заключалось, что, осуществляя *нравственное* революционное действие (устранение социального неравенства, угнетения, эксплуатации, т.е. - "прыжок в царство свободы"), пролетариат *тем самым* ликвидирует и условия собственно *экономической нерациональности* капитализма ("анархии" производства, уничтожающих созданные богатства кризисов, огромных "непроизводительных расходов", "паразитизма" целых общественных слоев и т.д.). Неразрывная связь общедоступного богатства, преодоления нужды, в которой жило дотоле человечество и которая определяла самые фундаментальные параметры "положения человека в мире", с тем, что "свободное развитие каждого становится условием свободного развития всех", и есть восстановленная в Марксовом коммунизме гармония инструментальной и нормативной рациональности.

У меня нет сейчас возможности проследить этапы, противоречия и конкурирующие между собою варианты эволюции политического послания марксизма до того момента, когда возник ленинизм в качестве идеологии "социалистического строительства". Ограничусь лишь выражением согласия с мнением тех исследователей, кто считает, что в начале XX века Ленин обеспечил всех европейских левых средствами сохранения в дееспособном состоянии политического "наследия 1789 года" в условиях, в которых его нравственно-революционный смысл уже казался безнадежно устаревшим и неадекватным действительности. Хотя "революционный миф" спасался Лениным в большой мере путем акцентировки его рационально-технологической стороны *за счет* этической [5, с.9].

Ленинизм-сталинизм в качестве идеологии “социалистического строительства” совершил очень важную инверсию в связи инструментальной и нормативной рациональности, какой она была в коммунизме Маркса. В последнем нормативно-рациональное освободительное действие мыслилось создающим условия для “совершенной” инструментальной рациональности - в производстве и распределении благ. В ленинизме-сталинизме после захвата большевиками власти и, в особенности, после ликвидации нэпа инструментальная рациональность в виде строительства “материальной базы” социализма/коммунизма стала первейшим и решающим условием нормативной рационализации общества - в смысле достижения равенства и состояния “свободного развития каждого”.

Значение этой инверсии для идеологического развития советского коммунизма и всей его политической жизни нельзя переоценить. С одной стороны, все невероятные усилия и чудовищные жертвы, приносимые на поприще и ради “социалистического строительства”, оправдывались только и исключительно перспективами нормативной рационализации общества, выступавшими в качестве легитимирующей строй и стимулирующей деятельность масс утопии. (Даже квазинационалистическая или “имперская” легитимация идей “великой державы” складывается лишь ко второй половине 30-х годов и никогда, вплоть до “перестройки”, не “отменяет” и не подменяет собой легитимацию через нормативную утопию свободы и равенства.) Но, с другой стороны, эта инверсия создает - вначале потенциально, затем актуально - напряжение между инструментально рационализируемой действительностью и нормативной утопией. Дело, вновь подчеркну, не в том, что “факт” противоречит “идее”, а в том, что “идея” инструментальной рациональности, предстающая в виде “фактов” “социалистического строительства”, все более противоречит нормативной “идее” равенства и свободы. Это противоречие состоит именно в том, что “положенное” идеологией подчинение инструментальности нормативности переворачивается в подчинение нормативности инструментальности. Такое переворачивание из эпизодического и, как казалось, “обслуживающего” общую логику господства нормативной рациональности (типа преференциальных окладов “спецам”, столь активно дебатировавшихся на высших партийных форумах во времена Ленина) становилось систематическим и “самодовлеющим”, уже не сводимым к роли

необходимого *средства* продвижения к обществу равенства и свободы. Напряжение между нормативной и инструментальной рациональностью возникает вследствие их инверсии именно потому, что первая может стать и становится позицией *критической оценки* второй и преобразуемой согласно ее логике “действительности”.

Иными словами, в ленинизме-сталинизме обнаруживается то же расхождение между инструментальной и нормативной рациональностью, которое происходит во всех идеологиях Современности, “изначально” ориентированных на нормативные освободительные утопии. Весь вопрос в том, *какой* оказывается реакция на такое расхождение: происходит ли, к примеру, “дезактивация” нормативной утопии, ее “обезвреживание” с точки зрения дальнейшей инструментальной рационализации действительности (кого сейчас “волнует” и поднимает к действию лозунг “братства”, все еще начертанный на символике Французской республики?) или же энергия, заложенная в этой утопии, “канализируется” в приемлемые институциональные формы и согласуется с логикой инструментальной рационализации (так, нормативная утопия “все люди рождаются равными” “канализируется” в институты и процедуры гражданско-правового равенства). В иных случаях нормативные энергии - к “худу или добру” - взрывают структуры инструментальной рационализации или модифицируют их (достаточно вспомнить кубинские эксперименты 60-х годов или “красный май” 1968 года в странах Запада).

Реакция советского коммунизма на все более явно обнаруживавшееся расхождение инструментальной и нормативной рациональности - в силу ряда обстоятельств - была наиболее противоречивой. С одной стороны, *утопия продолжала обязывать* его вождей и правящую элиту, сколь бы далеко не заходили их собственный цинизм и равнодушие к “идеалам” или даже презрение к ним. В конце концов, “оправдание” их власти покоилось на том, что СССР - “иной”, чем Запад (в целом “миросистемный подход” необходим для понимания отличий форм и способов дезактиваций и канализирования утопических нормативных энергий в первой - “западной” - и в последующих волнах “вступления” в Современность). “Наследие Октября”, буквально пропитанное этими энергиями, было для коммунистического режима единственным Началом и “основополагающим актом”, так что сама *рутинизация коммунизма* (особенно в эпоху Брежнева) не могла -

парадоксальным образом - не нести в себе такого утопического заряда. То, что "утопия продолжала обязывать", сказывалось во всех, нередко вопиющих, "аномалиях" инструментальной рационализации советского общества: от почти маниакального преследования частной собственности и "нетрудовых доходов" до грандиозных в своей нелепости планов "поворота рек" и т.п.

Я не думаю, что все эти "аномалии", действительно обусловившие отставание советской экономики от Запада, а в конце концов ее "застой", могут быть объяснены в какой-то другой логике, чем "обязывающая сила утопии", включая логику политического и экономического "выживания" коммунистической элиты как "класса". Постсоветская действительность - самое убедительное доказательство тому, что эта элита в основной своей части могла прекрасно сохраниться в качестве господствующей и без всех таких "аномалий", связанных со спецификой коммунистического строя. Но она смогла сохраниться без них тогда, когда утопия перестала обязывать элиту со стороны "народа", когда она перестала быть легитимирующим властью условием.

Попытки освобождения элиты от обязывающей ее нормативной утопии, которые не могли в силу указанных условий не принимать крайне противоречивый характер, предпринимались ею давно, по крайней мере, со второй половины 30-х годов, когда было объявлено, что "осуществлена в основном первая фаза коммунизма, социализм" (И.Сталин), уже "полностью уничтожены причины, порождающие эксплуатацию человека человеком", и в качестве главной задачи на следующий период (10-15 лет) выдвигалась сформулированная в чистой логике целерациональности перспектива "перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении" [6, с.878-879]. Иными словами, провозглашалось, что утопия стала действительностью, что на "повестке дня" остались задачи преимущественно (а по большому счету - исключительно) целерационального плана. Рудиментарные нормативные смыслы переносились в потустороннюю даль идеала "второй фазы" коммунизма, которая связывалась с действительностью содержательно неопределенным (т.е. по сути лишь воспроизводящим и "совершенствующим" уже наличное состояние общества) и туманно растянутым во времени "строительством коммунизма". Хрущевская попытка конкретизировать эту связь (но только в отношении временных сроков, а не содержания процесса), с одной стороны, еще более

подчеркнула расхождение инструментальной и нормативной рациональности, а с другой стороны - сама явилась *вынужденным* откликом-реакцией на ту активизацию “народных” нормативных энергий, которая была вызвана десталинизацией советского общества.

Как бы то ни было, то, что Альфред Мейер еще в середине 60-х годов пронциательно характеризовал как “угасание утопии”, “более-менее сознательно направляемое посредством идеологических изменений” самим режимом в целях снизить “ожидания граждан” [7, с.322 и далее], есть важнейшая составляющая, если не основа, *самореформирования советского коммунизма*, имевшая очень далеко идущие последствия. Это самореформирование и его *значение* были упущены большинством западных советологов как либеральной, так и консервативной ориентации. Северин Байлер, к примеру, был совершенно прав, отмечая (относительно брежневского периода), что “инновационный импульс” практически утрачен советской правящей элитой: “Наиболее важно то, что у элиты произошел радикальный упадок импульса перестраивать общество. В сознании правящей элиты советская социальная структура обрела окончательную форму - во всяком случае, на обозримое будущее... Инновационный импульс политической элиты целиком сосредоточивается на функциональных, а не структурных инновациях” [8, с.55]. Но в том и дело, что *для* того, чтобы “советская социальная структура” пребывала в статичном состоянии, чтобы “импульс инноваций” угас, необходимо было добиться глубоких изменений в “ментальности народа”, максимально “дезактивировать” нормативную утопию и в надежде на это - кардинально *реформировать* идеологию.

Брежневская “теория” “развитого реального социализма”, традиционная по своей лексике, являлась своего рода *завершением* такой многотрудной реформы, начатой сталинским провозглашением, что социализм “в основном” построен, и отчасти “сбитой с курса” хрущевским утопическим активизмом. Чарльз Фэрбенкс прав, подчеркивая, что в последний период существования СССР роль идеологии не уменьшалась, а возрастала, так что его коллапс вообще нельзя понять без учета роли “идей” [9, с.50]. Это так, но важно учесть, что новизна роли “идей” заключалась в том, что они были призваны не мобилизовывать, а демобилизовывать, не внушать убеждения, а разрушать способность людей к их формированию [10, с.607], не политизировать, а деполитизировать их, одним словом, “идеи”

были призваны охранять и стабилизировать режим посредством замыкания людей в мире их приватности и максимально полного их “отлучения” от сферы публично-политической жизни через развитие индифферентности к ней и отторжения от ее бессмысленной рутины. Но новизна роли “идей” состояла и в том, что этому, доведенному почти до предела, их обесмысливанию и их функции нормативно-политической стерилизации “народа” оказались - по закону противодействия - противопоставлены нормативно-активистские “идеи”. Причем первоначально они пришли “сверху”.

Но прежде, чем мы рассмотрим “эффект перестройки”, стоит еще раз подчеркнуть глубину самореформирования советского коммунизма. Начав буквально с упразднения частного бытия человека в апофеозе революции и “военного коммунизма”, пройдя (если опустить интермеццо нэпа) сталинскую редукцию человека к “говорящей вещи”, за которой не признается права ни на частную, ни на осмысленную самостоятельную публичную политическую жизнь, советский коммунизм дошел до попытки, говоря словами Михая Вайды, “канализировать всю человеческую активность в приватную сферу”, используя для этого, в том числе, и гнетущие бессмысленные ритуалы “общественной деятельности” брежневского периода - цит. по [11, с. 283].

Это и была *суть самореформирования советского коммунизма*, не только ради “камуфляжа” затемняемая сохранявшейся революционной риторикой, но и в самом деле глубоко “деформированная” “обязывающей нормативной утопией”, освободиться от которой полностью не удалось даже брежневско-черненко-ской элите. Такое “деформированное самореформирование” сказывалось и на институциональном уровне, приводя в каждой сфере (экономике, политике, культуре) к образованию трех все с большим скрипом подгоняемых друг к другу слоев: “институционального фасада”, воплощающего в себе нормативную утопию (к примеру, в экономике - централизованный императивный план и его институты); “оперативных механизмов” (продолжая пример экономики, - каналы и процедуры “корректировки” планов, бюрократического торга за ресурсы и льготы и т.д.); наконец, “механизмов компенсации дисбалансов и дисфункций” (подпольное производство, “черный рынок”, “закрытые распределители” разных уровней и типов и т.п.) - подробнее об этом институциональном расслоении см. [12, с.101-105]. “Деформированное самореформирование” - причина того, что

“одномерное общество” (по Г. Маркузе) в советском исполнении так и не смогло обрести устойчивости и эффективности, свойственных его западному аналогу. Это же - причина того, почему советскому коммунизму при всей глубине его самореформирования в направлении “одномерного общества” приходилось до последних дней прибегать к грубым методам “психушек”, арестов и высылки инакомыслящих, “глушения” западных радиоголосов и прочим приемам из арсенала “старого деспотизма”.

Однако, насколько бы это ни показалось парадоксальным, слабость советского “одномерного общества” во многом проистекала из того, что ему кое в чем, весьма существенном, удалось продвинуться *дальше* западного аналога, прежде всего - в *полноте приватизации человека*.

Менее всего мне хотелось бы сейчас заниматься интеллектуальным эпатажем. Но, давайте, рассмотрим определение частной сферы, предлагаемое классическим либералом Джоном Стюартом Миллем, в которой, по его мнению, заключается “индивидуальная свобода”. В жизни человека есть сфера, “которая не имеет никакого отношения к интересам общества, или, по крайней мере, не имеет никакого непосредственного к ним отношения: к ней принадлежит вся та сторона человеческой жизни и деятельности, которая касается только самого индивидуума, а если и касается других людей, то не иначе, как вследствие их совершенно сознательного на то согласия или желания”. “Власть общества над индивидуумом не должна простираться далее того, насколько действия индивидуума касаются других людей; в тех же действиях, которые касаются только его самого, индивидуум должен быть абсолютно независим над самим собою...” [13, с.213, 209].

Я не хочу обсуждать сейчас то, насколько точно законодательству и политической практике западных стран удается провести границу между действиями индивида, касающимися его самого, и теми его действиями, которые касаются других людей. Однако совершенно ясно, что *частная собственность не может иметь никакого отношения к определенной таким образом частной сфере*. Она есть сугубо общественное отношение, так как по своей природе всегда “касается других людей” - даже элементарным фактом своего существования (не говоря о ее функционировании), ибо факт этот состоит в том, чтобы исключать всех других из пользования тем, что является “моей” собственностью (если “я” не дозволяю иное).

Поздний советский тоталитаризм и не говорит ничего о частной собственности (в принципе запретив ее). Во всем другом его практика (если не теория его демагогии и права) в точности соответствует миллевскому определению частной сферы. До тех пор, пока мысли и действия человека касаются исключительно его самого (в самом буквальном смысле этих слов), он может делать, что угодно: слушать на кухне самые антисоветские передачи западных радиоголосов, презирать кремлевских вождей, наслаждаться тем, что удалось добыть на “черном рынке” или в распределителе и т.д. Но все это категорически запрещено, как только начинает касаться каких-либо других людей: нельзя публично обсуждать то, что услышал по радиоголосам (но публичность в миниатюре - это уже разговор двоих), нельзя “на людях” поносить политику партии, нельзя даже написать газетную заметку о находящихся при самом Кремле распределителях... Но ведь все это действительно касается кого-то другого, а потому - по Миллю - “общество” имеет право в это вмешиваться.

Конечно же, свободолюбивый Милль не имел этого в виду. Но он мог дать свое определение частной сферы и свободы в ее рамках, столь идеально соответствующее советским тоталитарным условиям именно потому, что *она никогда буквально не соответствовало западным условиям*, так как на Западе “за ним” *само собой* подразумевалось и реально существовало что-то другое, что на практике “корректировало” применение этого определения. Это “что-то другое” - множество всевозможных структур гражданского общества, которые на деле и независимо от формализмов права определяли и *защищали* границы допустимой и недопустимой свободы индивида. Любой человек практически ничего не может сделать, что не касалось бы кого-нибудь еще. Но социально приемлемые, исторически и культурно устоявшиеся и “гарантированные” укладом гражданской жизни формы, масштабы и способы такого “касательства” могут быть абстрагированы в теории под рубрикой “неприкосновенной частной сферы и свободы” индивида, и с требованием их защиты от неустоявшихся, неприемлемых форм, масштабов и способов вмешательства в дела человека и выступает Милль.

Вся разница советского тоталитаризма с этим положением дел в том, что первый *не знает публично-гражданских ограничений абсолютизма приватности* и раздвижения ее границ до включения защищенных и “гарантированных”

отношений “касательства” к другим лицам. Позднекоммунистическая приватность ужасающе абсолютна и буквальна, и сразу за ее границами начинаются “минное поле” опасностей, исходящих от государства, и угроза его прямого вмешательства в дела человека. Можно сказать, что идея и практика “прав человека” оставались до самого конца не приемлемы для советского коммунизма именно в силу этой абсолютной и буквальной приватности, насаждавшей им. Ведь либеральные “права человека” - это защита не столько атомизированного и изолированного индивида, сколько “хрупких каналов социальной коммуникации... от вмешательства, контроля над ними и их разрушения политической властью” [14, с.90; подробнее см. 15, с.244] . В конце концов, права свободы слова, собраний, ассоциаций и т.д. - все это *права выхода* из абсолютной приватности к публичному общению и взаимодействию людей, т.е. права относительно публичной сферы общественной жизни, подавление которой являлось главным условием сохранения коммунизма в целом, в его реформированном в сторону “нового деспотизма” виде - в особенности.

Но именно это достижение советского коммунизма по сравнению с Западом, эта полнота приватизации человека приводили к *нарастанию социальной аномии*, к тем ее формам, которые разрушительно влияли и на хозяйственную деятельность общества, - к падению трудовой дисциплины, пьянству, росту преступности, в том числе и прежде всего - экономической и т.д. Позднекоммунистический Советский Союз, по существу, показал Западу, насколько опасна логика его собственного развития, доведенная “до конца” и “очищенная” от тех сдержек и контртенденций, которые уходят корнями в давно минувшие эпохи, и с точки зрения самой этой логики представляющиеся лишь “реликтными” явлениями. В то же время коммунистическая социальная аномия, т.е. подрыв этоса и “нравственной инфраструктуры”, включающей в себя правдивость, доверие, солидарность, достоинство личности и труда, поставила перед порядками, идущими на смену коммунизму, в качестве первоочередной и чрезвычайной задачи восстановление публичной сферы, в которой и благодаря которой эти ценности только и могут быть “реставрированы” в их “дееспособности” и общественной признанности [16, с.142-156]. Без этого сама возможность возникновения социально эффективного рынка, предполагающего такой этос и такую “нравственную инфраструктуру”, выглядит сомнительной [17, с.213].

3. “Перестройка” и крах советского коммунизма как следствия противоречия между инструментальной и нормативной рациональностью

Я уже упоминал о том, что “противоход” полному обесмысливанию “идей” и “дезактивации” нормативной утопии первоначально возник “сверху”. Это и была горбачевская “перестройка”. Сегодня мы можем уверенно отказаться от телеологии в объяснении и этого явления. Ясно, что никакой продуманной стратегии действий, тем более - ведущей к демонтажу советского коммунизма, у ее инициаторов не было. Ясно и то, что она не была “необходимой” - в смысле неизбежно детерминированной какими-либо “давлениями” (будь то экономическим, военным, культурным или связанным с подъемом национализма в регионах СССР), игнорирование которых неумолимо оборачивалось бы крахом режима, - подробнее об этом см. [18, с.19-22]. Все эти “давления” возникали в ходе “перестройки” и благодаря произведенному ею раскрепощению нормативных и политических энергий, действие которых задавало событиям логику, никем и, можно сказать, ни в какой мере не предусмотренную.

Сейчас нас мало интересует и то, что первоначально “горбачевский курс” представлял собою всего-навсего “ускорение”, т.е. программу, говоря словами Байлера, лишь “функциональных”, а не “структурных” изменений, ориентированных на инструментальную рационализацию управления народным хозяйством и его техническое переоснащение. Это так. Но важно то, что уже этот вполне, казалось бы, традиционный для позднего коммунизма подход приобретал *другой смысл* - подъема жизненной активности “народа” через повышение стандартов его жизни и отладку “материальной базы” социализма. Для нашего анализа важнее не то, что этот замысел не удался, а то, что сам он означал возврат к *раннекоммунистическим* (ленинским) представлениям о стратегической подчиненности инструментально-рациональной деятельности нормативной рациональности. Это была первая “перестроечная” попытка восстановления примата нормативной утопии и в этом смысле - *ревизия позднекоммунистического “брежневского” наследия*.

Переход от “ускорения” к “перестройке” был вторым шагом на этом пути, обусловленным неудачей первого: нормативная утопия должна быть активирована непосредственно *самой*

политической практикой - в “низовой” инициативе масс, через “гласный” публичный дискурс - и уже в качестве таковой дать импульс инструментальной (прежде всего - экономической) рационализации общества. Это, как говорил тогда Михаил Горбачев, уже, действительно, была *революция*.

Ее можно рассматривать в качестве “революции сверху”. Но при этом следует учитывать два обстоятельства. Первое: это - революция, инициированная именно “идеологами” партии (при поддержке руководства карательных органов и в особенности - постандроповского КГБ) *против* тех “прагматиков” и “технократов”, которыми было переполнено брежневско-черненко-ское руководство страны практически на всех уровнях, - подробный анализ этого явления см. [9, с.51-53]. Иными словами, “движущая сила” этой “революции” оказалась прямо противоположной той картине “носителей” модернизации и трансформации коммунистического общества, которую рисовала либеральная советология. Не нужно и говорить о том, что консервативная советология, опиравшаяся на “тоталитарную модель” Фридриха-Бжезинского, не видела в “идеологах” коммунизма и руководстве карательных органов ничего, кроме самых надежных столпов тоталитарного строя.

Второе обстоятельство, требующее учета при рассмотрении данной “революции сверху”, заключается в том, что все ее исторически великие результаты, включая разрушение коммунистического режима, были достигнуты благодаря самодеятельной активности “снизу”. Влиятельное движение, аморфно структурировавшееся в “Демократическую Россию” периода ее расцвета, бесчисленные “народные фронты” всевозможной идеологической окраски, целый спектр реформистских течений внутри КПСС - все это и многое другое есть убедительное свидетельство тому, что нормативная утопия (в разных ее вариантах) никогда не была уничтожена позднекоммунистическим режимом, а лишь лишена возможности публично-политического проявления. Именно сила этой утопии сделала возможной то “мгновенное”, практически “с нуля” воссоздание мощной и бурлившей жизнью публичной сферы, начисто лишившей коммунизм легитимности, без которой он рухнул в опереточном “перевороте” августа 1991 года. Она же обусловила то привлечение внимания Хабермаса и других наблюдателей [19, с.616-621; 20, с.7-8] воспроизводство в конце XX века лозунгов либеральных революций эпохи Просвещения, в которых “права человека” (свобода), устранение привилегий

(равенство) и новое отечество - Демократическая Россия (братство), еще не разошлись и не вступили в противоречие с “рынком”, “эффективным управлением” и “державным величием”.

Означают ли воспроизводство этих *старолиберальных* лозунгов и их способность мобилизовывать “судьбоносные” политические действия то, что восточноевропейские антикоммунистические революции интеллектуально “неоригинальны” и “ретроспективны”, что их реальный смысл - лишь *реставрация* ранее утраченного из-за господства коммунизма, а потому - им, по большому счету, нечего “сказать” Западу, кроме как оповестить его о гибели опасного врага? Или же в этом самом воспроизводстве заложен более богатый смысл, который во многом еще не известен Западу и который ему полезно было бы усвоить, чтобы избежать тяжелых последствий *для себя*?

Некоторые аспекты такого смысла, впрочем, раскрываются наиболее пронзительными западными исследователями. Проблемы, связанные с крахом коммунизма, - подчеркивает Ш.Эйзенштадт, - не такие, которые возникают при крушении “традиционных” империй, при переходе от “досовременного” к полностью современному, демократическому обществу или от деформированной современности к относительно спокойной стадии, которая сигнализирует о своего рода “конце истории”. Бурные события, происходящие сегодня в Восточной Европе, являются свидетельствами некоторых проблем и напряжений, присущих самой современности, показывая *потенциальную хрупкость всего проекта современности* (см. [21, с.21,39 и др]. Курсив мой - Б.К.).

Да, современность, для которой освободительные либеральные идеи становятся лишь пустыми фигурами ритуала веберовской “негативной политики” [22, с.1407 и далее], современность, в которой творческие энергии нормативной утопии погашены процедурами шумпетерианской “элитарной демократии”, действительно, становится “хрупкой”. Советский коммунизм лишь показал, *насколько* хрупкой она становится без этих идей, лишая режим, в распоряжении которого были мощнейшая армия, самая разветвленная система репрессивных органов и колоссальный аппарат идеологического воздействия, какой-либо возможности защищать себя против нескольких тысяч безоружных, плохо организованных, но идейно вдохновленных людей. Крах коммунизма - вопреки всей расхожей мудрости политической науки и устоявшейся политической практики, в том числе и Запада, - показал силу

старой истины, что не процедуры и институты, а *идеи правят миром* и меняют мир, что против них, словами Гегеля, бессильна и “недействительна” вся “позитивность”. Это, в самом деле, важное предупреждение нынешнему Западу.

Другое же предупреждение касается *прочности* той констелляции Современности, в которой *демократии отводится лишь роль средства* канализировать и находить способы согласовывать те противоречия и конфликты, которые она получает как “данность” от других “кластеров” современного общества (капитализма, нации-государства и т.д.). Иными словами, крах коммунизма и последовавшие за ним события поставили вопрос о том, может ли в условиях Современности демократическая политика быть сведена к отражению и обслуживанию процессов, проходящих вне ее, независимо от нее и представляющих для нее чем-то вроде “природы”, которую можно только познавать и соотноситься с ней, но не творить ее, или же за демократической политикой необходимо признать способность производить общество, в котором мы живем, практически во всех его существенных аспектах?

На Западе образование современного общества имело определенную последовательность развития. Исторически “первичным” было возникновение государства с определенностью его территориальных, но также и культурных границ - в смысле установления *базисных идентичностей* (т.е. того, кто есть “мы”) и механизмов принадлежности к данной общности и включенности в нее (гражданства). *На этой основе* как “естественной данности” отрабатывались процедуры, правила и нормы взаимодействия людей, в том числе и те, которые составляют нравственно-правовую “инфраструктуру” рынка и делают его возможным (в его противоположности “войне всех против всех”). Этот второй уровень или этап развития современного общества опять же представлял как “естественная данность” для третьего уровня, который можно назвать уровнем “текущей, оперативной политики” и на котором в борьбе *интересов*, сформированных в их основных параметрах на предыдущих уровнях, решается “лассвелловский” вопрос - “кто получает что, когда и как”. В “обычной” истории Запада связь этих уровней, по выражению Клауса Оффе, являлась “однолинейно каузальной” (от первого уровня к третьему), детерминистичной и “непреднамеренной” - в смысле ее независимости от волевых и осознанных действий людей и обусловленности такими действиями [23, с.869-870]. Именно

при такой связи демократическая политика оказывается, в сущности, отражением вне ее и независимо от нее протекающих процессов и явлений (т.е. таких, которые возникли или возникают на двух более “глубоких” уровнях действительности) и их обслуживанием - в смысле устранения или примирения коллизий между ними, не устранимых и не примиримых на тех уровнях, на которых эти процессы и явления “естественно” образуются (к примеру, партийно-парламентарная политика как способ нахождения компромиссов и “консенсуса” тех интересов, которые конфликтуют между собою в сфере экономики).

Падение коммунизма - и особенно в России - сломало эту последовательность развития и эту “однолинейную” связь уровней современного общества между собою. В пост-коммунистической России *одновременно* необходимо выработать и новую государственную идентичность (что такое “Россия”? Где ее “естественные” границы? Кого считать “россиянами”?), и базисные процедуры, правила и нормы взаимодействия людей, в том числе и прежде всего - “рыночные” (“сформировать рынок”), и формы, и механизмы “оперативной политики” согласования интересов. Причем все это приходится делать в условиях уже существующей “прозрачности” всех процессов для граждан, уже имеющих право голоса и политического участия, которое на Западе стало “всеобщим” *лишь после* завершения всех основных процессов на двух “глубинных” уровнях современного общества [24,с.17 и далее]. В результате эти процессы *утратили свойство “естественности”*, их политическая природа, их зависимость от конкретных решений конкретных людей (например, по принятию той или иной схемы приватизации, по сохранению Чечни в составе России или ее выходу из Федерации и т.д.) *стали очевидны*, и потому предстали *в качестве возможных объектов политического воздействия*.

И Россия, и “рынок”, не говоря уже о конкретных механизмах “оперативной политики” (типа “закона о партиях” или устройства и полномочий Думы), предстали продуктами политической деятельности, *которые можно “сделать” так или иначе* - в зависимости от соотношения сил, напряжения воли, смелости и глубины замыслов.

Укрыться от этого *беспрецедентного* вызова *производящей политики* апелляциями к каким-либо “естественным данностям”, стоящим вне досягаемости для воли и политических действий людей, невозможно. Ничего, кроме бед (при попытках их

практического воплощения), не дадут разглагольствования о “естественных границах” России, “естественной принадлежности к ней” (или “естественной чуждости ей”) тех или иных этносов, о “естественных” принципах экономического или политического устройства, вытекающих из исконной “соборности” или “симфонизма” русского народа. Все эти “естественности” уже стали предметом споров и политической борьбы, с которыми можно покончить, но лишь на время и лишь ценой соскальзывания к еще худшему положению, только грубым и кровавым насилием.

Демократия, причем не просто “процедурная и элитарная”, но именно массовая и производящая, лишь на фундаменте которой могут заработать “нормальные” демократические процедуры, *стала категорическим императивом для России*. Но справиться с ним, осуществить его Россия пока не может. А без этого остаются неустранимыми те *взаимоисключения* устойчивого конституционализма, демократического участия и экономического либерализма, которые в посткоммунистическом контексте отлично описал Йон Элстер [25] и которые препятствуют реформам во всех сферах - государственного строительства, рыночной реформы, политической демократии. Мы говорим “взаимоисключения”, ибо без конституционализма нет той правовой “инфраструктуры”, которая необходима для рынка. Но рыночные реформы, оставляя “за бортом” процветания большинство населения, блокируются демократической политикой. Наконец, замыкая эту трехзвенную цепь, устойчивый конституционализм может сложиться лишь на основе широкого демократического согласия, ибо в противном случае он окажется не более, чем “перемирием”, навязанным временно более сильной стороной тем, кто слабее. Получается замкнутый круг: указанные “составляющие” реформ предполагают и в то же время отрицают друг друга, причем в наиболее “сложном” положении оказывается демократия, вступающая в конфликт с экономическим либерализмом, но необходимая для конституционализма, который, в свою очередь, является важнейшим условием рыночных либеральных реформ.

Поиск выхода из этого замкнутого круга - главное в посткоммунистическом развитии России. Это - суть ее модернизации как такого способа справиться с проблемой Современности, специфика которого - по сравнению с “западным путем” - состоит в приоритетности нормативной рационализации общества, осуществимой только методами демократической политики.

Является ли это уникальностью России, очередным свидетельством ее “инаковости”? В смысле степени драматизма данной проблемы и неотложности нахождения способов справиться с ней, - пожалуй, да. По сути же дела, скорее всего, - нет. Если верно, как пишет Ульрих Бек, что и на Западе “происходит *радикализация* современности, которая взламывает посылки и контуры индустриального общества и открывает пути другой современности”, и способом образования этой “другой современности” оказывается *рефлексивность* [26, с.3 и далее], растущая и доходящая до ранее принимаемых за “естественные” оснований общества, то, видимо, признание производящей силы демократии и соответствующий пересмотр места и роли “негативной политики” может оказаться делом не столь отдаленного будущего и там.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Российская идея успеха: введение в гуманитарную экспертизу // Этика успеха. 1997. Вып.10.
2. Kolakowski L. Mind and Body. Ideology and Economy in the Collapse of Communism. In: Constructing Capitalism. The Reemergence of Civil Society and Liberal Economy in the Post-Communist World. Ed. K. Poznanski. Boulder (Col.): Westview Press, 1992.
3. Zwick P. The Perestroika of Soviet Studies: Thinking and Teaching about Soviet Union in Comparative Perspective//PS: Political Science and Politics. 1991. Vol.XXIV, N 3.
4. Schopflin G. Postcommunism: The Problem of Democratic Construction // Daedalus. 1994. Vol. 123, N 3.
5. Judt T. Nineteen Eighty-Nine: The End of Which European Era // Daedalus. 1994. Vol. 123, N 3.
6. Восемнадцатый съезд ВКП(б). Москва. 10-21 марта 1939 г. В кн.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть II. М.: Политиздат, 1953.
7. Meyer A.G. The Functions of Ideology in the Soviet Political System. In: Between Totalitarianism and Pluralism. Ed. A. Dallin. N.Y.-L.: Garland Publishing, 1992.
8. Bialer S. Stalin's Successors: Leadership, Stability, and Change in the Soviet Union. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1980.
9. Fairbanks C.H., Jr. The Nature of the Beast // The National Interest. 1993, N 31.
10. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996.

11. Rupnik J. Totalitarianism Revisited. In: Civil Society and the State. New European Perspectives. Ed. J. Keane. L.-N.Y.: Verso, 1988.
12. Arnason J.P. The Future That Failed. Origins and Destinies of the Soviet Model. L.-N.Y.: Routledge, 1993.
13. Милль Д.Ст. О свободе. В: Д.Ст. Милль. Утилитаризм. О свободе. Спб.: Перевозников, 1900.
14. Holmes S. The Liberal Idea // The American Prospect. 1991, N 7.
15. Holmes S. The Permanent Structure of Antiliberal Thought. In: Liberalism and the Moral Life. Ed. N. Rosenblum. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1989.
16. Kolankiewicz G. The Reconstruction of Citizenship: Reverse Incorporation in Eastern Europe. In: Constructing Capitalism...
17. Poznanski K. Epilogue. Markets and States in the Transformation of Post-Communist Europe. In: Constructing Capitalism...
18. Rush M. Fortune and Fate // The National Interest. 1993, N 31.
19. Arato A. Interpreting 1989 // Social Research. 1993. Vol. 60, N 3.
20. Habermas J. What Does Socialism Mean Today?// New Left Review. 1990, N183.
21. Eisenstadt S.N. The Breakdowns of Communist Regimes and the Vicissitudes of Modernity // Daedalus. 1992. Vol. 121, N 2.
22. Weber M. Parliament and Government in a Reconstructed Germany. In: M. Weber. Economy and Society. Vol. II. Berkeley: Univ. of California Press, 1978.
23. Offe C. Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe // Social Research. 1991. Vol. 58, N 4.
24. von Beyme K. Political Parties in Western Democracies. N.Y.: St. Martin's Press, 1985.
25. Elster J. When Communism Dissolves // London Review of Books. 1990, Jan 25.
26. Beck U. The Reinvention of Politics: Toward a Theory of Reflexive Modernization. In: U. Beck, A. Giddens, S. Lash. Reflexive Modernization. Oxford: Polity Press, 1995.

Н. Е. Покровский
ЭТИКА УСПЕХА
В СИСТЕМЕ НОВОГО РОССИЙСКОГО ФЕОДАЛИЗМА

Прежде всего позволю себе несколько вступительных замечаний по поводу предлагаемой экспертизы-консультации доктрины “этики успеха”.

На протяжении последних лет меня восхищают настойчивость и последовательность Центра прикладной этики, осуществляющего свою программу реформирования традиционных российских ценностей. Количество и качество опубликованных монографий и сборников, а также выпусков альманаха “Этика успеха” в наше нестабильное время может вызвать прямо-таки восхищение. Дух озорного и несгибаемого юношеского энтузиазма, присущий руководителям этого Центра (впрочем, по своему возрасту далеко уже не юношам), порождает определенную зависть в эпоху, переполненную унынием.

Приятно и другое. В своих публикациях, появившихся на протяжении последних лет в “Независимой газете”, “Социологических исследованиях”, “Вестнике МГУ. Серия: социология и политология”, а также в упомянутом альманахе “Этика успеха”, мне довелось обнаружить позиции по обсуждаемым вопросам российских ценностей, противоположные тем, которые проводит Центр. И тем не менее Центр не предал меня дружеской анафеме, а, напротив, приглашает к дальнейшему сотрудничеству. По моему мнению, терпимость и внимание к иным точкам зрения - хороший признак.

Итак, коль скоро есть приглашение, я позволю себе высказаться по вопросам, прямо или косвенно связанным с предлагаемой экспертизой-консультацией.

Социальная структура и аномия. (Вопросы теории)

Серьезную статью хочется начать с обсуждения чего-то принципиального, то есть с некоторых теоретических вопросов, которые, разумеется, не должны представляться академической читательской аудитории излишними.

На самых разных уровнях часто говорят о неблагополучии российского общества. Подобные рассуждения, как правило, приобретают форму утверждения: “нарушено государство”, “государственная власть расшаталась” и т.д. Между тем за этими

и подобными настроениями скрывается восприятие, именно восприятие, а не осмысленная рационализация, разрушения традиционной социальной структуры всего российского общества.

Итак, социальная структура...

С функционалистской точки зрения, прежде всего мертоновской, социальная структура представляет собой устойчивые, повторяющиеся во времени, функционально поддерживаемые связи, которые пронизывают все общество на всех его уровнях и фактически формируют всю социальную реальность, включая, собственно говоря, и государство.

Сторонники структурно-функционального анализа и последователи Р.Мертон в разное время давали различные определения социальной структуры, опираясь на мертоновское видение проблемы. Ядром всех этих определений стало положение, согласно которому отношения между отдельными частями социальной системы для социологии гораздо более важный объект изучения - в целях получения адекватного знания о социуме, - чем сами эти части (элементы). Иными словами, функциональные связи (зависимости), взятые в своей совокупности, и составляют социальную структуру.

Среди разнообразных определений социальной структуры выделим следующие: "организация связей", "упорядоченное устройство частей", "последовательные, устойчивые регулярности", "образец, то есть наблюдаемая закономерность действия или деятельности", "сущностные, лежащие в основе условия", "характеристика, более фундаментальная, чем другие поверхностные характеристики", "устройство частей, которое контролирует большую часть изменений, происходящих в феномене", "связи между группами и индивидами, которые находят свое выражение в их поведении" и др.

Перечисленные определения отвечают четырем критериям: во-первых, наличие связей, отношений, взаимозависимостей между элементами системы; во-вторых, подчеркивание регулярности, упорядоченности, постоянства и повторяемости характера этих отношений; в-третьих, идея глубоких, фундаментальных, скрытых уровней; в-четвертых, идея определяющего, сдерживающего или инициирующего, контролирующего влияния социальной структуры на социальные феномены.

Акцент на связях структурных элементов заметен уже в раннем (1949 г.) определении Мертоном социальной структуры: "Социальная структура представляет собой организованную

группу социальных отношений, в которые различным образом вовлечены члены общества или группы” [1]. Несколько позднее он дает сходную характеристику: “Структура статусных и ролевых групп обеспечивает базовую форму взаимозависимости в обществе” [2].

Все эти и многие другие определения социальной структуры показывают огромную методологическую значимость этого понятия, помогающего обнаружить те главные связующие функциональные “скрепы” в обществе, которые и позволяют обществу быть обществом, сохраняя и поддерживая свою историческую самобытность и даже социокультурную уникальность. В свою очередь, разрушение социальной структуры чревато незамедлительной деградацией общества, принимающей различные формы.

Справедливости ради, надо заметить, что, как правило, социальная структура разрушается и, соответственно, общество деградирует не сразу, не одновременно, а поэтапно, подчас словно даже возрождаясь (особенно в своем собственном самовосприятии), но, по существу, распадаясь на составные части.

Подобный распад, неизбежно сопровождаемый состоянием общественной аномии (безнормности), предопределяется нарушением баланса между детерминируемыми культурой целями общества и ограничительными институциональными рамками (прежде всего законностью и правом). На поверхности социальной жизни аномия проявляет себя в росте преступности, моральной неопределенности общественной ситуации и расшатанности этических норм, отсутствии потребности в диалоге с представителями других социальных групп, в культурно-ценностном вакууме повседневной жизни.

На мой взгляд, современное российское общество является собой совершенно классический образец тотальной аномии, о которой не могли даже помыслить “отцы” теории аномии - Э.Дюркгейм и Р.Мертон.

В течение многих десятилетий в советское время теория аномии не имела никакого успеха, будучи известной лишь узким специалистам в области теоретической социологии и криминологии. В самом деле, реалии авторитарного строя с его устоявшейся социальной структурой, не оставлявшей внутри себя вакуума социальных отношений, не давали жизненного материала для привлечения теории аномии в качестве теоретического и практического инструмента познания. Аномия

либо существовала только в глубинных слоях социальной структуры, либо была полностью элиминирована.

Однако вырождение и последующее падение социальной структуры советского общества воистину изменили всю картину. От полной заполненности социальных пространств российское общество перешло в состояние полного вакуума культурных целей и институционализированных средств их достижения. В каком-то смысле восторжествовал принцип: "Все дозволено!" И здесь наступил час теории аномии, которая оказалась наиболее действенным средством анализа новой ситуации российского общества.

Диффузия основных и производных ценностных ориентаций в обществе и полная расшатанность представлений о том, что дозволено или не дозволено, привели к удивительному и одновременно трагическому эффекту: в современном российском обществе практически полностью отсутствует изначальная для любого социума реакция органической солидарности. Никто ни с кем не хочет вступать даже в примитивные союзы. Все взаимодействия ограничиваются краткосрочными, прямыми и узконаправленными контактами. Это касается экономических, политических и культурных институтов.

Полное смещение представлений о целях общественной системы на макроуровне (включение в мировое глобальное сообщество? сохранение империи? создание православного теократического государства? возрождение монархии? и пр.) приводит к дизассоциации на микроуровне. Последнее дает особенно наглядные примеры аномии. Ориентация на успех, активно и во многом декларативно насаждаемая сторонниками так называемой "догоняющей модернизации", сталкивается с прямо противоположной ценностной тенденцией - стремлением закрепить традиционные ценности православной жертвенности, духовности (нематериальности), страдания во имя высшей цели. Однако весьма примечательно, что даже эта, казалось бы, непримиримая борьба идей и мотивов не приводит к солидаризации партий и социальных групп и генерированию конфликта в национальном масштабе. Напротив, на индивидуальном уровне большинство людей живут в состоянии одновременной ориентации на все указанные ценности разом, меняя их в зависимости от ситуации. Ценности не носят устойчивого характера, а сменяются в калейдоскопическом ритме. Это прослеживается и в личных биографиях политиков, представителей науки и культуры, лидеров индустрии.

Данное положение вещей, видимо, можно охарактеризовать как “тотальную, или капиллярную, аномию”, которая охватывает не только общественные институты, но “капиллярные” структуры повседневности.

Возвращаясь к проблеме “новых” российских ценностей, надо заметить, что, взятая изолированно, стихия материального потребительства и коммерции не может быть продуктивной до тех пор, пока она не получит нравственной цели и не ограничится строгими рамками институциональных требований, то есть санкционированных средств, допускаемых институтами общества для достижения этих целей. Только при условии наличия двух этих факторов (культурных целей и институционализированных средств их осуществления) экономические силы могут стать структурообразующими или же продуктивными с точки зрения укрепления общества и вытеснения аномии. В противном случае экономический инстинкт и экономический человек становятся разрушительными. Иными словами, сама по себе экономическая и предпринимательская деятельность не несет в себе ничего созидательного для общества до тех пор, пока она не “вписывается” в систему культурных целей общества и санкционированных средств их достижения.

Современная ситуация в России дает, на мой взгляд, яркий пример разрушенной традиционной социальной структуры, которая продолжает существовать лишь в своих изолированных фрагментах. То есть российское общество распалось (с функциональной точки зрения) на отдельные структурные фрагменты, “осколки”, которые внутри себя и, прежде всего, для себя самих, могут выглядеть вполне самодостаточными, обладающими своей собственной рациональностью и даже представляться процветающими. Но это осколочное, фрагментированное состояние общества демонстрирует отсутствие единых базовых ценностей и, как следствие, отсутствие единого языка общения, когда представители различных осколочных фрагментов социальной структуры просто не понимают друг друга, ибо руководствуются совершенно различными наборами ценностных ориентаций.

Скажем, сообщество, основанное на новом классе российских предпринимателей, декларирует себя как благополучное, динамично развивающееся, обладающее устойчивыми ценностями и т.д. Для подтверждения этого достаточно перелистать многочисленные периодические издания, выражающие интересы

нового бизнес-класса. Но так ли это на самом деле? И не носит ли это благополучие чисто показного характера, основанного на самовнушении?

Еще один пример. Скажем, невозможность диалога между представителями новых деловых слоев населения и интеллигенцией (хотя с позиций интеллигенции и очень желательного). “Новые русские” и традиционная интеллигенция оперируют различными базовыми ценностями, не сочетающимися друг с другом. Подобная картина наблюдается и во взаимоотношениях той же традиционной интеллигенции и новых культурно-артистических элит. Близость профессионального профиля деятельности (культура, образование, наука, искусство) не может сгладить фундаментального ценностного различия ориентаций. Для первых это будет сакральное служение народу, “правде”, стремление “во всем дойти до самой сути” (Б.Л.Пастернак), для вторых - постмодернистские попытки любой ценой уйти от рационализации и обрести сфокусированное самовыражение, а также достичь самообособления на рынке интеллектуальных услуг и продуктов.

Но и внутри указанных и всех иных социальных групп царит полнейший разброд. Поэтому стремление создать “идеальные типы” (по М.Веберу) современных российских ценностей представляется мне весьма непродуктивным. Наше общество еще не подошло к стадии “химического” синтеза ценностей - они существуют в несвязанных “фракциях”. Поэтому указанные для обсуждения Центром прикладной этики категории, подобные “коммунисты”, “либералы”, “западники”, “патриоты”, “державники” и пр., представляются мне скорее газетно-политическими ярлыками, нежели содержательными понятиями в контексте современной российской истории.

ВЫВОД. В условиях разрушения и фрагментирования социальной структуры российского общества и глубокого укоренения аномии какая-либо бодрая “технологическая” программа конструирования новых русских ценностей из имеющегося скудного, фрагментированного и крайне противоречивого набора этих ценностей представляется бесперспективной. К числу подобных программ я, честно говоря, отношу и “этику успеха”, принятую Центром прикладной этики. Однофакторные модели, как мне представляется, в сложных системах вообще и в случае с Россией, в частности, не эффективны.

Этика успеха, или идет ли Россия к капитализму?

“Этика успеха” и капитализм тесно связаны и как бы обуславливают друг друга. Кто будет с этим спорить? Подразумевается также, что чем больше у нас будет этики успеха, тем больше же будет у нас и капитализма.

Вначале о капитализме в России.

Мои собственные наблюдения над развитием российской реальности в девяностые годы вовсе не убеждают меня в том, что наше общество движется в направлении капитализма. Разумеется, все завистит от того, что подразумевать под капитализмом.

Учитывая, как считают многие, историческую отсталость России, если так можно выразиться, укравшей у самой себя более 70-ти лет развития по “правильному пути” всего цивилизованного мирового сообщества, можно предположить, что Россия должна прежде всего воссоздать у себя первоначальный, классический, домонополистический капитализм, дабы начать дело почти с нуля. “Идеальный тип” такого капитализма раскрыл Макс Вебер. Это знают все.

Но протестантская трудовая этика, положенная Вебером в основу модели капитализма, совершенно не характерна для России наших дней. Припомним, что Вебер указывал на несколько наиболее важных черт капитализма, которые и создают его социальную структуру, то есть запускают весь сложный механизм общества, встающего на капиталистический путь. К ним он относил:

а) протестантское реформирование христианства и раскрытие в нем этической доктрины демократического всесвященства и сакрального индивидуализма;

б) концепцию призвания, то есть особой мессианской предназначенности каждого человека к выполнению своей земной цели, (“этику успеха”, если угодно), прежде всего, в смысле приобретения и сохранения своего капитала;

в) сакрализацию труда;

г) мирской аскетизм и этику ограничения своих потребностей, кроме потребности трудиться во благо своего капитала, а затем и остального общества (филантропия);

д) культ профессий и профессионализма как богоугодного предназначения человека.

Спрашивается, по какому из указанных параметров за последние десять лет мы сделали хотя бы один шаг вперед?

Думаю, что как раз, напротив, Россия последовательно идет в каком-то совершенно ином направлении, обратном тому, о котором писал М.Вебер.

Так причем же здесь “этика успеха”? Или же она - та тонкая ниточка, которая должна распутать весь клубок противоречий современного российского общества? Для меня это сомнительно в высшей степени, ибо взятая изолированно в противопоставлении всему остальному, происходящему в России, она выглядит совершенно искусственной конструкцией, не имеющей отношения ни к капитализму, ни к России, а лишь к деятельности группы теоретиков, взявших подобное направление.

Неужели вы верите, что Россия 1993-1996 и прочих 90-х годов, завершающих XX век, и в самом деле идет в направлении веберовского или современного капитализма? Я сомневаюсь в этом.

ВЫВОД. В современной российской прессе и научной литературе понятия “капитализма”, “рынка”, “прав человека”, “демократии”, “свободы совести” и др. используются в чисто пропагандистских целях и, по сути, не имеют ничего общего с их известными остальному миру аналогами. Господствует оруэлловская модель перевернутого смысла.

Какое общество возникает в России

В свое время, в 1994 году, мне довелось написать, что у нас возникает новый феодализм с постмодернистским лицом. С тех пор много воды утекло, и я не раз сомневался в правильности сказанного мною в том смысле, что, быть может, “феодализм” - не самый удачный термин для описания российских реалий и возникающей в нашем обществе новой социальной структуры.

И все же лучшего термина и по сей день предложить не могу.

В самом деле, характернейшая черта феодализма, против которой как раз и воевал капитализм, - внеэкономическое привлечение рабочей силы к труду (феодальная собственность и феодальная зависимость) - практически с удвоенной силой воспроизвели себя в России конца XX века. (Совершенно не отрицаю того, что уже упоминавшиеся 70 лет социализма в России также несли в себе мощное феодальное наследие.)

Какая форма собственности растет и господствует в России наших дней? Государственная? Частно-капиталистическая? Вовсе нет. Мне эта форма представляется патриархально-феодальной, с характерной для нее закрытостью, неправовым характером, недемократичностью, клановостью, связью с

госаппаратом, возникновением класса современно-феодалных баронов со всеми необходимыми атрибутами.

Свободного рынка труда как не было, так и нет. И ничто не указывает на его возникновение, несмотря на существование смешных бирж труда и жалких объявлений о найме на работу, которым никто всерьез не верит. Таким образом, работники чисто по-феодалному закрепляются или закрепощаются за своим владельцем (особенно в условиях безработицы). Кто не знает, что в наших условиях покинуть свое место работы в поисках лучшего означает либо утонуть в безработице, либо стать жертвой погони за беглым крепостным, который слишком много знает.

Поговорите с молодыми выпускниками университета, которые с наивным энтузиазмом вошли в современные коммерческие структуры. Много интересного услышите. Первые несколько недель или месяц-другой полнейший восторг, прежде всего от шуршания нескольких сотен долларов в кармане, позднее - полнейшая депрессия вплоть до суицидального синдрома. Внутри новых структур родственные связи (чем не феодализм?) и полное отсутствие права соседствуют с криминалом. Договора о найме, как правило, не оформляют. А если и оформляют, то в нем черным по белому написано, что внутренние правила фирмы имеют приоритет по отношению к КЗоТ. Зарплата выплачивается в двух видах - легальная и "черным налом", что делает сотрудников невольными соучастниками неправового поведения. И многое другое, регулирующее этические нормы внутри фирмы, о чем все осведомлены, но предпочитают не особенно высказываться.

Фактически частный сектор превращен в россыпь феодальных княжеств различного масштаба.

Обсуждавшаяся выше теория социальной структуры показывает удивительный изоморфизм внутреннего строения всех социальных систем нашего общества, то есть структурно-функциональную повторяемость, самовоспроизводимость моделей малых масштабов в явлениях большого масштаба. И наоборот.

Эта изоморфность представляется мне следующим образом.

На верхнем этаже находится не более 10, но как правило, 5-6 процентов занятых в данной частной фирме. Это ее владельцы и узкий круг менеджеров, получающих сверхприбыли и фактически установивших феодальный режим в данной системе. Остальная масса работающих - это вассалы. То есть не наемные работники

при капитализме, как можно было бы предположить, а именно закрепощенные, которых держат на грани выживаемости.

Государственные учреждения не слишком отличны от частно-феодалных. Просто там все происходит несколько более сглаженно и не так открыто. Там иногда допускают оброк в отличие от чистой барщины в частном секторе. (В госучреждениях сквозь зубы разрешают совместительство, совершенно исключаемое в частном секторе.) Но и в госучреждениях, сколь угодно высокого уровня, “верхние” 5-6 процентов живут по-сеньорски. Все другие - проклиная все на свете, тащат лямку, ибо, собственно говоря, “убежать” некуда.

Одна из отличительных черт феодализма - стремление держать вассалов на грани физического выживания, а также полнейшая незаинтересованность в поддержании человеческих условий труда. Это своеобразная внутренняя установка на экстенсивную эксплуатацию человеческих ресурсов. В чисто нравственном плане подобная установка проявляет себя в том, что сеньоры просто не включают в систему своих “координат” представителей низших сословий. А потому без зазрения совести душат их совершенно непомерными податями, которые, создавая временное наполнение казны, в итоге эту казну и опустошают, ибо ведут к обеднению населения.

Или взять феодальные войны между князьями-сеньорами. Они ведутся только в интересах феодальной верхушки за передел собственности. Человеческие жертвы в них не учитываются, так сказать, не принимаются во внимание по определению.

При капитализме картина принципиально меняется. Нормальный капиталист-собственник более чем внимателен по отношению к своей наемной рабочей силе - она источник его благосостояния. Конечно, это относится к современному капитализму в большей степени, чем к капитализму времен К. Маркса. И тем не менее в наши дни это именно так. Нормальная капиталистическая военная система борется за жизнь каждого своего солдата как за свое высшее достояние, при этом воюет тонкими “хирургическими” методами.

Итак, вопрос состоит в следующем. Какую из двух систем - феодальную или капиталистическую - напоминает российская действительность конца XX века? По своему характеру во всех его изоморфных преломлениях на различных уровнях социальной структуры она наиболее близка именно феодализму.

У нас ценность индивидуальной человеческой жизни “вассала” (то есть не бизнесмена и не госаппаратчика) приближается к нулю. Человек не защищен ни в правовом, ни в экономическом отношении. Он - игрушка в руках “хозяина”. Простите, но это не капитализм, даже первоначальный. Это - самый обыкновенный феодализм, замешанный на деспотизме.

Для чисто социологического интереса отметим и некоторые другие “маркеры” феодализма в современной России.

Возьмем для примера охранный бизнес. Стремительный и фантастический рост численности охранников всех мастей. Разве это не феодализм, когда каждый князек имел свою дружину? Или столь же стремительное водружение на всех окнах решеток и стальных дверей с “глазками”? Что ни квартира, что ни фирма или учреждение, то прямо Эльсинор. Какой же это капитализм, в самом деле? Это типично феодальная обособленность и удельность.

Как оформляет себя российская государственная власть? Также чисто по-феодальному. Преобладают дворцы и дворцовый стиль, усадьбы, рауты и приемы, выезды. Образовываются “двор” и “свита”, создается дворцовое искусство и круг дворцовых поэтов, художников, музыкантов и даже придворных шутов. Возрождаются геральдика, заигрывание с династиями, попытки основать свою собственную династическую линию. Со временем поднимет голову и опричнина. Всего не перечислишь... И вновь мы наблюдаем характерный изоморфизм структур, то есть их самовоспроизводимость и повторяемость на всех уровнях. Феодальные “манеры” постепенно устанавливаются во всех организациях.

Короче говоря, о какой “этике успеха” может идти речь - не знаю. Если “успех”, по Веберу, - труд, скромность, профессия, нерасточительность, то, думаю, это из совсем другой оперы, не имеющей отношения к России ни сейчас, ни в будущем. С веберовскими рецептами в наше время в России просто нечего делать. Конечно, если бы российское общество более или менее следовало бы по пути цивилизованного капитализма, то, в принципе, можно было бы вести речь об “этике успеха”, да и то с очень серьезными коррективами по отношению к веберовской модели. Но при той тенденции, которая возобладала в России ныне (латиноамериканская, феодальная - называйте ее как угодно), всякое обсуждение “этики успеха” представляется мне либо чисто теоретическим прожектерством, либо некоей идеологической ангажированностью.

Попробую кратко сконструировать современный российский кодекс “этики успеха” - не официозно-фальшивый, а реальный. Вот его примерные статьи.

1. Будь настолько неэтичным, насколько это возможно. Этика - удел слабых.
 2. Люби силу во всех ее проявлениях и подчиняйся ей беспрекословно.
 3. Сила есть проявление права.
 4. Деньги покупают все без исключения.
 5. Презирай слабых. Они (бедные, старые, убогие, “неудачные”) - злейшее препятствие на твоём пути стать успешным. Избавляйся от них.
 7. Возлюби свое рабство, но лови миг удачи, чтобы стать господином.
 8. Уважай свои удовольствия и служи им, ибо “живут один раз”.
 9. Кроме силы и удовольствия, нет ничего важного. Все остальное - игра.
- Что-то еще? Возможно. Но список продолжать не хочется. Пусть это сделают другие.

Это и есть “этика успеха” нового феодализма. А, как известно, этика господствующего класса и есть господствующая этика.

Глубоко убежден, что Центр прикладной этики даже не помышляет о подобном ницшеанском кодексе. Да и для самого Фридриха Ницше здесь все закручено слишком круто. Но по объективным данным развитие именно этого кодекса и смогло бы стать реальным вкладом в оформление концепции новой русской этики или русской идеи, на что, собственно говоря, и нацелена программа. А либерально-прекраснодушные попытки имплантировать в Россию конца XX века протестантскую трудовую этику - это всего лишь кружевное теоретическое и софистическое прикрытие реальности. Моя ирония и горечь по этому поводу, надеюсь, очевидна всем.

Короче говоря, можно и должно обсуждать ситуацию в России с точки зрения динамики ценностей, в том числе этических, в том числе под углом зрения того, что именно считается “успехом”. Все это бесспорно. Но, на мой взгляд, было бы весьма спорным априорно предполагать, что образующаяся и господствующая система ценностей в нашей стране имеет рыночно-либерально-капиталистический характер. Это совсем не очевидно...

ВЫВОД. Никакой новой этической и гуманистической парадигмы в современной России выдвинуть нельзя. Речь может

идти только о теоретическом прикрытии новой полуфеодальной идеологии и социальной структуры, в конце XX века весьма непривлекательных по своей сути. Но насколько, по большому счету, была бы этична задача подобной косметической операции в области теории?

ЛИТЕРАТУРА

1. Sztompka P., Merton R.K. An Intellectual Portrait. N.Y., 1968, p.38.
2. Turner J.H. The Structure of Sociological Theory. Illinois, 1974, p.230.

А. С. Панарин

***МОРАЛЬ УСПЕХА:
ОПЫТ ПАРАДОКСАЛЬНОЙ МЕТАФИЗИКИ***

Прошло четыре года после заявки проекта “Этика успеха”. Он собрал специалистов разного профиля и политических взглядов, призванных не просто оценить мотивацию успеха с этических позиций, распознать ее носителей и их социальные перспективы, но исследовать возможности “участия доктрины этики успеха в формировании национальной идеи, в духовном, экономическом, политическом развитии России”. Такая постановка вопроса сразу же выводит нас за пределы отраслевой - предпринимательской, деловой, профессиональной - этики и ведет к метафизическим, антропологическим и историософским проблемам. Здесь и открываются перед нами драматические парадоксы “этики успеха”.

***1. Парадокс социологический:
как распространить этику успеха в условиях,
когда социальный опыт большинства убеждает в обратном***

Достаточно сравнить нынешнюю среднюю заработную плату - 80 тыс. руб. с прежней, дореформенной - 80 руб. Всем ясно, что она упала примерно в 10 раз (чтобы скрыть этот факт, правительство решает вводить новую денежную единицу из расчета не 1:10000, а 1:1000).

Но дело не только в самом эмпирическом факте разительного падения среднего уровня жизни. Еще более показательна социальная логика, в рамках которой это происходит. Если воспользоваться теми критериями, которые Нобелевский лауреат Г. Беккер прилагает к качеству "человеческого капитала", то приходится признать, что сегодня достигают успеха преимущественно "социально худшие", по всем показателям отстоящие от социально мобильных пионеров прогресса. Последние - люди, имеющие наивысшие образовательно-квалификационные показатели, связанные с передовыми наукоемкими отраслями, сегодня теряют свои социальные позиции и непрерывно сокращаются в численности.

Успеха достигают скорее маргиналы, даже если не придавать этому термину нравственный и социокультурный акцент, а просто воспользоваться социологическими показателями, характеризующими принятые во всяком цивилизованном обществе критерии социальной мобильности. Опыт свидетельствует, что по-настоящему проигравшими оказались именно *профессионалы* в обоих значениях термина: и в квалификационно-образовательном, и в мотивационно-этическом. Это отмечено авторами представленной на экспертизу доктрины этики успеха.

Если на вопрос социологов: "Что нужно, чтобы добиться успеха в жизни?" в 1988г. профессионально-аутентичный ответ: "Нужно упорно и целеустремленно работать" дали 45% опрошенных, а в 1992 г. - только 32% , то сегодня, по всей вероятности, показатели будут еще ниже. Таким образом, практический опыт убеждает людей, что никакой достоверной корреляции между профессионализмом (в обоих его измерениях, квалификационном и этическом) и успехом сегодня не наблюдается.

Надо прямо сказать: вся история человечества указывает на эту корреляцию и, по всей вероятности, у цивилизации нет в

запасе иных средств подтвердить свою эффективность и устойчивость, помимо такой корреляции. Любые социальные издержки - даже те, что прямо связаны с падением уровня жизни, социальной напряженностью, нравственными шатаниями, совместимы с цивилизованным развитием, если за счет этих издержек все же самоутверждаются наиболее продвинутые слои населения, социально и профессионально связанные с тем, что мы называем "механизмами и институтами прогресса".

Если же шансы на успех возрастают за счет преимущественно асоциального поведения, не связанного с продуктивной деятельностью и цивилизованными критериями достижительности (образование, квалификация, культура, усердие), то надо признать, что мы имеем дело не с процессами развития, а с процессами распада. Чтобы уйти от этого обескураживающего вывода, есть только один выход: заново обратиться к сомнительной хитрости исторического разума, который якобы совершенно "объективным" способом, помимо наших намерений и наших социальных качеств, ведет нас к лучшему из всех возможных миров.

В самом деле: вопрос о социальных и моральных качествах людей, с которыми мы связываем наши надежды на прогресс общества, отпадает только в том случае, если мы найдем такой чудодейственный механизм, который *автоматически*, predetermined образом выносит нас наверх. Надо сказать, это сциентистско-детерминистская парадигма, насаждающая веру в гарантии прогресса помимо наших профессиональных и нравственных усилий, сегодня выглядит парадоксально. Те самые люди, которые настойчиво предостерегают против государственного патернализма и связанных с ним социальных гарантий, почему-то продолжают верить в высшие исторические гарантии.

Современная социальная теория в лице, в частности, феноменологической школы ставит под сомнение эти объективистские гарантии, возвращая нас к веками апробированной "досциентистской" картине мира, взывающей к нашей моральной ответственности. Так, П.Бергер и Т.Лукман отмечают, что "социальный порядок не является частью "природы вещей"... он существует *лишь* как продукт человеческой деятельности. Никакой другой онтологический статус ему нельзя приписать..." [1].

Об этом же в сугубо гуманитарных терминах говорит и Х.Р.Нибур: "Системы законов и свобод, навыки общественных связей, методы мышления, институты образования и религии,

технологии искусства, языка и самой морали - все это не может быть сохранено простым поддержанием... стен и документов... Необходимо, чтобы каждое новое поколение восстанавливало их заново на "скрижалях своих сердец". Стоит только образованию и обучению сделать пропуск в одно поколение, и все огромное здание прежних достижений обращается в руину" [2].

Приходится признать, что между идеологами прежнего, коммунистического режима, и идеологами режима нынешнего наблюдается одна поразительная преемственность, связанная с методологией базисно-надстроечного детерминизма. Коммунистические идеологи призывали нас не замечать "правды факта", относящейся к повседневному опыту, ибо какие бы удручающие свидетельства он нам ни давал, это не отменяло, с их точки зрения, той "правды жизни", тех высших гарантий, которые мы получили вместе с общественной собственностью на средства производства.

Сегодня между правдой факта и пресловутой правдой жизни дистанция еще более выросла. И нас снова призывают верить не фактам, выдающим роковые провалы повседневности, а тем гарантиям, которые нам дает рынок в качестве чудодейственного механизма, способного автоматически вытащить всю надстройку. Надо сказать, что в этическом плане задачи либерального рынка являются еще более деликатными, чем задачи марксистской общественной собственности. Последняя выдавала алиби нашему бездействию, характерному для эпохи застоя. Рынок же призван выдать алиби теневым практикам криминального действия, каким-то чудодейственным образом конвертируя наихудшие проявления человеческой природы в наилучшие социальные результаты.

Отметим, что прежние виды социального детерминизма на это все-таки не претендовали. Классический экономико-центристский сциентизм ставил за скобки моральные суждения как не относящиеся к объективно развертывающимся процессам, но он все же не заходил так далеко, чтобы прямо посягать на всю моральную и социокультурную эволюцию человечества как на помеху экономическому прогрессу. Ибо, если между моралью успеха и просто моралью устанавливаются отношения "игры с нулевой суммой", то мы имеем дело с ползучей катастрофой, которую нужно во что бы то ни стало остановить.

И поскольку я, например, не верю в объективные исторические гарантии, связанные с механизмом рынка или любыми другими механизмами, то и указанную катастрофу я

склонен описывать как проблему нашего духа, разрешение которой лежит в плоскости мировоззренческих, методологических и моральных решений. Для того, чтобы понять это и таким образом признать, что у деятелей современной криминальной революции нет алиби, предоставляемого хитростью исторического разума, необходимо раскрыть следующий парадокс.

2. Парадокс либерализма: социальность асоциального индивида

Откуда у идеологов нового режима появилась несокрушимая уверенность в успехе, причем достигаемого “за 500 дней”? Мы ничего не поймем в характере их мышления, если не примем во внимание очередного массового идеологического пленения, на этот раз связанного с философией либерализма. Помните, что им обещал импортированный эксперт и миссионер великого рыночного учения Дж.Сакс: “Рынок образуется в момент ухода бюрократов, занимающихся центральным планированием”.

Таким образом, легкость рыночной реформы связывалась с тем, что она, по сути, не требует положительных усилий, способствующих рождению того, чего еще нет в природе, а лишь сугубо отрицательных - убирающих искусственные преграды тому, что латентно, неизменно присутствует в качестве “естественного состояния”. Главная либеральная иллюзия рождена в эпоху Просвещения и связана с отождествлением “экономического человека” с “естественным человеком”.

Наследники этой иллюзии заявляют, что капитализм, в отличие от тоталитарного социализма, социализирует человека таким, каков он есть, со всем его природным эгоизмом, не требуя от него вымученной сознательности, самопожертвования, героизма и прочих проявлений жертвенной морали [3]. Капитализм якобы потому и совпадает со стихийными эмансипаторскими импульсами, что не только предоставляет индивиду право на естественный эгоизм, но и открывает механизм, посредством которого эгоистическая энергия конвертируется в “общее благо”.

Решающее значение в формировании самосознания Запада сыграл знаменитый философский спор “номиналистов” и “реалистов”. На Западе в конечном счете восторжествовала номиналистическая презумпция, связанная с пониманием общества как совокупности индивидов-атомов. Эти робинзоны

первичны по отношению к обществу: они вступают в отношения между собой по поводу удовлетворения своих “природно-эгоистических” целей, ничего общего не имеющих с искусственными внушениями культуры. Это - не “теплые” связи любви, долга или привязанности, а холодные связи *обмена*, что и делает картину общества *рациональной*.

Сегодня мы поражаемся тому, с какой неприязнью официозный либерализм относится к национальной культурной традиции. Но если учитывать его атономистическо-номиналистические установки, тогда все становится понятным: в нашей культуре наиболее значимыми всегда выступали надындивидуальные ценности и цели. Да и вообще в области культурного творчества с прагматическими мотивациями “разумного эгоизма” просто нечего делать - они неадекватны творческому этосу, ориентированному не столько на интересы, сколько на ценности.

С аналогичной подозрительностью либерализм относится и к государству. Здесь мы тоже имеем парадоксальное тождество идеологических противоположностей: либерализм, как и коммунизм, ориентируется на “отмирание” государства, так как полагает, что нормальным образом люди удовлетворяют свои интересы помимо государства, в рамках партнерского обмена. И поскольку нашим либералам внушили, что именно государство своими вмешательствами нарушает рыночный партнерский обмен как процедуру открытия (отбора) наиболее рациональных практик, то они берут на подозрение любые проявления государственной воли.

В подобном идейном поле, если оно в самом деле получает преобладание, яркие государственные характеры делаются невозможными. Словом, логика неограниченного индивидуалистического эгоизма работает как редукционистский механизм: ведет к вымыванию всего высокосложного и рафинированного в пользу “наиболее вероятного”, а наиболее вероятным, по свидетельству Н.Винера, как раз и является хаос.

Перед нами возникает сугубо философский вопрос: могут ли на основе сугубо номиналистического принципа (общество = сумма индивидов) сложиться и сохраняться сколько-нибудь рафинированные формы социальности? Я вовсе не отрицаю их наличия на Западе, но задаюсь вопросом: существуют ли они благодаря индивидуалистическому принципу “разумного эгоизма” или вопреки ему?

Деятели неоконсервативной волны на Западе, наблюдающие стремительные превращения индивидуалистического “разумного эгоизма” в неразумный эгоизм гедонистических прожигателей жизни, неоднократно подчеркивали, что капитализм своей устойчивостью обязан добуржуазным предпосылкам, связанным в первую очередь с наследием старой христианской и патриархальной этики.

Как пишет Р.Нисбет, “творцам конституций, складывающихся на Западе в начале XIX столетия, новая либеральная демократия показалась бы не имеющей ни малейшей надежды на существование в отрыве от социального устройства, укорененного в семье, местных связях, добровольных объединениях, не говоря уже об иудео-христианской, в широком смысле - традиционной морали, которая была, так сказать, впитана с молоком матери” [4].

Рассчитывать, что предпосылки социально ответственного поведения могут свестись к аргументам индивидуалистического разумного эгоизма - это примерно то же самое, что рассчитывать на замену “стихии рынка” рационалистическим планированием государственной бюрократии. Если мы вслед за Ф.Хайеком соглашаемся с тем, что конкуренция есть процедура открытия таких фактов, которые в принципе непредвидимы заранее, нам придется согласиться, что и мораль есть процедура открытия таких норм, которые рационально-прагматическим путем открыты и утверждены быть не могут.

Мы, таким образом, приходим к выводу, что западный разумный эгоист живет с неадекватным сознанием: предпосылки социальной жизни, которые относятся к морали и культуре и выходят за рамки прагматического интереса, ускользают от его сознания. Таким образом, есть индивидуалистическо-атомистическое самосознание Запада, о котором он оповещает мир, выдавая его за естественный эталон, и есть его культурно-историческое подсознание, о котором он не оповещает.

На основе номиналистических презумпций нельзя решить целый ряд задач, без чего любое общество начнет неумолимо рассыпаться. Во-первых, это задачи выстраивания и сохранения коллективной идентичности. Когнитивистская школа в психологии в борьбе с номиналистическими установками бихевиоризма доказала, что человеку свойственны категоризации “мы” и “они”, без которых он не может состояться как солидарный и сочувствующий человек, ангажированный нормами морали и культуры.

Во-вторых, на основе номиналистических допущений нельзя сформулировать такие важнейшие понятия, как национальный интерес, национальные приоритеты, национальная безопасность. Вот почему, в частности, так трудно даются эти темы самосознанию современной Америки. Практически американцы демонстрируют великолепное умение защищать свои национальные интересы, формулировать коллективные приоритеты, вести себя перед лицом других наций как согласованно действующий субъект. Но как только дело касается самосознания (в том числе и теоретического, представленного, например, политической наукой), так мы сразу же сталкиваемся с заявлениями, что Америка не имеет никаких других интересов, кроме неотчуждаемых прав человека во всем мире. Приходится констатировать, что философия либерализма не меньше мистифицирует нас, чем некогда мистифицировал марксизм. Если марксизм игнорировал законные права личности и делал акцент на том, чем личность обязана обществу, то либерализм игнорирует те предпосылки социального бытия, которые относятся к «надындивидуальным» основаниям культуры и морали.

Применительно к отношениям Запада и не-Запада, достойным нашего особого внимания ввиду усиливающихся притязаний Запада на миссию всемирного воспитателя и цивилизатора, мы можем сказать, что мистификации либерализма относятся не столько к самому Западу, сколько к тем регионам, которые стали реципиентами его культурного влияния. Разумеется, это мистификации скорее невольные, чем вольные: речь идет о неадекватности самого западного сознания, от которого ускользают реальные предпосылки социальности, выходящие за рамки индивидуалистического интереса.

Учитывая, что мы имеем дело не с каким-то традиционным обществом, живущим по обычаю, а с развитой цивилизацией, славящейся своей образованностью, нам приходится предположить, что мы сталкиваемся не с банальным незнанием, а с психоаналитическими механизмами «репрессий». Как известно, З.Фрейд установил, что подвергаются репрессии и загоняются в сферу, запретную для самосознания, те импульсы и мотивы, которые могут представить вызов не только общественным приличиям, но и собственному самоуважению.

Дело в том, что индивидуалистическая мораль успеха только тогда получает вполне легитимный статус и, следовательно, не

грозит своим носителям потерей самоуважения (не говоря уже об угрозе морального непризнания со стороны других), когда мы имеем основание говорить об “универсальности права на успех” [5].

Над моралью успеха висит домоклов меч старого подозрения: не основана ли она в целом на играх с нулевой суммой? Этот вопрос касается и исторического генезиса западного буржуазного общества, и его современных социальных практик. В частности, почему зарождение Модерна, основанного на индивидуалистической морали успеха, совпало с великими географическими открытиями, положившими начало колонизации Западом не-Запада? Только ли дело в том, что в ходе этих открытий был преодолен традиционный провинциализм, а неприкаемые - благодаря институту майората (единоличного наследования собственности старшим сыном) - младшие братья нашли поле приложения своей авантюристической энергии?

С тех пор, как социальная теория разделила исторический мир на стабильный (консервативный) и нестабильный (аккумулятивно-преобразовательный) способы производства, стоит вопрос: какой ценой покупается динамика последнего? Всякие подозрения относительно игр с нулевой суммой грозили роковым сомнением в отношении исторических перспектив динамичного Запада. Поэтому западная теория сделала все, чтобы впредь их исключить, утвердив альтернативное видение “игры с положительной суммой”, на чем и основывается философия успеха.

В экономической области эти усилия предприняла теория эквивалентного обмена, в социальной - теория единого среднего класса, в политической - теория демократии. И все же подозрения возникают вновь и вновь. Одно из них появилось в 60-х годах и выразилось в противоречии между уровнем и качеством жизни. У нас это противоречие сильнее всего проявилось сегодня в образе жизни тех профессионалов и специалистов, которые поневоле пошли в услужение бизнесу.

Советский образ жизни, при всей его политической сомнительности, отличался известной цельностью по критериям социологии роста. Как правило, именно наиболее образованные и продвинутые группы населения имели не только наиболее высокий доход (при всей условности этого понятия при социализме), но и наилучшие показатели качества жизни, относящиеся к профессиональной самореализации, социальной престижности, участию в принятии решений и пр.

После “катастроф” приватизации оказалось, что профессионалов профессия уже не кормит. И вот они, спрятав подальше свои вузовские и кандидатские дипломы, пошли в “челноки” и в инфраструктуру бизнеса (на самые мелкие роли). При этом они кое-что выиграли по части уровня жизни (во всяком случае, избежали крайностей нищенства), но катастрофически проиграли по показателям *качества жизни*, социального престижа и самоуважения. Можно ли это назвать успехом?

Думается, здесь мы имеем чистый случай игры с нулевой суммой. Между тем биография наших бывших специалистов в чем-то воспроизводит историческую биографию западной элиты в период перехода от феодализма к капитализму. Старая дворянская элита также вынуждена была обменять *качество жизни*, характеризующееся аристократическим достоинством и играми высокого досуга, на буржуазный *уровень жизни*, характеризующийся роковыми отступлениями престижности и духовности.

Эта травма перехода коснулась не только высших слоев. Переход ремесленника и крестьянина в систему промышленного наемного труда ознаменовался не меньшим ухудшением качества жизни - утратой профессиональной самостоятельности и инициативы, пребыванием в экологически загрязненном промышленном гетто, моральными издержками. Запад постепенно залечивал эти травмы, но скорее средствами психотерапии досуга, чем реальным возвращением к прежнему самостоятельному статусу.

Предпринимательская самостоятельность, несмотря на современный ренессанс мелких фирм, так и осталась уделом меньшинства. Большинству предложили *компенсаторную* активность в виде индустрии развлечений и разнообразных игр досуга. И нет сомнений, что по критериям подлинного самоуважения компенсация явно не полная: человеку досуга предложили забыть, но не вернули подлинную автономию. В этих условиях и номиналистическо-атомистический принцип начал играть другую роль: отныне он призван блокировать культурное самосознание людей, проигравших по критериям качества жизни. Ибо в отличие от показателей уровня жизни, показатели качества жизни имеют преимущественно не материальную, а духовную природу. Ослаблению этой ностальгии духа теперь и служит номиналистический принцип: изолированные индивиды-атомы, неприспособленные к духовному

космосу, насыщенному высшими ценностными смыслами, не подозревают о размерах потери.

Современный опыт подтверждает опасения и другого рода - о том, что взаимоотношения Запада и не-Запада также представляют собой "игру с нулевой суммой". Постсоветская Россия разгрузила себя от множества имперских обязательств, демонтировала дорогостоящий военно-промышленный комплекс, ликвидировала систему всякого рода дотаций, с которой наши рыночники связывали неэффективность отечественной экономики. И что же: несмотря на все это, уровень жизни упал в 5-6 раз.

И на этом фоне особенно поражает массированный вывоз капитала - за последние 6 лет его сумма превысила ту, что некогда составила знаменитый план Маршалла для Европы. Бывший "второй мир", некогда мечтающий оказаться в "первом", стремительно выталкивается в "третий". А разницу между двумя этими состояниями, бывшим и нынешним, получил в долларовом эквиваленте Запад - победитель в холодной войне.

За счет этого он не только обрел возможность подкрепить пошатнувшуюся философию успеха у себя дома. Получив доступ к ресурсам огромного постсоветского пространства, он тем самым получил и возможность отложить все те крайне необходимые реформы, которые заведомо не вписывались в атомистически-номиналистическую вселенную разумного эгоизма. Речь идет об изменениях самих принципов жизнестроения ввиду угрозы экологического кризиса и полного истощения ресурсов.

Победители в холодной войне получили шанс сохранить безответственную, по части общих условий нашего планетарного существования, мораль успеха и тем самым временно стабилизировать ситуацию у себя дома, не жертвуя старыми установками потребительско-гедонистического типа. По-видимому, оправдывается предостережение И.Валлерстайна: "По мере того, как мы будем уходить от ущемления прав внутри государства, под угрозой окажется равноправие на мировой арене. Возможно, что впервые в истории Америка перестает быть полурабской и полусвободной. В то же время весь остальной мир окажется в еще более выраженной форме поделен на свободную и рабские половины..." [6].

Таким образом, проблема, которую авторы выпуска сформулировали на частном примере школьного дела [5, с.150], обнаруживает поистине глобальный мироустроительный

масштаб: “Можно ли не допустить, чтобы *первый* вырос циником, а *последний* - неудачником?”

Драма взаимоотношений и самочувствие успевающих и неуспевающих учеников - это поистине не только школьная драма, но драма современного человечества. Оно оказалось неравноправным перед лицом прогресса (модерна): поделилось на успевающих и неуспевающих. Возникшая в ответ на это концепция “догоняющего развития” оказалась не только несостоятельной в фактическом плане (разрыв развитых и развивающихся в мире непрерывно растет), но сомнительной и в моральном плане, так как оскорбляет достоинство незападных народов, навязывая им ученическую роль.

Неравенство перед лицом Истории - когда одни живут в ней собственной жизнью, а другие вынуждены примерять на себя чужие эталоны, “вестернизироваться” - это, может быть, более тяжелое, более невыносимое неравенство, чем традиционное классовое и имущественное. Поэтому те, кто пытается всем народам Земли навязать дефицитную пока еще “мораль успеха”, по-видимому, еще не задумывались над тем, а что произойдет, если мораль успеха действительно будет внедрена, а самого успеха так и не будет?

Сегодня и на самом Западе мы видим, как население, развращенное моралью успеха, уже не готово поставлять контингент для целого ряда непрестижных, но остающихся необходимыми, профессий - приходится импортировать рабочую силу из регионов, еще не зараженных этой моралью. Есть основания опасаться, что население богатых стран в случае, если возникнет дилемма - подтянуть пояса или попытаться переложить на другие народы издержки вполне вероятного в будущем энергетического, сырьевого, экологического кризиса, - предпочтет последнее и тем самым отбросит мир назад, к неоимпериализму и неоколониализму.

Я разделяю предчувствие тех, кто считает, что планета наша крайне истощена и перенапряжена “прометеевым” натиском тех, кто сегодня олицетворяет мораль успеха - успеха любой ценой. Поэтому, возможно, нашим резервом как раз являются те, кто еще не пленен моралью успеха или уже преодолел ее соблазны. Гедонистический человек, как особый социокультурный вид, кажется исчерпал свою экологическую нишу и стоит перед дилеммой: перестраиваться духовно или поставить под вопрос перспективы нашего существования на Земле.

Поэтому вопрос о назревших реформах можно интерпретировать с разных позиций. Если сохранять стереотипы эпохи модерна, то реформы мы будем связывать с насаждением морали успеха. Если же иметь в виду назревшую планетарную *реформацию*, то надежды надо связывать с теми, кто по тем или иным причинам не попал в плен этой морали. Одни *еще* не попали: их сегодня причисляют к категории “доэкономического человека”, другие уже поднялись над ней: социологи, изучавшие постматериальную революцию сознания, причисляют их к категории “постэкономического человека”. Весьма вероятно, что “доэкономический человек” и “постэкономический” вскоре встретятся и образуют союз. “Доэкономический человек” в результате обретет мощное социокультурное алиби, а “постэкономический” - мощную социальную базу. И вместе они, возможно, уведут планету от пропасти, куда ее толкают авантюристы модерна.

И в такой перспективе “участие доктрины этики успеха в формировании национальной идеи, в духовном, политическом, экономическом развитии России” я бы оценил однозначно. В России сильная политика, привлекающая яркие таланты и характеры и дающая ощутимые плоды, - это политика союза со слабыми и непреуспевающими против сильных, склонных “забываться”. Это относится как к внутренней политике, так и к внешней. Россия как надежда слабых - это сильная, уважающая себя и притягивающая союзников, страна. Россия, искательная в отношении сильных и презрительно безответственная в отношении слабых - это страна, обреченная на утрату лица и идентичности, а также всякого влияния в мире. Слабые станут ее ненавидеть, сильные - презирать.

Угроза такой изоляции остро ощущается уже сегодня. Судьба России, осознает она это или нет, это судьба христианской, православной страны, призванной способствовать утверждению в мире великих христианских парадоксов: “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю”.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.:Медиум, 1995. С.88.
2. Христос и культура. Изб.труды Рич.Нибура и Рай.Нибура. М.:Юрист,1997. С.39.
3. Lepage H . Demain le capitalisme P. 1978.

4. Цит. по: Неоконсерватизм в странах Запада. Ч.2. М.: ИНИОН, 1982. С.96.

5. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Российская идея успеха: введение в гуманитарную экспертизу // Этика успеха. 1997, вып.10. С.84.

6. Валлерстайн И. Америка и мир: сегодня, вчера и завтра // Свободная мысль.1995, №4. С.75.

В. Г. Федотова

ЭТИКА ДЕЛА ИЛИ ЭТИКА УСПЕХА?

Обсуждение российской идентичности сегодня имеет многообразные формы. Все они, однако, свидетельствуют о серьезной фрустрации, которая ставит уже не традиционные русские вопросы “Что делать?” и “Кто виноват?”, а вопрос о том, “Чего же мы хотим?”. Этика успеха предстает как попытка ответа на этот вопрос. При всей значимости его постановки, решение национальных задач посредством идеологии успеха есть эвфемизм неомодернизационного подхода, связанного со стремлением перенять западные институты и ценностные структуры, причем Запада не сегодняшнего, устремленного в постсовременность (где принципы “спортивного” общества, ориентации на результат, на успех заметно уступили место поискам качества жизни), а Запада индустриальной эпохи. Именно там этика успеха, прежде всего, в ее протестантском виде, была основой моральной консолидации, трудовой мотивации и успеха общества в целом. Теряя этику успеха, Запад теряет свои лидирующие позиции, ибо именно она была его кровью и нервами. В своей речи летом 1995 года Б.Клинтон подчеркнул, что в этих условиях и у Америки появляется своего рода идеологическая задача: возродить американскую мечту и провести Америку через все конфронтации как целостную страну. Эта идеология могла бы иметь позитивно мобилизационный характер, подобно тому, как в России на сходную роль начинает претендовать этика успеха. При этом культурцентристская

модель модернизации, говорящая не о том, какие институты или структуры или даже ценности нам нужны, а о том, есть ли для их воплощения культурные условия, где они, кто может быть их носителем, может выглядеть как гуманитарная экспертиза институционального подхода. Именно такую экспертизу мы и хотим предложить в данной статье.

Если Запад на пути в постсовременное общество стремится поддержать свои прошлые принципы, то Юго-Восточная Азия, по всеобщему признанию, максимально приблизившись к постсовременной (постиндустриальной, информационной) фазе развития и достигнув огромных успехов как общество, не культивирует индивидуального успеха. Коллективистские ценности, логика дела, компетентность, ответственность как продукты патриотического стремления вернуть стране уважение и самоуважение после милитаристского угара и поражения в войне определили успех Японии, традиционные азиатские ценности других стран - трудолюбие, упорство, умение - обеспечили их развитие.

Противоречивые тенденции развития российского общества получили трактовку, в которой большой спектр тенденций сведен к противостоянию коммунистов и демократов, сторонников и противников реформ. Однако на российской политической сцене сегодня заметны такие движения, как демократическая оппозиция (объединение "Яблоко" во главе с Г.Явлинским), независимые профсоюзы, уже не идущие рука об руку с коммунистами, националистические движения и др. Нарастает сила анархистских тенденций. Они возникли в результате осуществленной в ходе реформ негативной мобилизации масс против старого режима. Анархистские тенденции отличаются тем, что складываются снизу, соответствуют многовековому опыту перехода населения от безропотного подчинения государству к бунту против него, к отрицанию всякой государственности.

Сегодня появился большой слой людей, которые, будучи выбиты из привычной жизни, оказались предоставлены самим себе, но не растерялись. Это - "челноки", занятые частным извозом бывшие инженеры и ученые, люди, живущие случайными подработками, уличные торговцы, подрабатывающие в мелкой торговле служащие и пр. Их деятельность выступает как форма народной самодеятельности, осуществляемая вне социальных структур. Этот слой людей, который преодолел фрустрацию, удовлетворен существующим, создает

надежный заслон коммунизму и иногда одновременно рассматривается как социальная база демократии в России. Последняя трактовка является ошибочной. История показала уже не раз, что антигосударственная настроенность населения не является предпосылкой демократии, ибо демократия включает в себя высоко развитое государство и институционализацию общества. Например, ошибочной явилась надежда многих теоретиков и политиков на то, что слабо связанная (“свободная”) и противостоящая государству община Таиланда явится естественной предпосылкой демократии в противоположность жестко связанной (“тесной”) и ориентированной на государство общине Японии. Все оказалось наоборот. Таиланд в ходе демократических преобразований вынужден был преодолевать антигосударственную настроенность своих граждан, усиливать социальную институционализацию. Сегодня означенный выше слой населения в России, составляющий, по оценкам социологов, от 30 до 40 миллионов людей, поддерживает существующий режим, но лишь до тех пор, пока он не попытается включить людей из этого слоя в социальную структуру и поставить под контроль (закона, налогообложения и пр.). Понятно, что эта большая масса начинает искать своих идеологов, к помощи которых готово прибегнуть и “самодетельное” криминальное население, также насчитывающее миллионы людей. Сегодня анархическими интенциями пронизаны национальные и экологические движения, политическая практика и повседневная жизнь. И успех этих слоев достигнут едва ли не путем разрыва с этикой. Их “этика успеха” делает успех самоценным, а его измерения преимущественно материальными и безразличными к успеху иного типа.

Анархизм в России имеет давнюю историю. Он предстает как форма достижения непосредственной справедливости в обществе, где государство рассматривается как всегдашний источник несправедливости. Поэтому анархизм исключает представление о возможности справедливого демократического государства.

Главная проблема демократического строительства в России сегодня состоит в том, что в условиях узости социальной базы демократии самодетельное население тяготеет не к демократии как форме государственного устройства и социального механизма, а к анархии, и оно готово сопротивляться любому “государственному ядру”, будь то авторитарный коммунистический или националистический

режим, или демократическое государство, ибо планируемый ими успех любым государством может быть ограничен. В сознании многих россиян, занятых сегодня в мелком бизнесе, в основном в торговле, тенденция к отрицанию любого государства вытеснила идею построения либерального государства.

Анархические тенденции имеют ряд черт: подмена свободы как социально организующей и цивилизующей силы волей как системой произвольных действий; подмена властных функций государства обменом, осуществляемым мелкими собственниками; отказ от социального порядка, институционализации, правового регулирования и подмена общественного состояния естественным; подмена высокотехнологичного производства мелким промыслом. Все эти факторы действуют в сегодняшней России. Ключевым из них является господство воли как системы произвольных действий, обусловленных исключительно собственными желаниями. Хотя стремление “по своей по глупой воле пожить”, как говорил один из героев Ф.М.Достоевского, типично для российского сопротивления деспотизму государства, люди с таким сознанием впервые в истории России сталкиваются со стремлением общества к изменению природы государства, к превращению его в государство демократическое, а общества в гражданское.

Автору принадлежит честь впервые обратить внимание на эти новые для сегодняшнего дня опасные тенденции, на проблему анархического противостояния демократии. Впервые обращается внимание на низовые, некоммунистические и неавторитарные тенденции противостояния демократии, питаемые анархическими традициями, противопоставлением воли свободе.

Россия представляет собой традиционное, частично разрушенное, частично модернизированное общество. Успех развития страны может быть измерен нарастанием объема модернизированного сектора и уменьшением доли разрушенной части.

Миллионы людей не хотят уйти сегодня из натурального хозяйства, индивидуальной социально неорганизованной деятельности и видят в этом свободу в ее традиционном российском исполнении - волю (вместо свободы как политической системы и цивилизующей силы). Известны факты увеличения анархических компонентов в националистических и экологических движениях, в политических акциях, в повседневной жизни.

Модернизационные интенции российских реформ, давно назревших и ожидаемых обществом, были отодвинуты на второй план задачей борьбы с коммунистическим реваншем, итогом чего явился не переход к капитализму, а рефеодализация и, более того, отбрасывание общества в фазу естественного состояния. Массы, не находя более позитивных мобилизационных идей, “вспомнили” самое далекое - свое архетипическое детство, свой “природный” анархизм. Это произошло без намерений с чьей бы то ни было стороны, но было поддержано властью как заслон против реванша коммунизма. Слои населения, ставшие самостоятельными в условиях негативной мобилизации масс против старого режима, действительно, делают сегодня возврат коммунизма едва ли возможным и, вместе с тем, они не составляют социальную базу построения демократической государственности, гражданского общества и модернизации. По многим параметрам сегодня реформу осуществить труднее, чем десять лет назад .

Парадокс модернизации в России состоит в том, что Россия предстает как западная страна по своим целям и как восточная по способам их достижения. Цели предполагают прогресс, вступление на путь развития, сходный с избранным или выпавшим на долю западных государств, ускоренное развитие по нему. Средства заимствованы из азиатских деспотий или похожи на них. Сопrotивление им - бунт, свобода как своеволие. Это противоречие воспроизводится с постоянством архетипа. Причина этого - не столько в национальном характере, не только в склонности правящего слоя к злоупотреблению властью, а в исторической судьбе народа. В ее основе - стремление к прогрессу, несмотря на низкий экономический старт и незрелость предпосылок к быстрому развитию. В истории России обнаруживается вторичная ценность свободы в сравнении с равенством и справедливостью, а так же тяготение к анархическому представлению о свободе как воле. Неолиберальное понимание свободы как свободы от государства легко перетолковывалось в российских условиях в представление об абсолютной свободе, воле и своеволии. В итоге преобразований открылась дорога не только вперед - к капитализму и демократии, но и назад - к старому русскому архетипу воли, выработанному в противовес государственному деспотизму.

Другим парадоксом российских реформ является отчуждение от них коммунистических масс и лидирующая роль

коммунистической элиты, переименованной в демократов. Данное обстоятельство привело к тому, что ситуацию в посткоммунистической России называют номенклатурным капитализмом. Это понятие характеризует лишь тех, кто нажился. В целом же оно представляется ошибочным. В нем не учитываются обширные криминальные источники богатства. Но и термин “криминальный капитализм” является неверным. В России нет капитализма в его веберовском, цивилизованном смысле - как капитализма, основанного не на грабеже, наживе, войне, а на честном и упорном труде. Модернизированный сектор в России возрастает сегодня медленнее, чем дезинтеграция традиционных основ и потеря части прежних модернизационных завоеваний. Объем позитивных социальных инноваций много меньше объема разрушений. Достижения - некоторым образом развязанная инициатива людей, гласность, появление банковской системы и пр. - не выдерживают тяжести социально-деструктивных процессов: разрушения производства, отсутствия производительных мотиваций, исчезновения среднего класса, криминализации и люмпенизации населения. Как показали результаты социологического опроса, проведенные группой харьковских психологов и социологов под руководством проф. Е.Ф.Ивановой, за посткоммунистический период выросла толерантность людей к эмиграции, массовой занятости в торговле, свободе передвижения и самовыражения. Наряду с констатацией этих положительных сдвигов, делается удручающий вывод о возрастании терпимости к воровству, взяточничеству, проституции. Это конкретное исследование репрезентативно в отношении всей ценностной ситуации в посткоммунистических странах. Здесь толерантность напоминает то, что под ней понимают в биологии и медицине - полное или частичное отсутствие иммунологической реактивности, снижение способности организма к выработке антител в ответ на вредное раздражение. И что еще хуже, толерантные ко всему аморальному люди, согласно результатам приводимого исследования, полны ненависти к богатым и нищим, нетерпимо относятся к государству. Толерантность здесь выступает совсем не как минимальное условие демократии, предполагающее признание права другого на выражение своих интересов, если последние не расходятся с законом.

Говоря о сегодняшнем времени, многие социологи находят в нем вполне развившийся сценарий аномии. Термин “аномия” введен одним из классиков социологии - Э.Дюркгеймом для

описания духовного состояния, заканчивающегося самоубийством. Это - состояние расстройств духовной ориентации, внутреннего беспорядка. Аномия является тем пороговым, "нулевым" состоянием ценностного содержания сознания, которое редко способно проявить себя в масштабах всего общества, как это сегодня грозит России. Подобный диагноз, указание на возможность такой болезни иногда рассматривается как ностальгия по прошлому. Это ошибочная трактовка. Последовательный демократ и конституционный либерал Р.Дарендорф всегда критиковал тоталитарные режимы с их "гиперномией", т.е. чрезмерной институционализацией, направленной на поддержание ценностей и норм. Теперь он говорит, что наблюдающаяся в посткоммунистических странах аномия хуже: "Конечно, буквально аномия означает отсутствие потои, законов. Пытаясь выработать либеральный подход к мучительным вопросам закона и порядка, я прежде всего обратился к тем сферам современного общества, где доминирующие (универсальные - В.Ф.) нормы не выполняются. Это могут быть географические районы, городские районы, подземка, улицы больших городов. В других случаях - это метафорические зоны: для молодежи именно они важны и скорее всего могут привести к нарушению социальных норм. Такие зоны могут расширяться, и тогда мы получим мир, где все дозволено и ничто не имеет значения. Рушатся координаты смысла и ценностей", - писал Р.Дарендорф [1]. Именно такой мир открывается, согласно Дарендорфу, на плохо реформируемых посткоммунистических пространствах.

Является ли сказанное чем-то экстраординарным, специфически российским или нет? И да, и нет.

Конечно, долгая история подавления анархии деспотией и сопротивление деспотии посредством бунтов, разворачивающееся в России в связи с отсутствием гражданского общества, не могли не выработать специфических черт. Над этим вопросом задумывались свидетели первой русской революции - авторы "Вех" и свидетели Октября - авторы сборника "Из глубины". Возможно, то, что воспринималось ими как национальное, является стадийным - характеризует традиционное общество в целом. Однако именно в описании русского характера закрепилось представление о крайностях - отсутствии "середины культуры" (Н.Лосский и др.). Американский историк, директор библиотеки Конгресса США Биллингтон назвал книгу о русской культуре "Икона и топор".

Согласно Аскольдову, такими противоположностями являются “святое” и “звериное”. Казалось бы, наибольшую моральную крепость как раз и должен проявить тот, кто далек от сочетания указанных полюсов, а находится на полюсе святости. Однако святость - это позиция человека, не прошедшего трудностей морального выбора, его мучений, не искушенного жизненными соблазнами. Такая позиция, несомненно, будет бита жизнью. “Ангельская природа, поскольку она мыслится прошедшей мимо добра и зла и сохранившей в себе первобытную невинность, во многом гораздо ближе и родственнее природе зверя, чем человека”, - писал С.А.Аскольдов [2]. В этом - психологический корень подмены свободы волей, а так же криминализации. По существу, свобода понимается как воля в смысле требования проявить присущие индивиду крайности, обозначенные полюса, что возможно только выходя за пределы общественно санкционированного, в естественном состоянии. Поэтому так дорога миллионам “россиян” сегодня вольница, поэтому есть часть народа, которая никак не может присоединиться к другой, требующей порядка. С точки зрения “вольницы” любой порядок - это государственное ярмо, а естественное состояние и есть подлинная свобода.

Здесь возникает вопрос о социокультурных предпосылках модернизации, о необходимости понимания характера народа, живущего в условиях отсутствия “серединной культуры”. Выскажем гипотезу, что русский, может быть, шире - славянский архетип включает в себя душевность и наличие святынь.

В этом утверждении нет ничего оценочного - ни критики, ни любования. Если характеристика С.А.Аскольдова и других еще несет какую-то оценку, то наша гипотеза - никакой. Под душевностью понимается неспособность к образованию абстрактных, формальных связей, стремление к персональному общению не только в личных, но и в социальных отношениях. Русский человек ненавидит формальное бюрократическое отношение и готов встретить неудачу, если с ним “хорошо поговорили”. Прозападник А.И.Герцен писал французскому историку Ж.Мишле, что русский человек не может поверить в справедливость, например, суда, и если он выиграл дело, то убежден в случайности этого и лишь в том, что на сей раз ему повезло. Знаменитое российское пьянство есть отчасти следствие архетипической установки на личную близость.

Второй тезис - о наличии святынь - также не несет оценки. Церковь, идеократическое государство видели свою задачу в

том, чтобы воспитывать народ, предлагая ему набор “святых” представлений и идей, боясь пробудить зверя - человека без святынь. “Святая Русь”, “русская идея”, “идея коммунизма” и даже “идея демократии” - вот набор скорее трансцендентных, чем реальных, идеалов, которые претендовали на место святынь. Сюда же входили идеи справедливости, сострадания, патриотизма и другие.

Человек-зверь в России с закономерностью появляется там, где разрушаются святыни, какими бы они ни были, и где упраздняется самое понятие святыни. Подмена реформации - процесса трансформаций национальных представлений и перехода к ускоренному развитию - антикоммунистической революцией, в которой самое представление о святынях было осмеяно, явилось трагической ошибкой. Призыв обогащаться любой ценой и породил ситуацию, которую, надеемся, никто не хотел получить. Коммунизм должен был погибнуть под напором позитивной альтернативы свободного, самоорганизованного и производительного общества, а не в результате постоянного словесного отрицания и негативной мобилизации. Только тогда его смерть можно было бы признать окончательной.

Однако процесс формирования удовлетворенного жизнью внесоциального слоя граждан нашел, как мне кажется, государственную поддержку. Недовольство трудящихся масс успехом того, что называют реформами, а на деле является стихийными процессами, было неожиданно-негаданно блокировано не новыми богачами, а удовлетворенной “вольницей” как в ее легальном, так и криминальном воплощении. Они стали социальной базой власти. Эскалация страха в жизни и на сцене (телевидение) действительно парализовала волю тех масс, которые из-за бедственного положения могли бы стать опорой реванша. Наша антикоммунистическая власть, возможно, в силу генетического родства с коммунизмом, полностью восприняла отношение Ленина к анархизму как пригодному в конкретном моменте средству для крушения капитализма.

Н.Махно приводит в своих воспоминаниях следующий эпизод своей встречи с Лениным: “- В таком случае крестьянство из ваших местностей заражено анархизмом, - добавил Ленин.

- А разве это плохо? - спросил я его.

- Я этого не хочу сказать. Наоборот, это было бы отрадно, так как это ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью” [3].

С тем же блеском и с использованием тех же средств, какими Ленин разрушал капитализм, коммунизм в России был блистательно разрушен. На его обломках мы видим общество, сильно “зараженное” анархизмом и архаикой.

Про реформу нельзя сказать, что она провалилась. Она просто не началась. Избран путь “догоняющей модернизации” - неомодернизма, поставивший ряд вопросов не только перед политическими наблюдателями, но и перед теоретиками. Многие испытывают настоящий теоретический шок, задаваясь вопросом, какую стадию развития Запада мы пытаемся догнать сегодня? Есть ли, наконец, такая стадия, где рабочий не хочет работать, где государство повсеместно занято тем, чтобы выработать отвращение к труду и навязать гедонистический стереотип западной жизни, совершенно умалчивая о трудовой аскезе Запада как основе капитализма? Разрослись субституты, замещающие западные институты: вместо рынка - базар, вместо свободы - воля, вместо толерантности - “заединство”. Даже если смело предположить саму возможность цивилизованного рынка в стране, не имеющей цивилизованного капитализма, он не сможет исправить ситуацию.

Общество являет собой некую целостность, взаимосвязанность частей и подсистем. Западная литература не фиксирует такого феномена как “разлитая” анархичность, пронизанность жизни анархическим началом. Но она дает прекрасные ответы на вопросы о демократической институционализации, демократическом государстве и гражданском обществе, социальной справедливости и др. Все социологи заняты раскрытием содержания этих подсистем и их взаимосвязей. Адаптация, представленная сегодня в России как выживание одних и обогащение других, в модернизированных обществах, как показал американский социолог Т.Парсонс, предстает как экономика. Но помимо нее есть целеполагание (политика), интеграция в социальную систему и сохранение образца (культура). Все это было, хотя и на примитивном уровне, в коммунистический период. Сегодня все разрушено ради светлого завтра. Но люмпенизированному населению завтра не нужно. Оно не готово на те жертвы, которые требует реформа - на упорный труд, дисциплину, обогащение на моральной основе, ибо оно само - жертва социальных неудач модернизации. Для “воли” должны быть общественные условия, и общество, декларирующее неомодернистские намерения “догнать” Запад, не может не обнаружить однажды, что на Западе существует

свобода, а не воля. Этим объясняются усилившиеся антизападные настроения вольницы - от челноков до бандитов, приток в Россию всевозможных маргиналов, превращение страны в обетованную землю вседозволенности.

Когда-то и Запад был на распутье, процессы созидания и разрушения сопровождали и становление капитализма на Западе. Блестящий исследователь этого процесса Л.М.Косарева отмечала, что вместо средневековой “жизни по правилам” при переходе к Новому времени открывалась опасная возможность “жить по течению”, которая стоила многих жертв. Почти чудо, почти случай сделали то, что Запад пошел по другой дороге, начертанной протестантской этикой с ее трудовой аскезой, и дал в течение пятисот лет единственный пример цивилизованного капитализма, в отличие от всех, условно говоря, “капитализмов” (основанных на грабеже, войне, наживе), пышным цветом цветущим за его пределами. Сегодня есть центр относительно цивилизованного капитализма в Юго-Восточной Азии, имеющий совсем другие источники, чем западный капитализм, но по-прежнему трудовую этику, а не возведенное в закон своеволие.

Можно с достаточным основанием сказать, что подмена свободы волей - закономерное свойство пребывания в естественном, а не общественном состоянии, которое успешно преодолено многими народами. Пленяющий пафос воли, в отличие от пуританского смысла свободы, породил в России теоретиков и певцов архаического и анархического. Большая группа российских интеллектуалов, не ведая, что творит, провозгласила Россию родиной постмодернистских практик, спутав ситуацию возврата людей к архетипам естественного состояния в условиях отсутствия гражданского общества и должной социализации с готовностью общества, крепко стоящего на ногах, признать право своих маргиналов жить, как им хочется. “Пока рука не ранена, в ней можно нести яд”, - говорят индусы. Запад - не ранен, богат, огражден законами и христианской моралью, он, понятно, не боится своих маргиналов и, более того, готов им посочувствовать и позволить жить в своих экологических нишах. Россия маргинальна едва ли не целиком, и здесь сложились обстоятельства, при которых “звериное” берет верх над “святым”, а наметки срединного выброшены за ненадобностью. Здесь анархический индивид является одной из политически значимых фигур. Именно он в нашем обществе более всего ориентирован на успех, но успех его лишен этических оснований.

Анархический индивид живет не только в уличной палатке и в криминальной группировке, он есть повсюду. Только что пришедший из народа “свежий” политик жаждет успеха. Политический успех - наиболее возжеланная мечта тех, кто жаждет успеха. В стремлении к нему осуществляются многообразные компоненты успеха: самореализация, признание другими, достижение статуса, престижа, повышение своего экономического благосостояния и вертикальная мобильность посредством политики, чувство собственного удовлетворения и эмоциональный подъем (в ряде случаев он описывается как сопряженный даже с физиологическими изменениями, происходящими при приеме допинга), возможность влиять на события и в политике пожить “по своей по глупой воле”, т.е. импровизируя, реализуя обыденные представления, а не профессиональные знания.

Веберовское описание призвания политика считается с природой человека, при которой все описанное выше импонирует ему, но не ограничивается ею. Согласно М.Веберу, политику присущи следующие черты: страсть, ответственность и глазомер. Страсть нужна, чтобы повести за собой массы. Без нее нет политика, но если политик не является анархическим индивидом, он обладает не только страстью. Он ставит рациональные цели (глазомер) и отвечает перед собой и другими за их достижение. Анархический индивид в политике - это человек, руководствующийся только страстью, питающийся ею и воспринимающий как успех свое своеволие и сопутствующий ему эмоциональный подъем. Ясно, что субъективное ощущение такого политика не совпадает и в конечном итоге противоречит целям политики. Политика делается непредсказуемой, т.е. перестает быть политикой, интересы страны не осознаются и не артикулируются, производимые разрушения превышают объем созиданий. Воспроизводится противоречие разрушенного и сделанного, патриотического (сделанного ради страны) и хаотического, обычно поданного как победа нового (ведь такой политик - отличный демагог).

В предложенном на экспертизу докладе предлагается забыть о конфронтациях правого и левого политического спектра, коммунистах и демократах, патриотах и гражданах мира. Однако эти противоречия объективны. Никакие декларации не могут устранить их объективной противоречивости, если лидирующие политические фигуры действуют как анархический индивид. Вот как оценивает М.Вебер такого лидера: “Внезапные внутренние

катастрофы типичных носителей подобных убеждений показали нам, какая внутренняя слабость и бессилие скрываются за столь хвастливым, но совершенно пустым жестом. Это - продукт в высшей степени жалкого и поверхностного чванства в отношении *смысла* человеческой деятельности, которое полностью чужеродно знанию о трагизме, с которым в действительности сплетены все деяния, и в особенности - деяния политические" [4]. Страна не простит личного успеха такому политику. Как говорит Вебер, "нация простит ущемление ее интересов, но не оскорбление ее чести" [5]. Главным для политика является *этика дела*, которая анархическим индивидом не имеет в виду.

Принцип индивида, индивидуальных прав положен в основу конституций западных стран, их избирательной системы, "общественного договора" этих обществ.

Однако подобный договор фактически обеспечивает права тех индивидов, кто способен воспользоваться свободой как благом. На периферии этого договора оказываются национальные и социальные меньшинства, не вошедшие в средний класс группы, маргинальные группы, эмигранты, группы специфической культуры. Поэтому сегодня заметным явлением западных политологических и юридических теорий является коммуитаризм, возрождение идей непосредственной демократии, а на практике осуществляется политика велфера, социала (материальной помощи ряду из указанных групп) и аффирмативных (поддерживающих) акций в отношении афро-американского населения и некоторых других групп. Легко видеть, что в то время, как самая индивидуалистическая страна - США - движется от индивидуализма к правам групп, в России наблюдается обратное движение. Неомодернистские концепции как официальная доктрина российских реформ ориентированы на то, чтобы догнать Запад прошлых эпох - либеральный, современный Запад, в то время, как сегодняшний Запад тяготеет к тому, чтобы стать постсовременным. Поэтому вместо либерального индивида в России формируется анархический индивид; на Западе идет движение к более совершенным формам общества, к постсовременному обществу, которое не отрицает прежнего опыта и обновляет его, в том числе и за счет старых традиций, в России - к рефеодализации, к естественному состоянию, к архаике и архетипу, к анархическому индивиду.

Задача сегодняшнего дня - наметить пути преодоления анархических тенденций посредством институционализации и строительства демократического государства, в ходе которого

почвенники могли бы понять, что страна не может выстоять без развития, а западники могли обнаружить необходимость считаться в ходе реформ со спецификой сознания жителей страны. Этика успеха должна быть, прежде всего, этикой успеха страны на пути реформ, а не реализацией воли анархического индивида. Только успех реформ может произвести другого индивида или сделать коллективность производительной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дарендорф Р. Мораль, институты и гражданское общество // Путь. 1993. №3. С.185.
2. Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской революции // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 225.
3. Махно Н. Воспоминания. М.,1996. С. 312-313.
4. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 692.
5. Там же. С. 694.

ЕСТЬ ЛИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ЗАПРОС И ОТКЛИК НА ИДЕЮ УСПЕХА?

(Круглый стол

в Гуманитарном и политологическом центре “Стратегия”)

Александр Асмолов. “...Мы, в отличие от собак Павлова, стремимся к успеху, а наше государство очень часто толкает нас к подкреплению”

Есть несколько типов мифов. Одни мифы имеют четкий историко-культурный генезис, другие - конструируются на наших глазах. Поэтому, когда перед экспертами ставится сам вопрос: повлияла ли идея успеха на трансформации, которые происходят в нашем царстве-государстве, мы должны осознавать, что занимаемся социальным конструированием: идея успеха не является естественной предпосылкой или атрибутом той ментальности, с которой мы имеем дело в России. Этот тезис должен быть отрефлектирован очень четко или наша попытка диагностики будет плаванием в никуда.

При этом важно поставить вопрос: что дает шанс на успех идее успеха как конструктивному предложению, которое мы будем пытаться проектировать в нашей социальной ситуации? Вспомним уроки И.Пригожина о неравновесной, диссипативной структуре: малый сигнал имеет шанс на успех, шанс изменить движение системы, ее траекторию. Предположим, что мы больны в хорошем смысле слова манией величия и наш малый сигнал, посланный по культуре, может оказаться способным изменить систему. Эту гипотезу я бы с удовольствием принял на вооружение. Она может всплывать в журналах, книгах, в выпусках “Этики успеха” и, одновременно, сочетаться с традиционной российской фразой “страшно далеки они от народа”, то есть оказаться чисто лабораторным экспериментом. И поэтому сегодня важно перевести лабораторный эксперимент в жанр эксперимента социокультурного. Что для этого требуется?

Целесообразно было бы выбрать в качестве полигона для обсуждения и культивирования идеи успеха *социальную политику*. Понимая, что страна по-прежнему находится в ситуации неопределенности и до сих пор не рефлектирует по поводу того, куда идти России, необходимо через средства массовой информации, каналы другой социальной практики начать культивировать, даже насаждать (я не боюсь этого слова)

ценность успеха. Я осознаю, что здесь есть карнегианский манипулятивный ход, но без манипуляций (разумеется, важно, каким целям они служат) мы не обойдемся. Так, можно было бы сделать целый ряд выступлений на телевидении, обсуждений с политиками, учителями, врачами и тем самым уже перевести идею успеха на конкретную почву социальной политики. Успех в образовании, успех в медицине, успех в социальном страховании... Надо поработать в ситуациях, характерных для этих профессий.

И, наконец, последнее. Когда мы говорим об идее успеха, я хочу, чтобы мы помнили феномен “смерть на гребне успеха” или, следуя за Вадимом Ротенбергом, “феномен Мартина Идена”. Речь идет о ситуациях, когда человек, достигая успеха, терпит фиаско (например, он защитил докторскую, все шары белые, а у него на трибуне инфаркт). Эти случаи хорошо известны и в клинике, и в широкой феноменологии. Поэтому и встает вопрос: а не страшно ли нашему обществу оказаться в ситуации, когда успех достигнут? Не будет ли у него инфаркта? Не будет ли достижение того или иного адаптивного успеха критерием старения цивилизации? И, наоборот, вечное движение к успеху по формуле “движение все, цель ничто” - та логика, на которую мы должны опираться в своей работе. Момент опасности в ситуации достижения успеха, а так же то, что в обсуждаемой нами доктрине говорится не просто о феномене “бегства от успеха”, а о “бегстве от этики успеха”, - это крайне важно. Заметим, что, говоря о “бегстве от успеха”, “бегстве от этики успеха”, мы оказываемся последователями Эриха Фрома, который написал книгу “Бегство от свободы”. Для меня эта ассоциация неслучайна. Я пока ее не расшифровал. Где связаны бегство от успеха и бегство от свободы?

Геннадий Бурбулис. Когда Вы говорите, что плодотворной площадкой для освоения и утверждения ценности успеха может быть практическая социальная программа общества, государства и, видимо, какой-то целеорганизованной среды, означает ли это, что социальная политика рассматривается Вами в каком-то новом понимании, новом внутреннем содержании, которое Вы не раскрывали в своем выступлении?

Да, подтекст (не текст) именно такой. Это синдром реформ, начиная с 1991 года мы постоянно говорили о социальной политике, а на самом деле происходило бегство от нее. Все реформаторы пытались редуцировать социальную политику к политике социальной защиты. Так, в Законе о бюджете в разделе

“Социальная политика” речь идет лишь об инвалидах, сиротах и т.д. - даже по семантике мы сводили социальную политику к социальной защите. Только выделив целеполагающий момент успеха, мы сможем перейти к логике конструирования собственно социальной политики. Наши коллеги-экономисты говорят: механизмы, механизмы, механизмы. Но пока не задана целеполагающая модель, в которой дано конкретное прочтение идеи успеха, все экономические попытки - лишь механизмы, вырвавшиеся из смысла и ведущие в никуда. Через идеологию успеха, этики успеха, через прозрачную презентацию ее разным социальным группам мы можем заставить взбесившиеся экономические механизмы работать и тогда станем двигаться к реальной социальной политике.

Геннадий Бурбулис. Но означает ли это, что разработка российской идеи успеха - не интеллектуальная игра, не просто увлеченное реагирование на не артикулированную потребность. Более того, как Вы настаиваете, чем более предметно зазвучит новое понимание социальной политики, тем очевиднее, яснее и доступнее станет ценность успеха как жизненно важная координата в сегодняшней России?

В этом вопросе уже содержится ответ. Если угодно, можно сказать: да, я настаиваю именно на этом.

Геннадий Бурбулис. Можно ли сказать, что тем самым мы расшифровываем вечный и простой идеал гуманистического мировосприятия? Социальная политика ориентирована на сохранение и развитие человеческого в человеке, а все государственные институты и все гражданские устремления акцентируются на этой прекрасной цели, и успех превращается во внятную, понятную и наиважнейшую ценность, которая сопровождает благородные устремления к свободе, чести, достоинству, благу, добру и множеству других факелов человечества?

Мне это близко. Но с коррекцией. Мне очень трудно воспринять формулу “найти человеческое в человеке”. Бесполезно искать человеческое в человеке, бесполезно который раз попадать в сократовскую ловушку “познай самого себя” и тем самым искать там, где ничего нет. Я бы сказал так: наша попытка задавать целеполагающую модель успеха означает стремление искать человеческое в обществе. И это человеческое в обществе, дай Бог, когда-нибудь, может быть, и станет атрибутом не только общественного движения, но даже и государства. Через модель успеха наделить общество

человеческими свойствами, найти их там и сказать: социальная система, если она нацелена не на адаптивность (я жестко говорю об этом термине), а на успех (это форма неадаптивности), необходимо порождает именно человеческое поведение. Именно поэтому я, вслед за Куртом Левиным, жестко развожу понятия успеха и подкрепления. Мы, в отличие от собак Павлова, стремимся к успеху, а наше государство очень часто толкает нас к подкреплению.

Геннадий Бурбулис. Не означает ли все, что Вы сейчас утверждаете, состоятельность уже осуществленной работы с идеей успеха? Если для нас открылись такие очевидные реальности, если они столь привлекательны и доступны, значит, мы уже оправдали усилия по исследованию и культивированию успеха как жизненной ценности?

Уже то, что мы понимаем друг друга, может быть доказательством, поскольку мы говорим на языке, все-таки, несколько эзотеричном. И второй момент. Мы сегодня уже не реагируем, а действуем. При обсуждении самой идеи успеха и ее связи с социальной политикой мы, слава Богу, уходим от чудовищного способа, которым мы все жили, - от *реагирования* - и начинаем *действовать*. Для меня между реагированием и действием огромная пропасть. Где реагирование, там - подкрепление и наказание, а где действие - там успех и неудача. Мы ушли от логики подкрепления, реагирования и наказания и приходим к логике действия, успеха и неудач.

Леонид Поляков. Мне кажется, что активное внедрение через масс-медиа и прочие интерактивные формы, входящие в нашу реальность, идеи успеха, соответствующего мифа или контуров этоса, обусловлено признанием того, что первый этап реформы общества, взятого в личностном измерении, завершился неудачей, что традиционалистский тип личности, привыкшей к патронажу или к тепличности, характерной для культуры, которую Хендрик Смит, написавший сначала книгу "Русские" (1973), а затем "Новые русские" (1990), назвал "культурой зависти и зависимости", по-прежнему существует. И поэтому после шести лет самодвижения хаотических (в пригожинском смысле) трансформаций, наконец, пора принимать волевое решение и, что называется, лазерно воздействовать, используя и саму теорию, и личный пафос, нравственную убежденность сторонников этики успеха, чтобы придать реформам второе дыхание, используя некоторые сформировавшиеся институциональные

механизмы, - они пока работают вхолостую, но уже ждут наполнения.

Короче говоря, если я правильно понял позицию Александра Асмолова, то стремление транслировать идею успеха через масс-медиа возникает либо от отчаяния, что сама по себе органическая настройка на успех в обществе не состоялась, и потому надо создавать "агитпроп", чтобы вести индоктринацию по новому вектору, либо под первую волну реформ, которая оставила жесткие отпечатки в виде институтов, готовых принять индивида с этикой успеха, нужно информационное наполнение?

Ментальные установки общества довольно резко изменились. Поэтому я не вижу ничего страшного в роли, которая бы обозначилась названием блестящего стихотворения Лившица "Зазывала". Выступление в роли мягкого зазывалы предполагает, что бифуркация - это не просто хаос, а латентное состояние, и мы лишь чуть-чуть подтолкнем историко-культурный процесс, который становится более или менее возможным, вероятным. Да, позиция психоисторика схожа с позицией хирурга: надо влиять на историю. Я всегда говорю, что Айзек Азимов не так уж и не прав: надо заниматься психокоррекцией истории.

Эдуард Мирский. "...Мы пытались изобразить трудную и болезненную работу в виде романтического приключения, а в результате обращались не к тем людям"

Когда мы говорим об идеях вообще, об идеологии, о национальной идее, в частности, и о ее манифестации в конкретной модели, например, в виде идеи успеха, на мой взгляд, эффективно предполагать, что мы работаем в некоторой, совершенно определенной сфере, которая прямого, непосредственного отношения ни к социальной политике, ни к тому беспорядку, который нас ежедневно окружает, не имеет. Эта сфера гораздо более глубокая, я бы сказал, фундаментальная и, что немаловажно, консервативная.

Кстати, само использование слова "этика" в предложенной на экспертизу доктрине не очень строгое. Никто никому не запрещает пользоваться какими угодно терминами, но, все-таки, этика - это, по определению, мое отношение к Богу и, соответственно, осознание себя в мире как единственного во Вселенной.

Этика не инструментальна, она максималистская по своей конструкции. Она в метафизическом пространстве, а вся

метафизика крайне консервативна. И не только сама метафизика, но даже основанные на ней вторичные моделирующие системы оказываются столь же консервативными. Вот простой пример: семьдесят лет в стране творилось черт знает что, а не смогли уничтожить основы российской системы образования. Механизмы, обеспечивающие ее устойчивость, действуют на более глубоких уровнях и изменяются на совершенно иных интервалах времени.

Учет этого обстоятельства принципиально важен при формировании стратегии наших действий. Само стремление оперативно “внедрить” что-либо на уровне метафизики абсолютно бесперспективно. Соответственно, не очень конструктивной выглядит и схема коммуникации, в которой активная просвещенная элита пытается имплантировать свои идеи в пассивной однородной массе через те или иные каналы: СМИ, к примеру, или пропагандистские кампании.

Гораздо более продуктивной представляется иная схема. При ней мы с самого начала исходим из того, что в России есть определенное число людей (их не может не быть среди ста миллионов человек), которые разделяют идею успеха. Вот мы и даем им некий позыв: мы одной крови - ты и я. А дальше - влияние этих людей, их, так сказать, укорененность в тех или иных сообществах - это уже то, что нужно считать, смотреть... В свою очередь, ответ на этот позыв, естественно, будет зависеть от того, как мы его сформулируем, как мы его доведем. Но, я повторяю, речь идет о воздействии на людей, которые к этому воздействию готовы, которые его ждут, даже если и не подозревают этого в себе.

Если мы принимаем такую модель взаимодействия с нашими потенциальными единомышленниками, то и содержание идеи успеха из проблемы чисто академической превращается в проблему прагматическую, то есть предполагает такую формулировку, которая будет разделяться определенной группой населения.

Исходная оппозиция “успех - неудача”, о которой говорил Александр Асмолов, на мой взгляд, не дает оснований для подобной формулировки. Никто не хочет считать себя неудачником, а следовательно, и адресат нашего призыва оказывается размытым. Гораздо более внятной оппозицией *идеи успеха* могла бы стать *идея удачи*, везения, фарта и т.п.

Если мы примем этот подход, то, оценивая потенциальных союзников, единомышленников и т.п., мы выделяем резидентное

население, для которого идея успеха - это, прежде всего, идея обустройства, формирования своего дома, это идея мира, в котором ты всегда будешь жить и за который ты отвечаешь. Наконец, это идея дела и достижения как созидания этого мира, идея того, что Пушкин называл плодами медленных трудов.

В другой половине оппозиции речь идет об удаче, о быстром продвижении, риске и так далее. Вспомним, нам проще было построить БАМ, чем навести порядок на Турксибе, проще было освоить целину, чем десятую, по оценкам экономистов, часть тех же средств вложить в освоение российского Нечерноземья и поднять его до такого состояния, чтобы оно, как сейчас, могло кормить нас без всякой целины.

Соответственно, в идеологических терминах, речь идет о противопоставлении прагматиков и романтиков. Все *идеологические* неудачи в проведении реформ связаны, на мой взгляд, прежде всего с тем, что мы пытались изобразить трудную и болезненную работу в виде романтического приключения, а в результате обращались не к тем людям.

Если теперь возвратиться к политике (я не говорю - социальной или не социальной): то, что мы в России называем реформами, зависит от двух крупных политических шагов, которые могут быть поддержаны людьми, понимающими успех в первом плане, - это формирование нормальной земельной собственности и развитие местного самоуправления, без которого земельная реформа во многих местах будет проходить по чеченскому варианту. Понятно, что за сибирские подзолы никто и головы не поднимет, но за кубанский чернозем борьба будет совсем иная.

Соответственно, адресатов нашего обращения следует искать прежде всего в российской провинции, а не среди подвижного населения космополитических мегаполисов с характерной для них интенсивной социальной динамикой.

Я думаю, что, оправдывая собственные неудачи в коммуникации с регионами, мы не всегда по делу ищем аргументы в идеологических дискуссиях начала века. В частности, я говорю об общинном традиционализме, якобы в российской деревне тормозящем распространение идеи успеха. Территории, на которых развивался общинный традиционализм, по вине наших предшественников уже превращены в пустыню. Сейчас сельской жизни, в которой господствует общинный традиционализм, эмпирически не существует. Ее не было уже в 70-х годах, в чем легко убедиться, читая "Матренин двор" и

произведения наших “деревенщиков”, независимо от социальной ориентации авторов.

Есть другое - ужас нашей провинциальной жизни в гигантском количестве ПГТ, поселков городского типа, поселков нерезидентного населения на земле. И если деревня в Ярославщине отличается от деревни в Костроме - по архитектуре, по функциональным признакам, даже по говору, то ПГТ под Благовещенском и Олонцом все одинаковые - это одна и та же психология 101-го километра, одна и та же шпана, которой ничего не жалко. В такой среде людям дела (а они, конечно же, есть и там), ориентированным на достижение и созидание, крайне трудно. Это наследие коммунистического режима - действительно страшная вещь. Гораздо более страшная, чем общинный традиционализм, и, к сожалению, гораздо более реальная.

Юрий Веденеев. “...Слой тех, кто включился в процесс первой попытки внедрения идеи успеха (1987 - 89 г.) был практически весь принесен в жертву”

Вопрос, вынесенный авторами доктрины этики успеха на обсуждение нашего “круглого стола” содержит целую совокупность понятий, которые сами должны быть определены.

Во-первых, я признателен Э.М.Мирскому за различение двух понятий - удача и успех. Действительно, они, казалось бы, феноменологически однотипны, а вот онтологически - разносущностны. Я считаю, что мы должны нагрузить категорию успеха, как очень общую, развернутыми определениями, конструкциями и смыслами, потому что у меня, например, чисто вербально это слово вызывает некоторое отторжение.

Во-вторых, говоря о постсоветской России, мы сегодня реально понимаем, что советская Россия пока никуда не ушла. И говорить о постсоветской России в смысле этапирования некоего процесса весьма проблематично. Те изменения, которые мы наблюдаем, еще не являются в этом смысле “пост-“, они где-то на грани, которая может вернуться в то исходное состояние, из которого мы пытаемся выйти на вербальном уровне.

Говоря о “первом этапе”, мы презюмируем некое пространство возможностей: будет и второй, и третий, и десятый этап, и в то же время понимаем, что все наше этапирование каких-либо процессов осуществлялось в технологии жертвоприношений. Где слой тех, кто включился в процесс первой попытки внедрения идеи успеха (1987-89г.)? Он был практически весь принесен в

жертву. Где люди, которые организовали прекрасное романтическое пространство взаимопонимания, толерантности, уважения, ощущения перспективности той среды, в которой мы жили и которую мы же отрицали. Благодаря нашей же активности и жизнедеятельности вдруг все девальвировалось, исчезло или приобрело другие контуры - появился новый слой. К сожалению, технология обнаружения таких наших качеств, способностей, функций, действительно говоривших бы об успешном решении задачи, которая неожиданно на всех нас обрушилась в тот период времени, не оказалась доминирующей.

Согласитесь, что говорить о внедрении идеи успеха надо с большой опаской. На первом этапе реформ мы жили со спонтанным выражением внутреннего чувства вдруг открывшегося собственного достоинства. Но этот колоссальный социально-психологический нравственный капитал был очень цинично и хладнокровно проэксплуатирован. А сегодня возможна эксплуатация идеи успеха, хладнокровного использования ее для достижения корпоративных целей. Я не буду сейчас разворачивать этот сюжет, потому что все мы прекрасно понимаем тот текст и подтекст, в котором сегодня существуем.

Поэтому и надо задуматься об операциональном определении понятия "успех", чтобы мы понимали, в каких сферах, в каких формах это понятие нами используется, и уже на этой основе рассуждать, каковы урок успеха или неуспеха идеи успеха. Надо договориться о смыслах.

Геннадий Бурбулис. Вы сказали, что порыв к свободолюбию выразился в спонтанном чувстве развернувшегося человеческого достоинства, а реализовался - в обидной технологии жертвоприношения. Хорошо бы прояснить образ жертвоприношения. Это важно, чтобы закрепить идею Э.Мирского, сказавшего, что мы сигналим некоему слою, "братьям по крови".

Леонид Поляков. И кто, собственно, тот субъект, который эти жертвы принимал и этим пафосом накачивал себя совершенно для других целей?

В процессе реформ действовало множество людей, вообразивших себя субъектами мира политики. Но, воображая себя субъектами этого мира, они на практике уничтожили это качество субъекта в самих себе, потому что доверили реализацию процесса реформ не себе, а другим. Они делегировали свое представление о должном, о невозможности дальше существовать в этом пространстве, в этой истории.

Делегировали, наивно уверенные в том, что кто-то за них осуществит их собственные планы, решит их собственную проблему. А власти восприняли такое делегирование в терминах купли-продажи: да, вы нам делегировали функцию осуществления процесса вместо вас, но это не означает, что между нами произошел эквивалентный обмен. Купив товар - ваше доверие, мы используем его в зависимости от собственных представлений, смыслов и собственных задач.

Таким образом, *субъект* приобрел качество реального *объекта* и теперь должен адресовать все упреки в собственной несостоятельности самому себе: ведь он сам обнаружил свою историческую неперспективность. Резонно возникает вопрос: может быть, действительно целесообразно освободить социальное пространство от такого "субъекта", пусть придут другие, для которых реальность будет выражением их сущности.

Поэтому, говоря о жертвоприношении, я не имею в виду каких-либо "палачей", а хочу сказать, что, видимо, современная российская история осуществляется в форме вытеснения одной социальной группы, одного социального процесса другими социальными группами и другим социальным процессом.

Но я понимаю, как тяжело уходить тем, кто мыслит себя в других категориях, и как наслаждаются сиюминутной жизнью те, кто сегодня справляет пиршество, не понимая, что, следуя такой же логике, он, в свою очередь, тоже будет вытеснен другими социальными группами. Боюсь, что в итоге все кончится освобождением нашего социального пространства для каких-то других цивилизаций, других субъектов, которые более ответственно отнесутся к своей собственной роли в историческом, социальном процессе, да и в отношении к самим себе. Это, мне кажется, может ожидать нас в перспективе, если исходить из уроков первого этапа реформ.

Мы продемонстрировали свою историческую несостоятельность. Способны ли мы осознать и преодолеть это качество прежде всего в самих себе и только потом предъявлять претензии к другим институтам, группам?

Геннадий Бурбулис. "...«Достижительные люди» являются и предпосылкой, и своеобразной кристаллизацией всего того, что происходит с нами сегодня"

В наших поисках мы неоднократно наталкивались на матрицу идеало-долженствующего восприятия действительности. Она понятна с точки зрения эмоционально-чувственной, моральной и

мировоззренческой программы жизни. Но она же очень опасна, поскольку предлагает понимать время и слышать жизнь более морализаторски, чем того заслуживает наша текущая история. Скажем, раны человеческие, личные, не могут стать исчерпывающим экраном действительности только потому, что у нас существовал и сохраняется некий идеало-светлый образ возможного перехода к свободной жизни. Не могут потому, что мы обязаны отнестись ко всему, что происходит и в душе, и во вне, и в обществе, как к суверенному миру. В этом плане претензии морального характера абсолютно неизбежны, но обобщения на их основе, включая системную онтологию жизни, на мой взгляд, чрезмерны.

Мне кажется очень важной переключка в прозвучавших выступлениях. Все говорили, что как бы ни была специфически воспринята нами текущая история страны, есть общий вывод: кристаллизуется специфическая среда неизвестных друг другу людей, близких по жизненным корням, интересам, потребностям, устремлениям и, как говорит Э.Мирский, метафизическому основанию, которое каждый осваивал на собственном опыте, со своим профессиональным и человеческим багажом. Мое предложение: определить этот тип жизнедеятельности и этот слой рабочим термином *достижительные люди*. “Достижительные люди” являются и предпосылкой, и своеобразной кристаллизацией всего того, что уже произошло и происходит с нами сегодня.

Именно достижительность выступает как фундаментальное, коренное, базовое и предельное основание делового успеха и полноценного жизнотворчества. В этом смысле нам дороже близость по качеству достижительности, чем временная солидарность на каких-то идеологических, социально-партийных основаниях. Последние годы показали, что почти все нормальные люди утратили интерес, уважение и доверие к партийной деятельности организационного и идейно-мировоззренческого плана, испытывая социальный дискомфорт от разовых увлечений, устали от неизбежных разочарований и опустошения, которое наступает после вспышек сверхактивности.

Выделю несколько примет слоя достижительных людей. Чем более детально, может быть, даже искусственно, мы пропишем признаки этого типа людей, тем надежнее будет наша дальнейшая совместная деятельность по формированию устойчивости этого слоя, его основательности в России.

Одна из примет заключается как раз в том, что люди этого типа менее всего склонны активно относиться к идеологической и политической сторонам жизни страны. После выступления Ю.Веденева мне более понятно, почему это происходит: был момент, когда политики явочно олицетворяли те прекрасные благородные устремления, которые излучались массовым энтузиазмом свободолюбия, но, не оправдав этот посыл, дискредитировав романтическую надежду на то, что публичная политика и есть плодоносная сфера жизни, они предопределили сегодняшнюю аллергию на политику вообще.

Здесь важно отметить, что один из специфических признаков ситуации переходного периода состоит в том, что политика становится апофеозом всех других сфер жизнеустремлений. И нравственные, и социальные, и бытовые, и экономические интересы приобретают свое конкретное выражение в экстазе политического мира. Но с завершением предельно острой ситуации, политика, затухая, переходит в план бытоустройства, очень остро нуждается в профессионализации. И в такое время аллергия к миру политики не плодотворна, важнее - признание его профессионализации. Мой тезис: достижительность как качество жизнедеятельности, отрицая мир спекулятивной политики выскочек и однодневок, заявляет потребность в политике как равнопрофессионализированном виде деятельности, где качества компетентности, результативности, деловитости столь же значимы, как и в любом другом виде деятельности.

Вторая примета. Люди достигательные, на мой взгляд, объединены близким отношением к такому сверхобостренному наследству, как восприятие успеха окружающих с позиции ревностно-завистливой. У достигательных людей отсутствует психологическая установка подозрительности, черная зависть к успеху другого, и, наоборот, их характеризует солидарное участие в поддержке успешной деятельности других людей.

Третья примета. Важно иметь в виду особенность восприятия достигательными людьми тех векторов, о которых говорил Э.Мирский, разделивший векторы метафизического и технологического мироотношения, долженствовательного и нормативно-административно организованного отношения к миру. Мне кажется, что для достигательных людей нет пропасти между этими векторами, и прежде всего потому, что они яснее и глубже всех других понимают значимость нормативного, организационно-технологического, методического, системного обеспечения решения жизненных задач. Они не расточительны в

классическом российском мировосприятии: от безудержного экстаза жизнедеятельности - к успокоению и безоглядному прогуливанию всего и вся. У них нет разрыва между достижительностью и упоенной бездеятельностью. Они организованы системно. Внешне это выглядит антироссийской традицией, но в российском обществе из века в век было немало как раз тех, кто являлся носителем этих принципов жизни. И сегодня, понимая значимость этого типа жизнеустройства, мы могли бы через сообщество достигательных людей поощрять, развивать новую культуру рациональной организации жизнедеятельности, с ее пристальным вниманием к деталям, из которых складывается основа каждодневности, позволяющая преодолеть колоссальный разрыв между природным и духовным богатством России и бесконечным расточительством и разгильдяйством.

Четвертая примета. Если тип управления и жизнедеятельности, который мы называем российско-советским, может быть аттестован как репрессивно-мобилизационный, то тип, который сегодня утверждается слоем достигательных людей, может быть охарактеризован как *прогрессивно-инновационный*. Я скажу еще более вызывающе - как *рефлексивно-прогрессивно-инновационный*, потому что одно из важных качеств достигательных людей - это настойчивая рефлексия над собственными основаниями, которые они очень бережно культивируют. Деловой и жизненный успех предполагает постоянную вдумчивую проработку способа жизнедеятельности. Достигательные люди не чужды восторгам, ликованиям и всем краскам жизни, но их характерологическая черта - методичное накопление, рефлексивная проработка. Это как раз тот случай, когда любой человек, независимо от профессии, достигая в своем деле высочайшего мастерства, одновременно становится жизненным философом. Как носитель мастерства он вынужден определять его смыслы и значения, создавая универсальную картину мира, онтологию жизни. Ему свойственно внимательно, чутко, бережно относиться к любому другому жизненному проявлению, которое сопряжено с подобными усилиями или с такими же навыками, с той же культурой жизни.

И наконец, та примета, которая говорит о связи делового и жизненного успеха. На самом деле люди достигательные органически соединяют профессию, дело, обеспечивающее им материальный достаток, проявление своего призвания,

предназначения, - с жизнью как таковой. Поэтому мы имеем возможность через весьма прагматический, даже утилитарный вид такой ценности, как “деловой успех” символизировать, сигнализировать о том, что путь к желанному единству в российском обществе, согласию в политическом мире возможен через обретение слоем достигательных людей признака меньшинства, активно влияющего на общественное целое. И этот слой, действительно, существенно меняет интонацию жизни общества. Если применить мой любимый образ “музыки жизни”, то можно сказать так: на старте достигательные люди живут максимально сосредоточившись на деловом успехе: он оправдывает все. Но вместе с тем эта, казалось бы, утилитарная мелодия, связанная с успехами в деле, профессии, перерастает в симфонию жизни, и сама жизнь выступает как творчество. У людей, достигших делового успеха, нет губительного противоречия между делом и не деловой частью жизни: они начинают максимально бережно относиться к своему здоровью, духовному состоянию, меняют вектор в отношениях с ближними, соратниками по работе, сотоварищами по профессии.

Успешность этого движения от делового успеха к полноценному жизнотворчеству, на мой взгляд, сегодня зависит от разработки некоторых специальных технологий, которые бы обеспечили плодотворное межпрофессиональное общение, сотрудничество между достигательными людьми. Этот путь не романтический идеало-духовно-нравственно- воспитательный; по качеству самих этих людей их сообщество может возникнуть только через решение прежде всего межпрофессиональных задач. Грубо говоря, бизнес каждого из них в отдельности будет улучшаться от такого общения, сотрудничества. В этом слое на равных правах будут выдающийся музыкант, сверхизвестный артист, преуспевающий политик, вдумчивый учитель, богатый фермер и т.п. и между ними возникнет благородный, благотворный и взаиморазвивающий диалог.

Леонид Поляков. “... Одни преуспевают, другие воспринимают это, как изъятие у себя, как преступление”

Вопрос, вынесенный в заглавие “круглого стола”, действительно ключевой. От того, как отвечаешь на него, сама идея успеха, этики успеха выглядит по-разному. Мне кажется, что осмысленно говорить о реформе, ее этапах можно в рамках опыта шести лет (или десяти, если мы говорим о Советском Союзе), ведя отсчет со 2 января 1992 года, когда началась

либерализация, освобождение, выраженное в такой предельно абстрактной форме, как изменение цен, денег - первой матери социального вообще, того социального, в котором мы призваны жить и ради которого вся реформа и совершается.

Если мы принимаем это основание анализа, то вопрос о том, называть ли этот этап советским или постсоветским, может быть решен в срединном варианте: не надо утверждать, что мы постсоветские, и не надо утверждать, что мы советские, - есть доли, градусы и важно, на каком градусе этой широты мы находимся. И здесь есть два аспекта: культурно-мифологическое содержание, привнесенное опытом этого этапа, - это одно, а набор институтов, социальных и политических практик, юридических процедур, отработанных за десять (или шесть) лет, - совершенно другое.

Есть еще один момент: задаваясь вопросом, насколько успешным был эксперимент по освоению нового этоса, этоса успеха, в процессе шести лет реформ, нужно понимать, что конкретно мы анализируем: исходные мотивы реформы, способы ее осуществления или конечный продукт. Так, можно рассуждать в терминах "революции завышенных ожиданий", и это сразу убивает тезис об уникальности происходившего в России и вписывает его в ряд всех крупных социальных трансформаций, которые являются объектом анализа теории модернизации. А можно говорить о России с точки зрения ее ухода от определенного типа общества, которое я условно назову традиционным, даже третье-мирским.

С этой точки зрения меня больше интересуют параметры институциональные, институционально-структурные, которые уже каким-то образом готовы принимать этос успеха. Традиционное, или третье-мирское, общество существовало с очень ясной парадигмой. Не стану воспроизводить ее здесь, ибо в одном из выпусков "Этики успеха" я писал о том, что такое советский успех, как он санкционируется и так далее, скажу лишь, не желая никого обидеть из живших в этом обществе, что оно изначально ориентировано на определенный этос справедливости - в духе игры с нулевой суммой. В этом обществе всякий успех нормирован, дозирован и отъем у одного означает передачу другому, а получение одним - отъем у другого; ноль-сумма.

Когда это общество оказалось ввергнуто в полухаотический, практически не регулируемый процесс самоизменения, самонастройки, адаптации к новым условиям, связанным с

либерализацией цен, когда распались институты, обеспечивающие воспроизводство традиционного такого типа мировоззрения и этоса на уровне антропологии, старые структуры никуда не делись. Все осуществлялось по тем матрицам, которые были основательно выстроены за 70 лет, и типичные структуры поведения, пусть освобожденные от каких-то контрольных инстанций в виде парткома или Лубянки, проявили себя именно так, как только и могли проявиться.

Совершенно верно Э.Мирский говорил о различении удачи и успеха. Однако, говоря о модели удачи, я назову содержащиеся в ней свойства еще более жестко - стяжательство и агрессия, агрессивнo-стяжательское овладение тем, чем раньше овладеть можно было лишь "втихаря", нарушая закон и боясь репрессий. С началом реформ для людей элитного слоя, обеспечивших себе властные командные позиции в прежней системе, открылось безграничное пространство. Опираясь на образную характеристику Ю.Веденеева, скажу, что этот период неоправданных надежд, преданных обещаний и принесенной жертвы (вы реализуете нашу свободу, а мы в это время спокойно набьем себе карманы) был первым актом, демонстрирующим, что такое успех в новой реальности. Отсюда и отсылаемый бумерангом в массовое сознание, сознание девяноста процентов населения, жестко негативный образ новой реальности, нового строя и соответствующих моделей "успеха": хапуга, даже не хапуга, а уже стяжатель, преступник, бандит, вор, прихвизатор; сформировался фольклор, обозначающий четко негативный тип "успешного" человека, в конечном счете закреплённый словосочетанием "новые русские".

Общество разделилось на носителей такой модели успеха и наблюдателей. Определился полигон, на котором происходят испытания и самой возможности успеха в модели "новых русских", и форм поведения для его достижения, овладения, демонстрации и так далее. Одни успевают, другие воспринимают это, как изъятие у себя, как преступление. И надо признать, что в большинстве случаев воспринимают оправданно. В этом восприятии есть еще и компонент старой ментальности, которая вообще любые достижения другого человека трактует как отъем у себя. В каждом реальном случае - приватизации магазина, завода, чего угодно - всегда присутствует эта смесь. Небольшое число лиц приватизируют завод, остальные - наблюдатели, не получившие ничего - считают, что те, кто это сделал, - грабители. В какой степени они правы, а в какой работает культура зависти

и зависимости, - это вопрос, не имеющий, видимо, четкого математического, формульного ответа. Но сам состав смеси предсказуем, он работает.

Кроме “новых русских” и “наблюдателей” выделю еще два субъекта первого этапа реформ - это важно для понимания перспектив развития этики успеха. Во-первых, традиционная интеллигенция, или тот советский псевдосредний класс, по поводу которого последние годы появляется много ностальгических текстов. Самый главный упрек реформаторам выстраивается именно в этой плоскости: разрушили наш средний класс. Имеется в виду, что происходит деклассирование, распыление, депрофессионализация, люмпенизация советской интеллигенции, точнее, всего того, что входило в комплекс советской интеллигенции, а на самом деле - профессионалов. И этот разрушительный процесс - результат реформ.

Реакция интеллигенции на происходящее стандартная, по типу, я бы сказал, глубинному: не столько советскому, сколько традиционно русскому (о чем в своих статьях довольно убедительно пишет А.Панарин): совесть на стороне скорбящего, на стороне обиженных, не важно по каким причинам. Здесь нет никакого рацио, рефлексии, просто ощущение, что собственный карман значительно похудел, статус понизился, и есть повод, дающий возможность личные свои неудачи (именно о неудаче я в данном случае говорю, а не о неуспехе) окутать в традиционную русскую форму боления за народ. Неудобно сказать о себе, что “я - уважаемый ученый, профессор получал при советской власти 500 рублей, имел квартиру, дачу и машину, и это было равнозначно благополучию американского миллионера, а теперь меня “опустили”. От неудобства сказать так довольно большая категория интеллигентов (особенно обществоведов, в силу гипертрофии этой профессии в прежней системе) естественно перекочевала в сферу оппозиции и, воюя с властью, заодно прокляла и продолжает проклинать и распинать на всех перекрестках саму идею успеха - как идею чуждую, как идею нахрапистого “нового русского”, который обогащается, пренебрегая главным долгом - развитием духовности. Происходит как бы двойной кульбит закрепления в общественном сознании негативного отношения к ценности успеха: а) через реакцию простого постсоветского человека на то, что начальство всегда грабит и не делится; б) через дополнительное акцентирование того же отношения утонченными

средствами (в газетах, по радио, на телевидении), интеллигенцией, плачущей о том, что народ опять ограбили.

Во-вторых, выделю слой тех самых “япи”, о которых говорится в обсуждаемой нашим “круглым столом” публикации доктрины этики успеха и которых Г.Бурбулис определил как слой achievers, четко обозначающих себя людьми, нацеленными на успех. Не говоря здесь об “успешных” в малиновых пиджаках и золотых цепях, о прямых нарушителях закона, необходимо все же напомнить о коллизиях между целями и средствами достижения людей. Как быть с теми из них, кто, скажем, уклоняется от налогов, - наиболее массовый, типичный российский случай. С одной стороны, невыплата налогов есть условие выживания бизнеса, с другой - такой человек автоматически попадает в серую криминальную зону и в каждый момент знает, что он преступник. Сама среда, сами институты сегодня еще не устоялись и провоцируют такого рода коллизии.

Особый вопрос, по поводу него с самого начала “круглого стола”, с выступления А.Асмолова, у нас идет скрытая дискуссия: как помочь людям, имеющим внутреннее самообозначение, выношенную идентичность, заряженность на успех; людям дела, профессионалам, реализующим себя в действии, которое в конце концов становится смыслом жизни и, в свою очередь, окольцовывает жизнь, придает ей новые измерения? Как помочь этим людям маркировать себя социокультурно, обозначить свой слой не как компрометированную зону - зону “маргиналов”, “нечестных людей”, “бессовестных”, “западников”, зону анклавных мегалополисов, где “крутят деньги”, - а в качестве интегрального слоя общества, слоя привлекательного, открывающего возможности для подражания. Пока у них есть лишь маркировка для своих - “мы одной крови”.

При этом важна трансляция этого сообщества не в демонстрационном плане, как это было сделано элитой, награвившей и отъехавшей (или не отъехавшей и жаждущей еще больше награть), а в цивилизованной и убедительной форме.

Сегодня сообщество этих людей сформировалось как резервация. Они, разумеется, должны втягивать в свою резервацию других людей, но ни в коем случае не выходя за пределы уже наигранного, наработанного этоса. Они не могут уступать, ибо существуют маргинальные зоны “между”, где этос успеха растворяется в уступках: “вот, они - папуасы, мы не будем их раздражать” и так далее. Паллиативы дискредитируют этос успеха. Со стороны этой резервации (профессионалов-“япи”, в

целом слоя достижительных людей) любая уступка - подтверждение того, что они неаутентичны, существуют только за счет случая, везения, и вообще они “не отсюда”, а чтобы стать своими, должны перейти на местный язык.

Мне кажется, такого случаться не должно. Должно происходить обратное: они сами должны выступать как парадигма идеала для отечественного российского пространства. Они “отсюда”, они здесь выкачали резервы - из среды, из ситуации; они не сброшены на парашютах или на спускаемых аппаратах. Это они должны доказать, не уступая, не соглашаясь: “да, мы нахапали, а теперь будем заботливо, не травмируя остальных, неудачников, сбрасывать градусы и давать им шанс”.

Переходя к политике, хочу сказать, что социал-демократическая стратегия, ориентированная на “сужение ножиц”, сглаживание социальных контрастов, стратегия укоренения психологических и этических подпорок нового этоса, который на самом деле и крутит машину нового общества, ничего не даст. При всей ее гуманности, при всей, казалось бы, необходимости (кричащие противоречия: один на 600-ом “Мерседесе”, другой - на инвалидном кресле) эта стратегия отсекает у общества возможности двигаться по пути, продемонстрировала, что в этом обществе есть такие же неограниченные возможности, как и в любом другом. Модель успешного национального самосознания не состоится, если все время будет присутствовать такая скрытая предпосылка: “да, им позволили и они награбили, но это лишь верхушка, а вообще-то от трудов праведных не бывает никаких палат; так что давайте теперь с них чего-то такое сдерем”. Достигательный слой должен действовать не по методу уступок и снисхождения, а, наоборот, я бы сказал, идти по методу предельному. Но это - открытая проблема.

Мне кажется важным наличие институтов и институциональных механизмов, в рамках которых демонстрация нового этоса превращается не в культурно-просветительную, информационно-фуршетную акцию, а в многократно воспроизводимое - с помощью электоральных процедур - политическое действие, доказывающее, что успешный человек располагает адекватными возможностями продемонстрировать, защитить и увековечить свой этос. Единственный способ такого увековечивания есть включение в политический процесс.

Когда Г.Бурбулис констатировал расхождение между классом достижительных людей и классом политиков, он имел в виду не вообще политические структуры как таковые, а политический непрофессионализм, ибо люди успеха заинтересованы в том, чтобы политические структуры функционировали нормально. Но как эти статусные профессионалы (“япи”, класс достигших) могут себя утвердить и *вместо социального контракта предложить правила политической игры, соблюдаемые повсеместно и взаимно?* Эта конкретная проблема, видимо, должна решаться как проблема нового политического класса России и механизмов его формирования. Здесь вместо отработанных уже средств воздействия на электоральный процесс, порождающих у остальных (условно - “лишенцев”) ощущение, что их все время обманывают, мне кажется, очень важную, решающую роль в социально-культурной маркировке этого класса и его легитимации, в конечном счете, могло бы сыграть изменение отношений класса “япи” с политическим классом в целом и, особенно, с теми группами, которые согласны его представлять.

Я оставляю в стороне рассуждения о типе успеха, который отработан в спектре оппозиционной и непримиримо оппозиционной политики и, соответственно, у одной трети населения России, где есть своя теория успеха и его критерии, отработанные на негативе - опровержении и отвержении. Зона, между прочим, тоже заслуживающая исследования, потому что эти люди попали в новую ситуацию: из старой кормушно-распределительной и подавляющей, тотально контролирующей системы они вытеснены и теперь в открытом бою. И у них тоже нарабатываются навыки активного, агрессивного отношения к делу с непредсказуемым результатом. Я бы даже сказал, что в этой зоне отрабатываются даже более ценные образцы этоса успеха - потому что там играют на императивах честности, неподкупности, защиты святых идеалов и т.д. В народном самосознании успешный на оппозиционном поле человек наделяется, кроме легитимности, еще и харизмой. Его успех тиражируется и становится мобилизующим фактором. Я оставляю в стороне этот вопрос, потому что он в обсуждаемой нами доктрине не поставлен, вернее, присутствует как негатив типа традиционализма, общинности, совковости и т.п. В перспективе, мне кажется, эта зона может и должна быть темой отдельного проекта.

Ю.Веденеев. Резервация вырастила своего идеолога?

Пока она еще об этом не догадывается, но практически уже имеет своего представителя, который адекватен самому себе в ситуации реабилитации того, что он называет резервацией. Дело в том, что слова “резервация” и “зона” прозвучали не случайно. Весь конфликт тем самым переводится в технику: резервация - это сверхпотребление, а зона - недопотребление.

Но суть-то проблемы состоит не в том, что невозможна стратегия социального договора. Л.Поляков не случайно оговорился, сказав “социальный контракт”, а не “социальный договор”, а это разные понятия. Если социальный договор заключается между равноценными, эквивалентными субъектами, то при социальном контракте одна сторона, субъект, *навязывает условия жизнедеятельности другой стороне, которая является объектом контракта.*

Л.Поляков, по существу, описал некую реальность, в которой имманентное воспроизводство резервации связано с имманентным воспроизводством зоны. Резервация не может поглотить зону и превратить ее в некое качество, не опасное для собственного существования и воспроизводства. Это просто-напросто два явления, связанные единой логикой жизни, и бессмысленно обсуждать вопрос, будет ли зона поглощать резервацию или резервация будет поглощать зону.

Суть проблемы и парадокс такого ракурса ее рассмотрения заключается в том, что на известном этапе развития того, что обозначено как резервация, последняя вообще не нуждается в “зоне” как таковой, потому что условия ее воспроизводства лежат не только в эксплуатации зоны. Складывается некая экономическая система, для которой экономика живого труда не имеет никакого значения. Это даже не феномен так называемой капиталистической эксплуатации. Объект эксплуатации изменился: сегодня им является природа. На данный, очень узкий отрезок времени найден бессловесный объект эксплуатации - природные ресурсы. Как только этот ресурс кончится, мы увидим, во что превратится респектабельная резервация. Она озверевает в мгновение ока и перейдет к жесточайшей эксплуатации живого труда тех, кто обозначен как существующие в зоне, - это будет единственный способ существования в режиме сверхпотребления.

Трагедия нашего времени заключается не в том, что одни проявили некие профессиональные качества и смогли продемонстрировать новую социальную активность, а другие -

лишь свою несостоятельность. На самом деле в нашей социальной, экономической и социокультурной ситуации складывается дуализм, который не заполнить никакой активностью. И потому я боюсь, что то, о чем здесь говорилось как о средстве разрешения проблемы (электоральные процедуры), закончится электоральной катастрофой и для резервации, и для зоны, потому что в действительности и те, и другие продемонстрировали свою несостоятельность. Электоральная катастрофа выразится в том, что избиратели придут на выборы и проголосуют так, чтобы иметь легальные условия для ликвидации тех, кто обозначен как резервация. И все закончится воспроизводством другой структуры организации общественной жизни.

Леонид Поляков. *В результате придут “левые”. Да?*

Может быть, и “правые”. Я пока не хочу маркировать носителей будущего электорального ужаса.

Леонид Поляков. *А почему это называется катастрофой, если все произойдет не революционным путем, а путем выборов?*

Потому что выборы превратятся в легитимацию насилия.

Леонид Поляков. *То есть выберут тех, кто завтра будет рубить головы?*

Возможно. Вот что может произойти в силу неадекватности тех, кто объявлен в этой системной модели новым классом, новой элитой. Она, к сожалению, не очень умна.

Леонид Поляков. Хочу сделать уточнение. Когда я говорил о том, что в ходе экспериментальной деятельности по внедрению реформ одни сумели до конца проэксплуатировать открывшиеся возможности, то есть свободу, а другие этого не сумели сделать, я не имел в виду индивидуальные недостатки и как бы непригодность части населения, ее неумение поймать момент. Сама логика освобождения страны состояла в том, что за образец был взят западный цивилизованный мир, он был аттестован как норма. Прелюдией к российским реформам была перестройка в Советском Союзе, и в рамках этой прелюдии была сыграна очень важная мелодия: “там” - норма, “у нас” - патология.

Когда началась реформа в России, когда в 1992 г. появилось собственно государство Россия, все ожидали, что сейчас, когда уже нет *той*, ненавистной власти, *эта* власть все сделает как надо, как “там”. Презумпция была такая: “Мы талантливые - так

мы себя убеждали - богатые, все можем, но нас давит тяжелая, непосильная крыша. Нам мешают проявиться КПСС и КГБ, их репрессии". И как только эти репрессии исчезли, огромное количество людей, живших всю свою жизнь по императиву "дадут", продолжали жить точно так же. Винить их в этом совершенно невозможно. Это - этос. Люди ждали благоденствий от новой власти, которой, как они думали, нечего делать, кроме как готовить социальный договор, следить за справедливостью и так далее.

А новая власть занималась другим делом. Страна была накануне голода, энергетической и, может быть, даже ядерной катастрофы. Это зафиксировано документально. Кроме того, шел неконтролируемый процесс действительного разграбления государственной собственности, ничем не легитимированный и никакими законами не оформленный на состояние января 1992 года. И правительство конкретно занималось одной задачей: как остановить этот процесс, ошибочно, как потом выяснилось, полагая, что введение императива рациональной экономической деятельности само закрутит механизм рынка, а люди, уже надыхавшиеся свободы, сами поймут, как им лучше жить. В этом была "ошибка". В кавычках. Я никогда не признаю, что это была ошибка. Это был единственно возможный нормальный способ выхода из той, как мы согласились, патологической ситуации.

Эдуард Мирский. На мой взгляд, сама ситуация и ее структуризация, которые были предложены в выступлении Л.Полякова, больше связаны с представлениями о наших парламентских дебатах, чем о каких бы то ни было исследованиях реальной ситуации. Мы напрасно принимаем различия, предложенные левой оппозицией, тем более, что при ближайшем рассмотрении эти различия эмпирически не подтверждаются.

Простенький пример. Куда отнести в этой схеме присутствующих за "круглым столом" или одного из авторов схемы - господина Зюганова? Он что, "новый русский" или нищий?

Другой пример, связанный с анализом электорального поведения. В отличие от того, что здесь в этой связи говорилось, все выборы показали: в Москве, Питере и ряде других крупных городов, где прослойка "новых русских" достаточно представительна, а поляризация максимальна, участие в выборах и

электоральные приоритеты отчетливо свидетельствуют о принятии реформ при всех их издержках. В Липецке же или Курске, где “новых русских” почти нет, а поляризация максимально редуцирована, избиратели голосуют за оппозицию.

Тонюсенький слой “новых русских” и противостоящая ему огромная нищая масса - такая пропагандистская схема крайне бедна. Вне рассмотрения при таком подходе оказываются представительные, активные и “достижительные” слои населения. И когда мы говорим об идее успеха, о людях дела, то прежде всего должны иметь в виду не тонюсенькую прослойку нового русского капитала, а огромное количество квалифицированных профессионалов, представителей того самого “среднего класса”, которых можно найти в любой сфере (к сожалению, у нас действительно нет среднего класса в западном понимании, у нас практически отсутствует слой мелкого и среднего бизнеса - болезнь России, связанная, в первую очередь, с нерешенностью земельной проблемы). Именно слой профессионалов может быть наиболее важен для дальнейшего исследования. Они более рефлексивны и интересны в социально-психологическом отношении. Это полноправные члены общества, все лучше ориентирующиеся в своих гражданских правах - в отличие от “новых русских” и от люмпенов. В то же время это люди, которые весьма спокойно относятся к политике, и если политики хотят, чтобы они им помогали, то должны не “осчастливливать”, а завоевывать их. Это, я думаю, очень существенный момент. Если мы его упустим, то, наверное, много потеряем.

При этом нам нужно иметь в виду, что формирование слоя успешных профессионалов, о котором только что говорилось, влечет за собой размывание слоя интеллигенции. Это явление характерно для всех без исключения постсоциалистических стран. При этом высокий уровень политической активности (за исключением профессиональных политиков, разумеется) сохраняет прежде всего та ее часть, которой в связи с общей социально-экономической ситуацией не удалось добиться успеха в профессиональном плане. Это само по себе - серьезная проблема, заслуживающая отдельного обсуждения. Но было бы опасно не замечать, что в политических дебатах голос именно этой части интеллигенции звучит все громче.

Татьяна Алексеева. “...Не дрейфовать вниз и ожидать, что некто вырвет тебя наверх, а собственными усилиями и волей

изменить свое социальное положение”

Мне кажется, что дискуссия развернулась главным образом вокруг достаточно одномерного понимания успеха: успех как атрибутивная черта “новых русских” или успех как преуспевание на гребне реформ... Так или иначе, но успех в этом случае воспринимается прежде всего в материальных терминах. А мне представляется, что само по себе понятие успеха несравненно шире.

Традиционно считалось (по крайней мере, была такая расхожая формула), что преуспевающий деятель, успешный человек - это тот, кто способен реализовать некую программ-минимум, которая в данном обществе, на данном историческом этапе является характеристикой успеха. Например, в советском обществе можно было говорить об успешности человека, если он имел дачу, машину, квартиру, приличную зарплату, возможность время от времени выезжать за рубеж в составе каких-то делегаций, если его приглашали в качестве консультанта в райком, горком, обком партии или, может быть, даже в ЦК КПСС. Между тем понятие успеха значительно шире и, мне кажется, у него несколько измерений.

Прежде всего, успех - это далеко не только материальная сторона вопроса. В ходе дискуссии почти во всех выступлениях говорилось о том, что мы уходим от советской психологии, от какого-то полукрепостного состояния, когда человек был закреплен за определенным производством, у него была прописка, которая фиксировала его место жительства, а возможности для самореализации были весьма ограниченными. Тем не менее в народе не считают, что это было так уж плохо. По сей день популярен тезис, что успех не всегда связан с карьерным продвижением или материальными благами. Успех - это быть просто хорошим человеком, профессионалом в своем деле, быть уважаемым, если хотите, даже любимым людьми. Мне кажется, что этот тезис отражает ту сторону русской ментальности, от которой нам ни в коем случае отказываться не нужно. И кстати говоря, он совершенно не противоречит западной этике успеха.

Я позволю себе процитировать высказывание Ральфа Эмерсона, которое раскрывает восприятие успеха на Западе совершенно в ином ключе, чем обычно принято считать. “Смеяться часто и охотно, завоевать уважение умных взрослых и любовь невинных детей, заслужить одобрение своих строгих и честных критиков и пережить, особенно не расстраиваясь,

предательство ложных друзей, уметь ценить красоту, быть способным видеть лучшее в других, оставить этот мир после себя чуточку лучшим, взрастить здорового ребенка, сад или что-нибудь хорошее в общественной жизни, знать, что хотя бы одному человеку дышалось лучше на земле, потому что ты на ней жил, - вот что я называю успехом”.

Если мы посмотрим, например, на американскую модель успеха, то мы увидим в ней несколько пластов. Во-первых, это способность реализовать себя как личность. Во-вторых, - способность добиться чего-то с точки зрения тех ценностей, которые для данного общества являются типичными: быть достаточно обеспеченным, иметь хорошую семью, свой дом, может быть, два автомобиля и так далее. Набор этих ценностей зависит от уровня развития общества и материальной культуры. Но самое главное и, кстати говоря, в западной этике успеха оно всегда присутствует, - это, помимо всего прочего, еще и соответствовать определенным моральным критериям данного общества. То есть мы возвращаемся к высказыванию Эмерсона: быть уважаемым людьми, любимым со стороны близких, внести что-то в жизнь своей общины, своего города, страны и тому подобное.

Американский успех никогда бы не состоялся, если бы не был замешен еще и на очень высоких моральных нормах тех самых первых пуритан, которые и заложили первый камень в создание страны. Следовательно, видеть в современной российской модели успеха, считая, что она копируется с западной, только “новых русских” - это значит вообще говорить не о том. Тем более, что та же самая американская статистика показывает очень интересные моменты. Например, на сегодняшний день в Соединенных Штатах только 3 процента населения - это люди, имеющие независимые источники доходов. А остальные? Остальные 97 процентов населения рассчитывают на чью-то помощь. Наверное, это не помощь со стороны государства, как в нашем варианте, и уж, конечно, не помощь партии. Может быть, община, коллеги, родственники или та фирма, в которой человек работает, различные фонды и так далее. Но игнорировать потребность человека опираться на другого, рассчитывать не только на свои силы, по меньшей мере, наивно.

Еще один аспект феномена успеха. Мы должны понимать, что успех - нечто противоположное застою, стагнации, бегу на месте. Наоборот, это непрерывное приращение того, что человек имеет. Можно называть успешной деятельность человека,

который, скажем, сумел реализовать что-то в своей жизни: предположим, сделал открытие, если он ученый, или изобрел и сумел внедрить нечто, если он изобретатель. Можно говорить об успехе и в собственном, личном росте. Если, например, человек после тяжелой автомобильной аварии, благодаря опоре на собственную уникальную силу воли, вновь начинает ходить - это огромный успех. Если человек растет интеллектуально и, окончив плохую школу и, с очень средними, мягко говоря, оценками, какое-нибудь учебное заведение где-то в глубинке, делает грандиозный рывок и встает в ряд если не с мировыми, то с общенациональными величинами в своей сфере деятельности, - это колоссальный успех. При этом он может ходить пешком, ездить на метро и жить в однокомнатной квартире, может быть, даже снимать ее, но я назову такого человека успешным.

Как эти рассуждения связаны с российскими реформами? Дело в том, что никакие реформы не будут успешными, если нам не удастся пробудить в человеке активную, деятельную личность, пробудить ее в человеке, активность которого подавляли десятилетиями, который не мог себя реализовать и привык, что везде и всегда он наталкивается на запреты. Устранены ли все препоны сегодня? Далеко не во всем. Однако процент людей, готовых прошибать стены, значительно выше, чем пять или шесть лет назад. Иными словами, для того, чтобы добиться цели, которую мы ставим перед своими реформами, - действительно вытащить страну из кризиса и снова вернуть ее в число государств, лидирующих в современном мире (не только формально, но и в полном объеме), - должна состояться новая личность, обладающая тремя основными чертами.

Во-первых, она должна, преодолев привычное зажатое состояние, обладать профессиональной мобильностью. Мы прекрасно понимаем, что вступаем в информационное общество, и уже сейчас открыт будущему только тот человек, который понимает, что в течение жизни ему, может быть, несколько раз придется изменить профессию. А о тех, кто продолжает держаться за выученное 20-30 лет назад, приходится говорить сегодня, к сожалению, как о неудачниках. Сплошь и рядом мы наблюдаем повторяющуюся коллизию: месяцами не получая зарплату, многие по-прежнему, просто в силу инерции, страха перед окружающим миром, перед ответственным шагом, из-за неумения себя организовать и т.п. не в состоянии вырваться из ситуации, в которую они волей случая попали много лет тому назад. Мы можем наблюдать это в массе разных профилей.

Неспособность вырваться из замкнутого круга - это проблема, с которой мы долго еще будем сталкиваться, потому что таких людей по-прежнему много, хотя и гораздо меньше, чем несколько лет назад.

Второе необходимое свойство активной, деятельной личности, способной достичь успеха, - это территориальная мобильность, преодоление того квартирного кошмара, о котором писал еще М.Булгаков и который, к сожалению, преследует нас по сей день. А это опять же - смелость, решимость, способность бросить насиженное место и уехать в другое место, где предлагаются лучшие условия, возможность начать все сначала, окружить себя новыми людьми, искать себе работу в иной структуре. Сегодня же патронально-клиентальные структуры по-прежнему доминируют, особенно в регионах.

И наконец, социальная мобильность - способность переходить из слоя в слой, из страты в страту. Не дрейфовать вниз и ожидать, что в какой-то момент некто придет и вырвет тебя наверх, страшно обижаясь, когда этого не происходит, а собственными усилиями и волей изменить не только профессию, но и свое социальное положение. Я знаю людей, которые очень болезненно и тяжело уходили, например, с инженерных должностей на должности водителей. Прошло два года, и сейчас это уверенные в себе люди, прекрасно понимающие, что сегодня у них больше возможностей для самореализации, чем на маленькой инженерной должности на заводе 2-3 года назад. Но для этого нужна определенная смелость. Мне кажется, процесс раскрепощения личности в этом смысле, пусть очень медленно (медленнее, чем нам хотелось бы), но происходит. И первый этап реформ, о котором мы говорили, жестоко, болезненно, тяжело, с нервными срывами и с дурным влиянием на не самое лучшее здоровье нашего населения, тем не менее пробуждает активную, деятельную, мобильную личность.

Что касается разговоров о "новых русских", то я не думаю, что сегодня они являются или могут быть идеалом и моделью успеха, потому что не верю в то, что совесть и моральность нации полностью утрачены. Глубинная нравственная оценка происходящего, по существу, присутствует во всех слоях нашего общества. Да и "новые русские" тоже очень разные, я бы не стала всех их валить в одну кучу. Среди них есть люди, действительно, добившиеся успеха, а есть просто нувориши, которые успели урвать куш, но это у них, уверяю вас, очень ненадолго. Дело в том, что если "природа отдыхает на

детях великих людей”, то, на мой взгляд, она отдыхает не на детях великих деятелей культуры, искусства, науки, но именно на детях быстро разбогатевших нуворишей или случайных “выскочек”, сделавших карьеру на гребне очередной перестройки.

Леонид Ионин. “...Внешняя необходимость в идее успеха есть, но необходимости внутренней, рожденной национальной душой, по-моему, нет”

Экспертам доктрины этики успеха важно преодолеть, во-первых, нормативную постановку обсуждаемого вопроса и, во-вторых, скорее всего неосознанное придание ценности не просто феномену успеха, а успеху в рамках определенной социальной структуры. Я остановлюсь на обоих аспектах.

Мы стараемся внедрить понятие успеха в сознание российских граждан, научить их жить и действовать с точки зрения необходимости быть успешными. В связи с этим нами часто предполагается сохранение в массовом сознании традиционного отношения к успеху, при этом традиционное отождествляется с советским, патерналистским и т.д. В то же время (и это не откровение, просто об этом никто не упомянул) русская традиция за всю историю существования России не ориентировалась на понятие успеха, а, напротив, глубоко ценила отсутствие успеха *мирского* - того, который сегодня пропагандируется. Поэтому в действительности приходится воевать не с советским этосом, а с многовековой традицией, что отнюдь не говорит о том, что эта традиция хороша, а наши усилия - плохи. Я в данном случае не оцениваю, а лишь стараюсь точнее подчеркнуть масштаб задачи, которая стоит перед нами.

Чаще всего в наших дискуссиях образ успеха отождествляется с моделью, сформировавшейся в рамках социально-экономической и ценностно-нормативной структуры западного типа, а это еще не успех в универсальном смысле этого слова. Я припоминаю: один антрополог писал, что утверждение “у нас achievement society - достижительское общество, а у них - не достижительское” не очень соответствует действительности: а что, разве это не успех, если индеец построит более длинное каноэ или залезет на самое высокое дерево?

Почему же мы так узко нормируем успех? Мне кажется, что мы невольно сужаем для себя задачу, а в результате подменяем проблематику идеи успеха проблемой внедрения рыночных

механизмов, демократических институтов и проч., проблемой перестройки политической, юридической, правовой и других систем, подменяем стандартной проблематикой теории трансформации. Успех должен пониматься плюралистически: не только как успех советских молодых “япи”, основателей банков и так далее, но успех в десятках и сотнях других сфер жизни с совершенно другими ценностными ориентирами.

Ориентируясь на узкое понимание успеха, мы целиком выбрасываем культурно-антропологическую проблематику. Задача - попытаться уйти от влияния собственных, актуальных, но предвзятых суждений о том, что такое успех, и исследовать этот феномен в широком плане, мультикультуралистски.

Феноменология успеха многообразна. И недостаточно просто различить понятия успеха и удачи. Кстати, удача - ближе к теории вероятности: шарик выпал так - и все. А с человеческим трудом или рефлексией связано множество вариантов успеха, которые могут ничего общего не иметь с тем успехом, который мы выставляем себе в качестве *желаемого* типа успеха, отождествляя его с успехом вообще, с успехом как таковым.

Почему за нашим “круглым столом” возникла тема противостояния “резервации” и огромной “зоны”, не имеющей ничего общего с достижительностью? Почему приходится отделять нас, как пропагандистов идеи успеха, от массы? Потому, что идея успеха априори определяется слишком узко, как успех в желаемой нами нормативной среде.

Как ни полезна сама по себе идея успеха, которая предлагается нами для России, важно понять, что есть множество культур успеха. И поэтому Россия ни в коем случае не окажется неким идеализированным слепком с Америки. Кстати, сама Америка гораздо пестрее, чем это кажется поверхностному наблюдателю. Модель успеха, присущая истэблшменту, там тоже не отменяет иные модели.

Да, модель успеха в профессиональной сфере типична и характерна для всего современного индустриального общества, в котором мы видим и Россию (на данном этапе, по крайней мере). Но в разных обществах и культурах существуют разные соотношения профессиональной и семейной, племенно-родовой, тейповой и т.п. структур. Именно они служат интегратором всех человеческих социальных ролей в не индустриальных обществах. Элементы таких обществ существуют и в России. Чечня этому, с моей точки зрения, самый яркий пример. Здесь успехом считается успешная реализация себя как члена рода,

племени, семьи. Кстати, даже в традиционном русском этосе семья или община, как большая семья, играют гораздо большую роль, чем профессиональная деятельность. В этом смысле профессиональная структура отражается в личности в целом как нечто вторичное. Это еще один аргумент необходимости поиска плюралистических подходов к понятию успеха и к этике успеха.

Россия не только многоукладная страна, но и многорелигиозная. А у каждой религии есть свой этос, в том числе и хозяйственный. И эффект перенесения в Россию того достижительского этоса, который происходит, как мы все знаем, по Максу Веберу, из протестантской этики, во многих отношениях проблематичен. В своих исследованиях, и тем более в пропаганде, мы должны учитывать и мусульманство, и иудаизм, и другие хозяйственные этосы самых разных религий.

В заключение - вопрос о перспективах насаждения протестантского идеала достижительства в стране, где в течение тысячелетия господствует традиционалистский этос. Традиционализм, конечно же, плох с точки зрения построения современной экономики, но другое дело: плох ли он для человека? Вспомним, как В.Шумейко пропагандировал года два назад "национальные ценности", в число которых были включены скромность, умеренность, ограниченность потребностей и т.д. Эти ценности полностью соответствуют традиционалистскому этосу. С одной стороны, В.Шумейко был не прав в своих действиях, потому что с точки зрения идеалов, которыми мы сейчас руководствуемся, это совершенно регрессивный, даже реакционный, можно сказать, шаг. Но, с другой стороны, этика, нашедшая свое отражение в поговорках "кончил дело - гуляй смело", "делу время - потехе час" и так далее, содержит очень человеческие принципы, к которым явно склоняется большинство населения России. Немного удастся найти людей, занятых преумножением капитала и повышением производительности своего труда только ради самих капиталов и ради самой производительности. Человеку требуется цель, он всегда задается вопросом, для чего ему деньги, и ему очень важно знать, на что эти деньги будут потрачены.

Если же мы станем выдвигать на первый план достаточно примитивно понимаемую протестантскую концепцию успеха, то в результате встретим непонимание, а возможно, и противодействие со стороны широких масс населения, которое более близкими себе чувствует шумейковские речи о разумной достаточности, скромности потребления и пр. Кстати, не только

В.Шумейко, но и некоторые наши евразийцы, в том числе упоминавшийся здесь А.Панарин, тоже об этом много пишут с явно положительной интонацией (то есть традиционализм не обязательно априори стоит со знаком минус). Понятно, что лучше и важнее для экономики, но что лучше для человека - не совсем ясно, по крайней мере априори. В конечном счете, если человек действительно мера всех вещей, то, мне кажется, традиционалистская этика многих, меня, например, устроила бы гораздо больше, чем протестантское достижение ради достижения. Другое дело, что нам (я имею в виду страну в целом) сейчас приходится догонять. Глобализация налицо, и потому оказывается необходимым жить в тех ценностных координатах, которые диктует господствующая в мире модель жизни и общества. Поэтому получается, что Россия - страна самодостаточная внутри собственных границ, как, впрочем, и многие другие страны, Китай, например, - хотя и вынуждена догонять (как страна она, скорее всего, не может выжить, не догнав), внутренне не ощущает необходимости в тех ценностях, которые, догнав, приобретет. Необходимость внешняя, сказал бы я, есть, но необходимости внутренней, рожденной национальной душой, психологией, этосом, - чем угодно - по-моему, нет. В этом заложено изначальное противоречие, какой-то страшный конфликт, который в процессе поиска ответа на вопрос "есть ли в современной России запрос и отклик на идею успеха" еще предстоит отрефлексировать и понять.